W 380/258
801-11/397
ф 1-н 21304
W 198/622

ПЕРЕВАЛ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

СБОРНИК ШЕСТОЙ

41—4421
26-43203
ДОПУЩЕНО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

Ровесники: сборник содружества писателей революции «Перевал». Сборник № 6

Борис Андреевич Губер, Михаил Николаевич Барсуков, Дмитрий Николаевич Семеновский, Николай Николаевич Зарудин, Михаил Смирнов, Иван Иванович Катаев, Михаил Семенович Голодный, Евсей Давыдович Эркин, Амир Саргиджан, Николай Огнев, Исаак Эммануилович Бабель, А. Хованский, Василий Федорович Наседкин, Ан. Пестюкин, Антон Пришелец, Владимир Мартынович Василенко, Ефим Фёдорович Вихрев, Александр Смирнов, Павел Давидович Дружинин, Л. Воронцова, Александр Константинович Воронский, Абрам Захарович Лежнев, Максим Горький, Николай Дементьев

Аннотация
Ровесники: сборник содружества писателей революции «Перевал». Сборник № 6
СТИХИ И ПРОЗА
Борис Губер. Осколки
М. Барсуков. Нерассказанная любовь
Дм. Семеновский. Поэт
Ник. Зарудин
Памяти Иван Иваныча
Песня
В жару…
Михаил Смирнов
9 января
Тарантул
Ив. Катаев. Сердце
Мих. Голодный
У дверей твоих брожу я…
Осенняя Москва
Чудаки
Евсей Эркин. О, щебет рассветной дороги!
Амир Саргиджан
Напевы
Ковры
Н. Огнев. Девочки
И. Бабель. Три рассказа
А. Хованская. Авантюристка

В. Наседкин
Во ржи
Ночная дорога
Кресты
Ан. Пестюхин. Из мурманских стихов
Антон Пришелец. Скворцы
Владимир Василенко. Любимому поэту
Ефим Вихрев. Верность
Александр Смирнов. Закон
Павел Дружинин. Бабья доля
ПО БОЛЬШАКАМ И ПРОСЕЛКАМ
Амир Саргиджан. Сарай звезды
Л. Воронцова. Двадцать пять верст по Калязинскому уезду
Борис Губер. Бабы придумали
КРИТИКА
А. Воронский. Марсель Пруст
А. Лежнев. Две поэмы
М. Горький. Кнут Гамсун
ЗЛЫЕ РИФМЫ
Н. Дементьев
Суд божий над профессором
Баллада об олимпийце Иосифе Незабудкине
Мих. Голодный
Почему я не пролет?
Поэт Иван

Аннотация

«Перевал» — советская литературная группа, существовавшая в 1923–1932 годах.

Ровесники: сборник содружества писателей революции «Перевал» Сборник № 6

СТИХИ И ПРОЗА

Борис Губер
Осколки

I

Фомин приехал в этот большой незнакомый город с твердой уверенностью, что именно здесь окончатся его мытарства.

Чтобы раздобыть денег на дорогу, ему пришлось спустить все, уцелевшее за долгие месяцы безработицы. Возврата к прежнему уже не могло быть. Но даже это не тревожило его: вместе с распроданным скарбом сгинули последние колебания, и он не сомневался в том, что жизнь начнется заново, похорошему. Да и как могло бы случиться иначе, если Матвей Козырев, старый товарищ и друг, вместе с которым Фомин проработал первые годы революции, занимал в губернии важнейшее, ответственнейшее место?

Словом, Фомин чувствовал себя прекрасно.

Поезд прибыл в город утром, и он, оживленный, бодрый — даром, что ночь прошла без сна — выбрался из вокзала. В воздухе пахло кисловатым паровозным дымом и горячим ситником. Первый молодой снежок запорошил вокзальную пло-

щадь, лежал на поднятых верхах извозчичьих пролеток, на крышах ларьков и лавченок. Спокойная, матовая белизна его и главным образом необычайно сытые голуби, ходившие по снегу, еще сильней оживили Фомина. Он решил итти в город пешком (все равно было рано) и, беспечно помахивая своим тощим саквояжиком, зашагал по дощатому тротуару. Автобус, переделанный из грузовика, с веселым рычанием обогнал его и затарахтел по улице мимо жалких окраинных домишек. Что-то древнее, российское, было в этих лачугах, в запахе скотного двора, что исходил от них. И Фомина почему-то обрадовало даже это. Он подумал о том, что много, должно быть, лет придется ему прожить здесь, и улыбаясь устремил блестящие от возбуждения глаза свои поверх низеньких белых крыш вперед — туда, где начинался настоящий город, где возвышались колокольни и беспорядочные груды каменных этажей… А через час, отыскав тут же на окраине дешевые номера, оставив в крохотной рублевой комнатке саквояж, он подходил к учреждению, в котором работал Козырев.

И тут все вдруг внезапно и ужасно переменилось.

Случилось это в несколько секунд и так просто,

что Фомин не успел даже опомниться. В пустой, чрезмерно просторной комнате, на страже ответственного кабинета, сидел секретарь. У него было пухлое темножелтое лицо, подпертое твердым воротником военного френча, и в обычное время Фомин, несомненно, оробел бы перед ним. Но сейчас он был слишком опьянен близостью своего счастья и потому, кивнув головой на тщательно закрытую дверь, проговорил скороговоркой, почти небрежно:

— Мне нужно пройти к товарищу Козыреву. Можно?

Сказавши это, он был уже совсем готов итти дальше, к желанному порогу, но секретарь остановил его:

— Товарища Козырева здесь нет.

— То есть как нет? — переспросил Фомин. — Когда же он будет?

— Его нет в городе. Он больше у нас не работает.

Голос у секретаря был громкий, отчетливый, точно он командовал ротой. Фомин прекрасно расслышал его слова. Но понять их толком он не сумел. Привычно робея, он взглянул на секретаря, и непрошенная мысль — почему у него такое странное лицо? — не давала думать о чем-либо

другом.

— Как же мне быть? — тихо сказал он.

Секретарь безразлично приподнял брови, вернее, голые желтые припухлости над глазами, на которых полагалось бы быть бровям, и ответил:

— Если у вас важное дело, я могу доложить товарищу Кацен.

«Кто же это такой, Кацен?» — хотел было спросить Фомин и не решился.

— Доложите, пожалуйста, — сказал он еще тише.

Секретарь, слегка прихрамывая, прошел в кабинет. Фомин проводил его меркнущим, испуганным взглядом, увидел великолепно расчищенные голенища сапог, свисающие над ними мешки военных бриджей — и сразу вспомнил, какие у него самого тяжелые и грязные башмаки, какое нищее пальто… Жалкие, просящие слова, которыми он научился говорить в последнее время, роились вокруг него и, проходя в дверь, еще не сознавая, что именно с ним произошло, он ловил их, уже готовый и просить и унижаться.

Ряд высоких окон выстраивался вдоль стены и много света входило через них в комнату, наполняя ее бледным, мутным, сиянием, отсветами уличного снега. Огромный стол, обставленный

стульями, за которым, должно быть, происходили заседания, попался на пути. Фомин обошел его и увидел другой стол, поменьше. За ним сидел некто в черной кавказской рубахе с высоким воротом. Свет падал на одну только сторону его лица, голубую от бритья, и черные волосы с этой стороны блестели тускло, как вороненый металл.

— Садитесь, товарищ, — сказал он. — Говорите, в чем у вас дело, только покороче.

Фомин покорно сел в глубокое, неудобное кресло.

— Видите ли, я приехал сюда, — запинаясь начал он, и все пойманные было слова мгновенно вылетели из памяти. — я приехал сюда…

Не решаясь посмотреть в лицо собеседнику, остановив глаза на его глухом вороте, густо уснащенном мелкими пуговичками, Фомин кое-как рассказал о себе — о том, что он уже год ходит без работы и надеется, что здесь…

Спокойный, несколько картавый голос перебил его:

— Простите, я не понимаю, причем же тут я?.. У нас имеется биржа труда, ведающая этими вопросами, и вам лучше всего обратиться к ней.

— Но ведь товарищ Козырев очень, очень знает

меня, — торопливо ответил Фомин, — мы с ним вместе работали в девятнадцатом и восемнадцатом году, он…

— Это не может касаться меня, — опять перебил его бритый. — К тому же, — продолжал он, и голос его окреп и почерствел, — к тому же рекомендация Козырева — плохая рекомендация. Он снят с работы и вызван в Москву… И знаете, не будем лучше говорить об этом.

Фомин беспомощно потупился. От ног его по лощеному паркету пятнами расползалась вода и грязь.

— Но как же я? — сказал он. — Вы поймите, мое положение безвыходное — я все бросил, чтобы приехать сюда!

— Это не может меня касаться, — сухо повторил товарищ Кацен и встал, опираясь руками на край стола.

Серебряный набор тускло блеснул на ремешках его кавказского пояса. Он позвонил, и когда в комнате появился секретарь, заговорил с ним, уже не обращая внимания на Фомина.

— Вы уведомили «Красную зарю» о Токаревиче?

— Так точно, еще позавчера, — ответил секретарь.

— Напомните им еще раз, что он снимается с работы с двадцать седьмого. Пусть немедленно проведут…

Конца фразы Фомин не расслышал. Беспомощно улыбаясь, он вышел из кабинета, спустился по лесенке… Запахи зимы и мороза встретили его на крыльце. Одинокие белые пушинки неслышно опускались на землю. По обеим сторонам крыльца толпились купы сирени, снег влажно и рыхло лежал на листьях ее, еще совсем полетнему зеленых, а у подъезда, преграждая дорогу Фомину, дожидалась кого-то новенькая, блестящая пролетка, запряженная сизым рысаком. Фомин очень живо представил себе, как выходит на крыльцо товарищ Кацен, как он садится на подушку сиденья, и рысак несет его по улицам куда-нибудь в губисполком или в губпрофсовет… «Проклятые», — подумал он, сходя по каменным ступеням на доски тротуара.

— Проклятые! — повторил он вслух — и задохнулся от злобы и от ужаса перед той пропастью, что раскрывалась для него впереди.

Теперь он уже понимал это.

II

Точно в тумане, ничего не замечая на своем пути, вернулся Фомин к себе в номер.

Голова его стала чужой, каменной, в суставах ломило. Он машинально стащил с ног башмаки и сел на кровать, обхватив пальцами ледяные ступни.

В номере было душно. Печка, толстой черной колонной подпиравшая потолок, опаляла сухим жаром. Однако ноги не желали согреваться, и по телу, медленно поднимаясь от них, распространялся отвратительный озноб. Подчиняясь ему, Фомин лег, натянул на себя пальто и скорчился. Ни одной законченной мысли не ощущал он в себе. Что-то вязкое, бесформенное ползло на него — тут были и поздние сожаления, зачем он уехал из родного города, и ненависть к кому-то, и раскаяние в том, что он слишком много денег истратил в дороге — но все это было неопределенно и ненужно. «Спать, спать!» — думал он, стискивая зубы… И, действительно, болезненное, непохожее на сон забытье скоро овладело им.

В глубинах его сознания, очевидно, продолжалась какая-то тайная, сокровенная работа; неведомыми ассоциациями она скрепляла между

собою отдельные куски — не мыслей, не воспоминаний даже, а чего-то третьего — но Фомин не замечал этой работы, и обрывки прошлого, как бы возникавшие перед его глазами, казались разрозненными и беспорядочными. Он видел себя то в кассе социального страхования, в длинной очереди за получением пособия, то на трибуне какого-то многолюдного митинга, то в укоме времен девятнадцатого года… Козырев в лохматой манчжурской папахе и солдатской шинели, сидя на корточках перед табуретом, хлебал из котелка пайковую похлебку, странное месиво из сухих кореньев и отрубей, и в перерывах между глотками диктовал приказ о борьбе с дезертирами… И тут же стены прокуренной комнатки набитой красноармейцами, уездными комиссарами и мужиками, раздвигались — осеннее поле, очень обычное, набухшее водой, расстилалось под ногами, люди с винтовками, увязая в пашне, шатаясь, шли, шли вперед по этому полю и падали один за другим; Фомин знал, что все они мертвы и сам тоже падал; холодная грязь смыкалась над ним, как вода, он силился встать, но чей-то холодный, неумолимый голос без всяких интонаций говорил над ним: «Вы, товарищ, дезорганизатор, склочник, вам не место в партии», и Фомин уже

видел партколлегию контрольной комиссии и того, кто говорил эти слова — он отдаленно, непонятно чем, напоминал товарища Кацен. «Проклятые!» — пробормотал Фомин, изнывая в ознобе… На мгновение, на неуловимо короткий миг, его пронзило то же чувство, с которым он уходил тогда из губкома: он, комиссар, продармеец и коммунист, нисколько и ни в чем как будто не изменившись, стал вдруг *беспартийным*, и это выглядело тогда таким нелепым, что он, шагая по улице, улыбался — глупой, ненужной улыбкой. Пронзенный этим же чувством, засмеялся Фомин и сейчас. Губы его сами собой шевельнулись, раздвигая щеки, обнажая десны… И тотчас же сгинул недавний бред: привычные ощущения, вызванные смехом на лице и в горле, круто и неожиданно изменили все. В мире снова было счастье. Вместо беспорядочных и страшных обрывков сияющее светом видение пронеслось мимо. В нем было весеннее утро, белые лепестки, падающие с яблонь, солнце, — жизнь…

Затем все исчезло. Наступил сон.

III

Проснулся Фомин в сумерки. Смутные следы пережитого на мгновение счастья еще не осты-

ли в нем. Он открыл глаза, улыбнулся широкой ребячьей улыбкой и сразу вспомнил, все, что случилось сегодня.

— Так-с… Приехали! — сказал он хриплым, заспанным баском, сбрасывая на пол ноги и садясь.

Озноб прошел, голова прояснилась. Ощущение физического здоровья вернулось к нему, а вместе с ним и обычная человеческая трезвость мыслей. Но это была уже не та расчетливая трезвость, что заставляла до сих пор Фомина мелко и упорно бороться с нищетой, а иная, подсказывающая простую и беспощадную догадку: никакого выхода нет и не может быть.

«Что ж, чорт с ним, — скучно подумал Фомин, — нет, так не нужно». Он нащупал рукой выключатель. Жалкая, слабенькая лампочка загорелась под потолком… И на свету Фомин прежде всего почувствовал, что он голоден.

Не торопясь, лениво позевывая, он стал обуваться, позвонил коридорному, чтобы тот принес воды в умывальник — и пока он делал это и все остальное, что полагается делать трезвому, здоровому человеку проснувшись, наступил уже настоящий вечер. На улицах прочно сгустилась окраинная бесфонарная тьма. Погода испорти-

лась — похолодало, резкий ветер нес навстречу вороха колючей снежной пыли, — и Фомин в первые минуты едва сдерживал подступающую дрожь. Подняв воротник пальто, заложив руки в карманы, он быстро шел сквозь темноту; теплота движения постепенно согревала его.

Мрачные переулки и пустыри окраины остались позади. С каждым кварталом становилось все светлее, все чаще попадались фонари, витрины лавок проливали на мостовую целые ушаты маслянистого желтого света. Сквозь заиндевевшие стекла видно было, что магазины переполнены покупателями. Фомин, думавший сначала купить чего-нибудь сухого, не останавливаясь проходил мимо них. Но и впереди было то же самое, и, поровнявшись с большим, многоэтажным, совершенно темным домом, в котором, должно быть помещалось какое-нибудь учреждение, он хотел было уже повернуть обратно, как вдруг совсем невысоко над землей, на уровне своих колен, заметил вывеску, занесенную снегом и скупо освещенную снизу. «*Деловой клуб*» — написано было на ней, а ниже, буквами помельче — «*Столовая*». И, почему-то уверенный что здесь недорого, Фомин (все еще по инерции, инстинктивно старавшийся экономить) спустился по

скользким ступеням к полуподвальной двери.

Свет и тепло пахнули навстречу. Длинная, узкая прихожая упиралась в гардеробную, а направо завешенная портьерой арка вела во внутренние комнаты. Фомин слегка откинул портьеру, чтобы заглянуть внутрь, и тотчас голос швейцара раздался за его спиной:

— Раздеться нужно, гражданин.

Фомин вспыхнул от этого презрительного напоминания и разозлился. Скинув пальто и даже не одернув полы своей измятой толстовки, он, вызывающе громко топая башмаками, вошел в столовую.

В ней было почти пусто. Только в дальнем углу сидел кто-то, невидный за широко развернутым газетным листом, да посреди комнаты компания молодежи окружала два сдвинутых вместе столика. Никто не обратил внимания на Фомина. Он выбрал себе место, сел и осмотрелся.

В обширном пустоватом зале, с его сводчатым потолком, не было ничего ресторанного — он больше напоминал читальню или фойе театра, задолго до начала спектакля. Строго и сдержанно выглядели окрашенные в серую краску стены, матовые колпаки на лампах, столы, сверкающие прохладной белизной и гладкостью скатертей,

но, несмотря на сдержанность эту во всем, и особенно в запахе отличного трубочного табаку, которым был пропитан воздух, чувствовался прочный, хорошо обжитый уют. Неподалеку от Фомина белела на сером фоне дверь. Она вела, очевидно, в биллиардную: приглушенные возгласы и цоканье шаров раздавались там. И лишь они нарушали чинную тишину зала да изредка чей-нибудь голос из соседней компании.

— Врешь, Федя, врешь, — донеслось до Фомина, — сознайся, что наврал! Ты на этом пленуме и не бывал вовсе.

— А тебе не все равно? — отвечал другой голос. — Отчет ведь написал? Двести строк… А это, брат, самое главное.

Все засмеялись.

«Газетчики должно быть», — подумал Фомин неприязненно (он сам пробовал работать в газете, да ничего не вышло) и искоса посмотрел на соседей — на их проборы, костюмы, галстуки…

Стараясь держаться непринужденно, он закинул ногу на ногу и закурил.

Однако это не принесло успокоения. Слишком уж чинно было вокруг, слишком тихо и пусто. Фомин давно отвык от подобной обстановки, и она подавляла, стесняла. К тому же никто не

замечал его, не подходил к нему… И с каждым мгновением та злая решительность, с которой он входил сюда, таяла все больше и больше.

Прошла минута, еще одна…

«Фу, чорт, до чего глупо! — подумал Фомин и ему стало жарко. — Уйти, что ли?»

Но в это время в комнате уже появился услужающий. Он, ловко балансируя подносом, поставил на стол огромное никелированное блюдо, благоухающее чудесным запахом жареного мяса, и загремел тарелками и ножами.

— Будьте добры! — окликнул его Фомин и сам испугался — до того громким оказалось это восклицание. Оно (так, по крайней мере, почудилось Фомину) произвело на всех самое разительное впечатление. Молодые люди из соседней компании, как по команде, повернули головы и оглянулись. — «Счасс», — прошипел услужающий. Гражданин, сидевший в углу, опустил газету и усиленно запыхтел трубкой… И одновременно со всем этим неслышно, почти торжественно распахнулась дверь биллиардной.

Фомин, заметавшийся глазами по залу, сразу увидел в глубине ее утреннего секретаря: он стоя натирал мелом конец кия и смотрел на Фомина всем желтым диском своего лица, до тех пор,

пока дверь снова не закрылась. Вышедший из дверей старичок — совершенно лысый, в роговых очках — тоже принялся глядеть на Фомина, шаркающими стариковскими шажками подходя к его столику.

— Простите, пожалуйста — у вас рекомендация есть? — спросил он наконец остановившись.

— Какая?

Старичок вежливенько улыбнулся, и множество новых морщин появилось на его румяном личике.

— Наша столовая, видите, закрытая, — сказал он, — только для членов клуба. Остальные посетители обязаны иметь рекомендацию.

Фомин криво пожал плечами.

— Я не знал.

Казалось кровь со всего тела бросилась ему в голову да так, что зашумело в ушах. Он чувствовал, что не может уйти, что лучше ему умереть, но старичок, не спуская с него глаз, продолжал безлично и выжидательно улыбаться морщинистым ртом — и он встал… Он шел к выходу и всем своим существом осязал, что все смотрят ему вслед и смеются, шепчутся, показывают пальцами…

На улице попрежнему полновластно царила

ночь.

Редкие пешеходы, белые от снега, попадались навстречу. Сквозь ставни домов пробивались колючие лучики света. Перед одноэтажным фасадом кинематографа пылало ослепительное холодное солнце — оно раскачивалось на ветру, и тьма колыхалась вместе с ним… На перекрестке встретился мальчишка, неизвестно ради кого выкрикивавший обычные провинциальные слова:

— Завтрашний номер «Серпа и молота», новая победа на внутреннем фронте…

Затем Фомин увидел женщину в валенках, в голубой фетровой шляпе. Она одиноко стояла у витрины запертого магазина и рассматривала выставленные в ней меха и ботинки.

— Куда это вы так торопитесь? — сказала она развязно, попробовала было пойти за Фоминым, но передумала и отстала.

Фомин продолжал шагать, не понимая куда и зачем…

IV

Ярко освещенный трактир возник перед его глазами неожиданно и непонятно. *«Ресторан Байкал П. С. Маркова»* — нагло кричала своими золотыми буквами вывеска, и Фомин невольно

остановился перед ней. Смутный шум, говор, обрывки музыки проникали через окна и двери.

— Да, это тебе не «Деловой клуб»! — злорадно вслух произнес Фомин, предвкушая, как он войдет сейчас в развеселое трактирное нутро, где можно обходиться без всяких рекомендаций… Короткая мысль о том, что в кармане остается единственный не разменный червонец, непрошенно вспыхнуло в сознании. Еще недавно червонец этот казался изрядным богатством — именно потому, что он не разменный, новенький, хрустящий — и пока он оставался в целости, никакое будущее не страшило. Сейчас же все стало иным — не хотелось, да и невозможно было думать о том, что будет дальше, и Фомин только усмехнулся. «Побираться пойду, вот что будет, — злорадно подумал он: — Подайте ради Христа бывшему председателю комдезертира»… Он фыркнул от смеха и решительно взялся за дверную ручку.

Дверь взвизгнула.

— Здравствуй-те, гражда-нин, — зычно заревел вслед за этим чей-то голос, мерно разрубавший каждое слово на две части, — зай-мите сто-лик пожалуй-ста.

Фомин, ошеломленный этим нежданным

приветствием, взглянув в ту сторону, откуда раздавалось оно, и увидел стойку, загроможденную всякой всячиной — самоваром, банками, окороками, бутылками — а за ней какого-то Пугачева, разбойника Чуркина, или, быть может, расстриженного монаха — словом, самого П. С. Маркова: это он сквозь немыслимые лохмища бурой бороды здоровался и прощался с посетителями. И Фомину вдруг стало весело и удобно. Протискиваясь в тесноте между спинками стульев, переступая через чьи-то вытянутые ноги, он забрался вглубь, поближе к эстраде и сел. Потный малый в пиджаке и сатиновой рубахе тотчас вырос перед ним.

— Пивца прикажете? — спросил он сиплым тенорком и наклонил голову, подставляя Фомину свое нечистое ухо.

— Нет, карточку дай, — ответил Фомин.

В следующую же секунду захватанный пальцами листок лежал перед ним. Непомерно высокие цены столбиками возвышались против замысловатых названий… Фомин просмотрел их и с отчетливым наслаждением, от которого сжималось горло и теснило дыхание, стал заказывать водку, закуску, жаркое.

Малый дослушал его, лукаво скосил глаза.

— Сию минутку приготовим, — сказал он, — только извиняюсь, денежки вперед пожалуйста, уж такая у нас мода.

Фомин без всякого сожаления отдал свой червонец. Глаза его снова, как давеча утром, блестели от возбуждения, и чем больше проникался он возбуждением этим, тем проще и веселей выглядело все. А как непохоже было здесь на недавний чинный порядок!.. Какими цветистыми шпалерами оклеены были стены, какие фикусы и пальмы красовались по углам! Вместо клубной пустоты все здесь было заполнено народом, черным-чернело пиджаками и шубами; раскрасневшиеся лица — усатые, бородатые и бритые — мелькали повсюду, куда ни взгляни; веселый хохот, звон посуды, пьяные возгласы, в которых решительно ничего нельзя было разобрать, ходором ходили под потолком в облаках пара и дыма… И не успел еще Фомин толком опомниться от всего этого, как вездесущий малый уже приволок ему сдачу, холодную, запотевшую полбутылку и тарелку с хлебом. Он аккуратно поддал под дно посудины, так, что пробка только наполовину вышла из горлышка, и исчез, как бы уносясь по воздуху.

Не в силах удержать свои губы, расползающиеся в счастливой, дурацкой улыбке, Фомин

дополна налил рюмку, отломил кусок хлеба. Ему было немного совестно, что вот он не может дождаться закуски, но все же он выпил. Водка обожгла его блаженным огнем, и сразу шум и говор ближе придвинулись к нему… Уже не смущаясь, он налил вторую рюмку.

V

Между тем на эстраду, пестро разукрашенную холщевыми деревьями и кустами, один за другим поднимались музыканты.

Они заняли свои места перед убогим подобием пультов, зашелестели бумагой, раскрывая ноты. Пиликанье настраиваемой скрипки тонким жалом впилось в трактирную разноголосицу. Люди, точно отравленные тревожным ядом этого жала, притихли, поворачивая головы, откашливаясь, для чего-то снимая шапки — и целый ворох дружных и бойких звуков посыпался на них, как из мешка.

Хмель, сладостный и легкий, овладевал Фоминым. Огни дробились, искрились в глазах его, все чувства обострились, и каждая мельчайшая подробность, вставшая перед ним, приобретала особую отчетливость. Он тоже — при первых же звуках музыки — повернулся к эстраде и боком

сел на стуле, чтобы удобней было смотреть и слушать.

Аляповатая кулиса скрывала за собой пианино, и он видел только женщину, игравшую на нем, — тучную, с двойным подбородком и сереневым от пудры лицом. Ее полные руки были обнажены по самые плечи — Фомин заметил даже оспину на дряблой, приторно белой коже. Она энергично ударяла руками по клавишам, и ее тяжелые груди, запрятанные в шелковую кофточку, тряслись в такт. Уже немолодая, с изрядной сединой в волосах, она неприятно щеголяла какой-то сложнейшей прической, серьгами из огромных поддельных жемчужин, накрашенным ртом… Впрочем даже это понравилось Фомину. Понравился ему и скрипач, длинный, тощий еврей в пенсне, стоя водивший смычком по струнам… Но лучше всех был третий — кларнетист. Он сидел лицом к Фомину, белокурый, кудрявый, совсем молоденький на вид, и тонкая девичья шея трогательно вырастала из широкого, как хомут, воротника свитера. Играли все трое что-то простенькое, в быстром темпе, и красные пальцы кларнетиста перескакивали по клапанам с такой неловкой торопливостью, что казалось, он вот-вот отстанет, не поспеет. «Валяй, валяй, дру-

жище!» — мысленно ободрял его Фомин, чувствуя нежность и к его белокурым кудрям, и к неловким красным пальцам, и ко всем людям на всей необъятной земле… «Валяй, валяй», — думал Фомин, и музыка упруго, толчками шедшая на него, все большей нежностью и блаженством наполняла его хмельную голову. Он, как многие люди, не любил, не понимал сложной серьезной музыки, но вот такая, простая, трактирная влекла к себе и за собою непреодолимо… И когда музыканты отыграли свой первый номер, Фомин бешено захлопал, неожиданно для самого себя заорал:

— Еще, еще, браво, еще!

Кричали, хлопали и за другими столиками… Полный равнодушный бас гудел шмелем:

— Даешь цыганского барона…

— Из-за острова, из-за острова! — перебивал его визгливый женский голос.

— Колечко-о! — надрывался еще кто-то.

Долговязый скрипач, один за всех, поклонился, небрежно склоняя голову на грязную манишку, и снова поднес к подбородку инструмент.

Фомин дернулся и замер: внезапно после общего шума и после неостывшей еще опереточной бойкости первого маршика, где-то между тряпичными деревьями рождаясь, в грязный, вонючий

залик потекла медлительная, горячая мелодия. Она лилась бесконечно, опускалась все ниже и ниже, в какие-то знойные бархатные глубины, и Фомин, бессознательно хранивший свою нежность к молоденькому кларнетисту, почему-то его одного считал виновником этого чудесного пения. Он, как завороженный не отводил глаз от быстрых пальцев (теперь они уже не казались неловкими) и не смел перевести дыхания — только сердце тяжело и чуждо переваливалось в груди. «Что это? Что это?» — почти испуганно думал Фомин, чувствуя на глазах своих слезы. Чтобы скрыть их, он заставил себя отвернуться, дрожащей рукою понес к губам рюмку… Пуще всего желал бы он сейчас, чтобы музыка, любовь к кому-то и смутная жалость к себе — чтобы все это длилось, и длилось никогда не кончаясь…

VI

Но конец наступил.

Со всех сторон хлопали, стучали ногами и кружками, скрипач раскланивался с публикой, а товарищи его уже уходили, и необъятные плечи пианистки заполнили всю эстраду… За столиком напротив Фомина появилась какая-то новая шумная компания — несколько мужчин и среди

них две наивно раскрашенные женщины, очень охотно расточавшие своим кавалерам одинаковые наизусть заученные улыбки. Все они были уже порядочно пьяны, кое-как рассевшись, хором стали требовать пива и раков, а когда раков не оказалось, затеяли спор… Фомин неприязненно, исподлобья посматривал на них, словно именно они были причиной того, что так скоро окончилось недавнее чудесное. Особенно неприятен был один из мужчин, короткий толстяк в распахнутой хорьковой шубе, шумевший больше всех. В его багровой скользко-блестящей роже было что-то непристойное, бабье, и Фомин едва сдерживал свое отвращение к нему.

— Как нет? Почему нет?! — восклицал он тонким женским голосочком, гримасничая, оттопыривая мокрую нижнюю губу. — А вон там что написано?..

Покончив спор с услужающим, он не угомонился, стащил с головы шапку, так что все могли видеть его плешь, окаймленную тощим рыжеватым пухом, и победоносно оглядывался по сторонам, не зная, к чему бы прицепиться.

— Ну, а Рябов твой где же? — напомнил ему кто-то из приятелей, и тотчас все остальные зашумели, хохоча и перебивая друг друга:

— Что же ты, Миша? Зови!

— Куда ему, разве он посмеет?

— Конечно, не позвать.

Толстяк презрительно перекривился, вскочил на ноги, нисколько, впрочем, не ставши от этого выше ростом, и взвизгнул:

— Товарищ Рябов здесь?

Публика, заслышав этот визг, насторожилась в ожидании скандала, и даже сам разбойник Чуркин зашевелился за стойкой… На эстраде, между ветвями холщевого дерева, появилась курчавая голова кларнетиста.

— Здесь Рябов, — сказал он беспокойно, — в чем дело?

Толстяк вперил в него свой мутный, осовелый взор и ответил не сразу.

— А-а, вот ты каков стал, товарищ Рябов, — протянул он наконец, — не ждал, брат, не ждал… А дело у меня в том, что будь ты такой добрый, пойди-ка сюда на минуточку.

Кларнетист недоуменно пожал плечами и спрыгнул с эстрады.

Вблизи он оказался совсем не таким уж молодым. Морщины простегивали его лицо, под глазами явственно намечались мешки, длинная шея с крупным кадыком была попросту грязная,

не бритая. Фомин жадно рассматривал его, и то, что он выглядел иным, чем давеча, нисколько не разочаровывало, а, напротив, привлекало… Кларнетист подсел к столу, и чья-то рука уже лила в стакан ему густую пивную пену.

Публика, между тем, понявши, что никакого скандала не предвидится, занялась своими делами — едой, питьем, разговорами. Веселый дядя со свежеподстриженной бородой брел к выходу, пытаясь затянуть песню. Целые толпы бутылок зеленели на столах, и малый, каким-то чудом успевавший обслуживать всех, тащил все новые и новые, на ходу вырывая из них штопором пробки… По дымному залику носился прежний шум и гам, но он уже не доходил до Фомина: столик напротив поглощал все его внимание. Фомин все чаще и чаще посматривал туда, с хмельной изощренностью подмечая всякую мелочь, прислушивался к тому, что происходило там — и неприязнь к багровой, беспрерывно гримасничающей роже бессознательно вырастала в тягучую ненависть… А толстяк не унимался — подмигивая, морща лоб и дергая бровями, пищал:

— Пей, Рябов, пей, мы тебя, брат, угостим…

— Простите, я не пью, — отвечал Рябов.

Толстяк, закинув назад голову, так и залился

мелким бабьим хохотком.

— Как так? Давно ли?.. Да ты кого обмануть хочешь? А в восемнадцатом-то году, забыл, как вы спирт-то хлестали?

Фомин заметил, что Рябов при этих словах покраснел — все лицо его жарко залилось краской, и он ответил через силу, чуть слышно:

— Ну, что вы, право… В те годы никакого спирту и не было.

— Для кого не было, а для кого и было, хо-хо-хо! Для вашего брата, небось, сколько угодно, хоть залейся. — Толстяк на миг замолчал, близко придвигаясь к Рябову и почти вплотную разглядывая его. — Ну, теперь-то, конечно, другое, — продолжал он насмешливо, — другое ведь, а?.. Френчик-то твой где? Ау?

Рябов молчал, не поднимая глаз, теребил неловкими красными пальцами скатерку, и толстяк, с неприкрытой уже издевкой, кинул ему:

— Дудишь на дудке на своей?

Вся компания дружно, враз загоготала, только женщины молча и деловито тянули из стаканчиков пиво. Рябов вскочил. Он тщетно старался освободить руку, за которую удерживал его толстяк, и глухо говорил:

— Пустите, мне нужно итти, играть нужно…

— Погоди, погоди, — отвечал на это толстяк, — погоди, чудачок. Ты сначала скажи: ты у дяди мово, Яков Степаныча, мельницу отбирал? Отбирал!.. Ну, а я тебя, комиссара, за это угостить хочу.

Мельницу!..

Фомин, не помня себя, потянулся через стол, опрокинул рюмку, и лицо его исказилось и напряглось так ужасно, что кто-то из мужчин напротив, встретившись с ним глазами, встревоженно забормотал:

— Брось, Миша, чего ты в самом деле…

Толстяк, должно быть, и не расслышал этих слов. Судорожно вцепившись в рукав свитера, дергая и натягивая его, он пищал торопливо, скороговоркой, точно боялся, что не успеет высказать всего:

— Не богато, не богато ты, Рябов, ходишь, не разжился, видать, с наших мельниц…

— Брось… не нужно… чего пристал, — уже со всех сторон послышались испуганные голоса… И в то же время Фомин, не понимая, что это он, собственно, делает, медленно поднялся со стула и шагнул к соседям. Позади их стола открылось невидное до сих пор зеркало. Отраженный в нем, навстречу Фомину шагнул другой Фомин —

страшный и непонятный смертельной белизной своего искаженного лица, приоткрытым ртом, ощеренными зубами… Фомин первый мельком увидел второго и не узнал его. Медленно опуская глаза вниз, на скользкую, отвратительную плешь, обросшую рыжим пухом, он с трудом выговорил одно только слово:

— Пусти.

Ему хотелось неистово громко выкрикнуть это слово (все существо его ждало и требовало именно такого неистового вопля), но какая-то темная сила, неудержимо поднимаясь снизу, сдавила горло, и голоса хватило только на шепот.

— Пусти, — шопотом повторил он.

Толстяк ошарашенно, снизу вверх уставился на него, послушно опустил рукав. Но Фомин уже не мог остановиться. Он задыхался, сердце его, казалось, не билось вовсе. Протянув вперед руку, он поймал пальцами горлышко бутылки и мелко, как в лихорадке, постукивая ею по столу, бессмысленно твердил одно и то же:

— Пусти… пусти… пусти…

Толстяк, наконец, пришел в себя. В уродливую, обиженную гримасу сложилось его лицо, мокрая нижняя губа отвисла.

— Ах ты, босявка… — начал он — и не кончил:

Фомин высоко над головою занес бутылку…

Сила, теснившая его, прорвалась и хлынула наружу.

VII

Вслед за этим с ужасающей быстротой надвинулось непонятное: что-то падало, трещало, разбивалось, грохотом и гулом наполнился мир, окутанный тьмою и чей-то ужасный не стихающий визг, как молния прорезал эту тьму… Фомин стоял, свесив вдоль бедер руки, машинально сжимая пальцами остатки твердого стеклянного горлышка. Он смутно и отдаленно чувствовал, что случилось непоправимое, наступил конец всему — и это нисколько не пугало его. Люди напирали на него плотной живой стеной, толкаясь и вытягивая шеи, смотрели куда-то вниз, на пол. Он тоже хотел посмотреть туда, но не успел: перед ним стоял человек в черной шинели, занесенной снегом. У него было доброе, несколько испуганное лицо с молодыми розовыми прыщиками на лбу.

— Что же это вы наделали, гражданин? — сказал он укоризненно.

И Фомин, услышав его голос, очнулся, понял все. Он понял, что пришли за ним, и покорно двинулся к дверям, на ходу поднимая воротник

и застегиваясь.

Осколки стекла сухо хрустели у него под ногами.

Москва,
ноябрь — декабрь 1927 г.

М. Барсуков
Нерассказанная любовь

(ПОВЕСТЬ)

I

Молодой художник Александр Николаевич Безруков, — или просто Саша, как его часто еще называли, — после гражданской войны и демобилизации поселился в Москве.

В Красную армию Саша попал семнадцатилетним юнцом и пробыл в армии четыре года. За это время он сменил несколько должностей: был и художником полкового клуба, и заведующим его, и политруком артиллерийской части, и инструктором подива по внешкольной работе.

В армии же Саша поступил в коммунистическую партию, но почти сейчас же по окончании гражданской войны из партии его исключили. Произошло это по случайной причине и для Саши неожиданно. Однако достаточного желания хлопотать о своем восстановлении Саша в себе не нашел. В скором времени он даже позабыл о том, что когда-то принимал участие в партийной

работе, посещал собрания, слушал множество докладов и выполнял поручения, которые на него возлагались.

Художником же Саша был способным и в Москве как-то очень скоро и хорошо устроился. Одна из его картин экспонировалась на выставке группы молодых художников и имела значительный успех. Благодаря этому Саша приобрел некоторое имя, и в заказах не нуждался. Отношения с учреждениями, которые Саша обслуживал, установились у него хорошие — держался он просто, но не без юношеского достоинства, и это в нем уважали.

И Саша был доволен тем, что после долгих мытарств, после неспокойных и трудных лет, ему удалось наконец зажить интересной и сравнительно легкой жизнью. И, может быть, потому, что в годы гражданской войны он почти ежедневно сталкивался все с новыми и новыми людьми и все время находился в человеческой гуще, теперь Саша полюбил одиночество. Он лишь изредка встречался с немногими знакомыми, но прочных и глубоких отношений не завязал ни с кем. Самого же Сашу в среде его знакомых ценили за положительность, за спокойный характер, и только наиболее проницательные угадыва-

ли порой в его спокойствии настороженную замкнутость. Женщинам Саша нравился и, чувствуя свою привлекательность, любил хорошо одеваться, был всегда тщательно выбрит и, хотя уже более года прошло с того времени, как Саша демобилизовался, он все еще часто ходил в синем военном костюме, который к нему особенно шел. К этому надо прибавить лишь то, что как Саша ни следил за собой, но на всей его внешности лежал отпечаток то ли грубоватости, то ли некоторой неловкости — чего — сразу нельзя было даже уловить: настолько естественными были в нем эти черты.

На второй год пребывания в Москве Саша занялся работой над большим полотном, темой которого избрал мотив гражданской войны. К тому времени, о котором идет рассказ, большая часть работы была уже закончена, и Саша показывал свою картину кое-кому из знакомых. И всех, кто видел ее, поражало в ней то, что написанные Сашей фигуры, лица, обстановка выглядели необычно мертво и в то же время ослепляли яркими, искусно положенными красками.

Работая над этой картиной, Саша стал жить еще уединеннее, чем раньше, и даже те немногие связи, которые у него до того времени были, как-

то сами по себе потерялись и оборвались.

И это было для Саши тяжело. Со временем он стал испытывать в своем одиночестве тупую, гнетущую тоску, по ночам долго не мог заснуть и просыпался к утру с тяжелой, усталой головой. Стараясь преодолеть в себе это гнетущее состояние, Саша в то же время начал с сомнением относиться к своей работе. Он подолгу задумывался над законченными уже эскизами, заново варьировал их, ходил в галлереи и на выставки и, изучая работы лучших мастеров, то восхищался ими, то с раздражением чувствовал покорявшие его влияния.

Бросая работу, Саша бродил вечерами по Москве, не ища ни с кем встреч и успокаиваясь только после долгой ходьбы. И он полюбил даже эти свои странствия по нескончаемым, людным улицам, когда особенно хорошо думалось и в голову приходили случайные, счастливые мысли о дальнейшем ходе работы или, когда время занимали разные мелочи, неожиданные наблюдения, мимолетные встречи.

Иной раз, захваченный внезапным порывом вдохновения, Саша быстро возвращался домой и брался за работу или, оставаясь где-нибудь на бульваре, доставал этюдник и заносил в него то,

чем дарила его воображение горячая минута. Если в часы такого бродяжничества Саше становилось скучно, он заходил в какой-нибудь общественный сад, смотрел там кино, наблюдал в антракты публику и, шагая по аллеям или сидя на крашеных, выгнутых скамьях, безостановочно курил. И ночной мир города — его жестяно-зеленые в электрическом свете деревья, серое, стрекочущее мелькание кино, ослепительно сияющие раковины духовых оркестров, дыхание нарядной толпы — создавали у Саши долгий нервный подъем.

А случайные прикосновения женщин, взгляды их темных блестящих глаз, громкий, неспокойный смех безотчетно влекли его, туманили разгоряченную голову.

Саша неспеша возвращался потом по серому асфальту пустеющих улиц, по темным бульварам и, поздно придя домой, ложился спать, не зажигая света. Но сон приходил нескоро. В голове проносились обрывки вечерних впечатлений, вспоминались серые безмолвные фигуры, мелькавшие по полотну экрана, и как будто прямо из темноты пустой комнаты смотрели женские улыбающиеся глаза. Грудь Саши разжигало тогда сладкой тоской, и он радостно пьянел от сонма

обступавших его видений. Тишина и темнота, окружавшие Сашу, не рассеивали его воображения. Он лежал неподвижно, положив голову на локоть одной руки, далеко вперед выбросив другую, и не слышал ни своего глубокого шумного дыхания, ни трамвайных звонков, дробных и ускользающих, которые глухо доносились с ночной улицы на пятый этаж дома.

Подчас сладкая тоска, овладевавшая Сашей, становилась мучительной, и он, сдерживая в себе волнение, тяжело и прерывисто вдыхал разогретый воздух, точно хотел, чтобы в нем что-то прорвалось и освободило его от гнетущей тяжести. Не преодолев ее, он потом напряженно вытягивался всем телом и так незаметно засыпал.

Ночь проходила в отрывочных снах. Иногда Саша, едва заснув, внезапно пробуждался и, мокрый от духоты, чувствовал, как тяжелыми, свинцовыми ударами бьется его сердце. И, глядя в темноту сведенными глазами, он с подавленным страхом вспоминал видения снов, то, как его преследовали во сне, и он, оцепеневший от ужаса, не мог двинуться с места. В другой раз Саша просыпался уже без страха, но истомленный жаждой, и шел босой по холодному полу в кухню

— к водопроводу.

Летний рассвет наступал рано, и, только к утру забываясь спокойным сном, Саша снова грезил откровенными женскими образами — заполнявшими потом безмерным и хвастливым бесстыдством его сновидения.

Утром, когда комната была полна жарким, слепящим блеском солнца, Саша лениво просыпался, вспоминал миновавшую ночь с чувством недоумения и потом, поднявшись, шел купаться или гулять по бульварам. День проходил как-то незаметно, в работе, в сутолоке учреждений, а к вечеру беспокойство возвращалось опять, работа валилась из рук, и все — и комната, и ее обстановка, и скрытый зеленым абажуром электрический свет, смугло лоснившийся на паркете и оттенявший черноту открытых окон, — все казалось Саше скучным и безрадостным. И только шумевшая внизу улица, глубокая, как дно бассейна, тянула к себе своим аспидным асфальтовым лоском, нестройным потоком голосов и движенья, звоном трамваев и блеском огней.

Саша приписывал свое неспокойное, тяжелое состояние переутомлению — в последнее время он работал очень много — и, еще установившейся со второй половины июня, невыносимо знойной

погоде.

И вот как раз в эти дни Саша встретился со своим старым приятелем Сергеем Липецким.

II

Саша и Липецкий не видались больше пяти лет.

Когда-то они вместе учились в гимназии, жили в одном городе и одно время были очень дружны. Общительный, подвижной, со всеми знакомый — Липецкий тогда коноводил в гимназии, редко вылезал из четырех по поведению, но учился хорошо. Он же выпускал литературный ученический журнал, который Саша снабжал рисунками. На работе в журнале они тогда и сошлись.

В первые месяцы революции Саша слышал, что Липецкий вступил в партию, работал где-то в партийном комитете и уже в своей новой роли пользовался общим вниманием.

Теперь они случайно столкнулись на Тверской в июньский полдень, когда весь город, с побелевшими от зноя и как будто нарисованными домами, был залит солнцем.

Встретившись, Саша с Липецким зашли в ближайшую пивную и после получасового разговора вновь почувствовали себя друзьями. И хоть Саша

в последнее время избегал встречаться с людьми, но воспоминанье о недавнем прошлом, было ему приятно. И поэтому, должно быть, не прошло и нескольких дней, как Саша собрался поехать к Липецкому на дачу.

Когда в день этой поездки они сошлись в переполненном вагоне трамвая и приехали на вокзальную площадь, было уже довольно поздно, и площадь дымчато голубела в ранних сумерках. Небо — совсем еще светлое на закате — от перистых облачков было разноцветным, и на нем темно вырастало в глубине площади здание вокзала с желтым, светящимся циферблатом часов.

В широкие двери вплывала пестрая толпа. На перроне нельзя было протолкнуться, и в общей суете и гаме тяжело гремели по асфальту багажные тележки. Саша с Липецким только-только успели войти в вагон, как поезд тронулся, загремел по стрелкам мимо бесконечных пакгаузов и, прибавляя скорость, вырвался на простор.

Раскаленный июльским солнцем город остался позади, и мимо поезда поплыли уже повечернему призрачные, темные кущи деревьев.

В вагоне было сравнительно спокойно. В полумраке, в ритмичном бое колес приходило сонное успокоение.

Липецкий после городской суеты и вокзальной спешки тоже сначала было притих, но, когда отъехали дальше, он, постепенно оживляясь, начал рассказывать о своей жизни за последние годы, о разных встречах, о Крыме, где долго жил перед переездом в Москву. В окно немного надувало — приятно и легко было дышать теплым вечерним воздухом, напоминавшим о темных полях, мимо которых мчался поезд, о их сонном забытьи под звездным небом.

Минут через двадцать пути Саша и Липецкий сошли на дачной платформе, полной людьми, которые серыми тенями двигались и грудились в темноте.

Выходя из вагона, Липецкий окинул взглядом платформу и потом направился, проталкиваясь в публике, к отгораживавшей платформу железной решетке.

— Нюша! — крикнул он, догоняя белевшую в темноте фигуру, и, подойдя к обернувшейся на его голос жене, поздоровался с ней и познакомил с ней Сашу.

Когда вышли на дачную улицу, то уже где-то далеко, за деревьями, мелькали в прозрачной ночной темноте красные сигнальные огни поезда, доносившего размеренный стук колес.

Вечер был душным, и в его духоте темные деревья, обступившие улицу, поросшую травой, казались отяжелевшими и пыльными. И все же после города, приятны были чистый воздух и густой запах берез, мешавшийся со свежим веяньем земли от политых клумб и приторным ароматом цветущего табака.

Пройдя улицу, они вышли на проезжую дорогу, которая пересекала дачную улицу. Дачи здесь широко расступались, и темнота ночи просторно уходила в поле. И хотя солнце давно уже зашло, все еще мглисто пылала земляничным цветом узкая полоска зари.

И чем-то давно знакомым повеяла на Сашу эта заря, сухой настой воздуха, уют желтых дачных огней, сквозивших кое-где в черном кружеве ветвей, близость смутно-белой фигуры, которая шла немного впереди по узкой сухой тропе, серевшей в мраке.

Дача Липецкого была как раз за дорогой, и почти сейчас же за дачей начинался высокий сосновый лес. Перейдя кочковатые, заросшие травой, колеи, Липецкий отворил калитку, и, когда вошли в окружавший дачу небольшой сад, Саша увидел свет на широком балконе и сидевших там людей. После того как Саша и

Липецкий умылись, подавая друг другу воду из эмалированной кружки (Липецкий, умываясь, с наслаждением отдувался), Саша познакомился со всеми находившимися на балконе. Двое из них сидели за шахматной доской, четверо остальных играли в карты.

И только здесь Саша рассмотрел Анну Сергеевну — жену Липецкого, поразившую его огромными, блестящими глазами и молчаливой, но живой улыбкой лица.

После Москвы на Сашу повеяла дачная обстановка непривычной тишиной и покоем. Он неспешно пообедал вместе с Липецким и потом они долго, почти не разговаривая, сидели на балконе, гуляли в саду.

Позднее собралась компания итти на озеро. И еще большим безмолвием пахнула за изгородью дачи ночная темнота.

Путь к озеру лежал прямо через лес, встретивший сосредоточенной, чуткой тишиной пустого дома. В тишине жарко пахло сосной, и над черными зонтообразными куполами сосен горели голубые звезды.

В лесу компания разбрелась. Саша шел с Анной Сергеевной и сначала молча прислушивался к тому, как пробегает по густым вершинам глухой

ночной ветер. Под ногами, на мягком хвойном настиле, похрустывали сучки и шишки и по этому похрустыванию, да по сумеречно-белому пятну платья Саша узнавал шедшую рядом с ним Анну Сергеевну.

К озеру лес редел, и берег озера с дачной стороны был сухой, поросший до самого леса низкой лесной травой. На берегу серела в темноте сторожка лесовщика. После лесного мрака особенно просторной казалась береговая лужайка.

Озеро было небольшим, но от обступившего его со всех сторон леса казалось глубоким и таинственным.

И глубокое, черное его зеркало отразило алмазные украшения блестевших на небе звезд. Непотревоженная тишь стояла над водой, гладким полем подошедшей к берегам, и когда Саша сошел к самой воде на рыхлый, сырой песок, на него пахнуло запахом гниющих водорослей и ночной сыростью.

У озера Саша и Анна Сергеевна сошлись с остальной компанией и назад возвращались вместе.

Шли теперь по опушке, за которой широко раскинулись темные поля.

Неслышный ветер сухо шелестел в высокой

ржи, светлевшей под покровом ночи, а в лесу все так же глухо, точно перед отдаленной грозой, роптали вершины сосен.

Выйдя на опушку, Саша с жадностью вдохнул в себя легкое тепло полевого простора, веявшего запахом сухой земли и полыни.

Потом от опушки, в сумраке которой под светлеющим синим небом словно вылитые из стекла стояли темные деревья, Саша перевел взгляд на Анну Сергеевну и почувствовал на своем лице поднявшееся от сердца тепло.

Спал в эту ночь Саша крепко и спокойно.

Утром его разбудил Липецкий, и он сразу поднялся с постели — бодрый, хорошо выспавшийся, как просыпаются когда в прошлом дне осталось что-нибудь хорошее, о чем хочется поскорее вспомнить. И когда, наспех позавтракавши, Саша вместе с Липецким уехал в город, у него так и осталось в памяти утреннее солнце над дачным поселком, тихие поиюльскому пышные деревья, сырой и нежный запах рассыпчатой резеды на длинной клумбе перед балконом и чуть отсыревшие в утренней росе дорожки.

Анна Сергеевна, собиравшая утром чай на балконе и подставившая Саше для пожатия кисть занятой руки, показалась ему уже давно зна-

комой. На ней утром были розовые чулки не в тон платью, и это было особенно, подомашнему хорошо.

III

Утренние поезда шли битком-набитые молочницами и дачницами. Перед окнами вагонов плыли зеленые, солнечные луга, веяло в окна свежими полевыми запахами и на травянистых берегах речек виднелись купающиеся.

Москва же сразу обдала вокзальным шумом, пылью, уличным зноем.

Но когда Саша, приехав трамваем, слез на своей улице и миновав оптический магазин, над которым, поперек тротуара, висело рекламное пенснэ с синими стеклами, поднялся по гулкой прохладной лестнице на пятый этаж и пришел в свою комнату, ему как-то особенно пусто и молчаливо показалось в ней.

Дверь за Сашей захлопнуло сквозняком, и он, сбросив на ходу кепку, прямо прошел к углу, где стоял мольберт. Переставив его вперед, Саша открыл занавеску. По обычному ярко, празднично глянули с полотна краски, но Саше почему-то сразу бросилась в глаза масса недостатков его работы. Усевшись верхом на стул, и опустив

подбородок на руки, сложенные на спинке стула, Саша долго и напряженно рассматривал картину.

И теперь впервые Саше показались правильными те отзывы, которые давали видевшие картину его знакомые. «Крашенный картон», — шевельнулось в уме у Саши, но эта мысль не показалась ему, однако, очень досадной, точно то, на что он смотрел, был его старый, давно превзойденный урок. И беспечно, с мыслями о том, как переработает картину, Саша опустил занавеску, подошел к окну и сел на горячий подоконник, куда улица доносила трескуче-дробные звонки трамваев, неспешное цоканье лошадиных копыт, слитный, глухой шум движенья.

За окном над всем пространством города — на крышах домов, на их стенах и в побледневшем небе — ослепительно блестело палящее, полуденное солнце. И Сашу потянуло на улицу. Он вышел в коридор, где жарко шумел чей-то примус, и, пройдя на кухню, попросил Ксению — одинокую, пожилую женщину, убиравшую в его комнате, приготовить ему чай. Наскоро выпив потом один стакан, Саша надел полотняную панаму и сбежал вниз. И уличный шум сразу заполнил его. Итти по делам Саше не хотелось, он медленно

брел по тротуару и ел из бумажного пакетика блестящие чернолиловые вишни. На Пречистенском бульваре Саша встретил знакомого художника и посидел с ним на лавочке. Потом жаркий и вспотевший от полуденного зноя, он сошел к Москве-реке и долго купался.

Вода была теплая, и только ноги приятно холодели, уходя в щекочущий песок. Из реки хорошо было смотреть на сиявший в солнце город, на огромный и легкий храм Христа Спасителя, на торопливо снующие по набережной трамваи.

Искупавшись, Саша пошел обедать, за обедом с аппетитом ел холодный борщ, жаркое и потом долго не поднимался, осматривая пеструю, полетнему нарядную публику. После обеда, не зная, куда деть день, Саша сел в трамвай и поехал на пристань. Там он купил билет до Воробьевых гор, вошел на пароход и, дожидаясь отправления, просмотрел газету. А когда винт с глухим плеском заворочался в воде, и пароход мелко задрожал всем корпусом и отчалил от пристани, Саша начал смотреть, как, медленно удаляясь, поплыли в сторону берега. На берегах потянулись красные корпуса фабрик, одноэтажные дома окраин и потом на левом берегу зелеными холмами встал Нескучный сад.

Сидя на самом носу, в тени полотняного с зубчатым бордюром навеса, Саша видел перед собой широкую даль жарко блестевшей реки, скользившие по ее расплавленной поверхности лодки и кички, купающихся, которые, тяжело двигаясь в зеленой воде, подплывали к самому пароходу и качались на его волнах. Пассажиров на пароходе было немного, из машинного отделения доносился глухой, торопливый шум, с тихим звоном вскипала вода у бортов. И все шире развертывалась вокруг парохода зеленая пышность привольных берегов.

Саше, который сидел, положив на железные перила переплетенные руки, казалось, что он никогда еще не испытывал такого полного, ничем не омраченного довольства и никогда еще не смотрел с таким наслаждением на голубой, объятый жаркой дремотой, купающийся в солнце мир.

Саша слез у Воробьевых гор, пошел вверх по зеленому склону и, поднявшись потом по лестнице, посмотрел на Москву. Москва раскинулась перед ним за светлеющей лентой реки во всей своей величавости и шири. В бледноголубом бескрайном просторе сусальным золотом переливались ее купола, возносились, скрытые призрачной дым-

кой далей, легкие изваяния радиобашен, мутнел серый аспид и сверкала белизна зданий, лепившихся как кристаллы. Саша долго стоял на горе, прикованный глазами к панораме огромного города и легко дышал жарким воздухом, полным запаха нагретой зелени. Побродив потом по склонам, он сошел вниз, купался и, чувствуя, как снова покрывается каплями пота еще холодное после купанья тело, смотрел на другую сторону, на песчаный сияющий пляж, где светлели округлые, пригибающиеся фигуры купальщиц. Уйдя потом наверх, в тень деревьев, Саша долго лежал, слушая дремотный шелест зеленой листвы и отдаваясь чувству сладкой усталости. Незаметно он уснул, и когда проснулся, солнце было уже на склоне. Несмотря на то, что он лежал в тени, Саша проснулся весь мокрый, но просвежевший от сна, с ощущением бодрости во всем теле и проголодавшийся. Поднявшись на гору, он купил себе бутербродов, выбрал потом в киоске несколько потрепанных книжек универсальной библиотеки и пошел в сад.

Уже в сумерки, когда на улицах зажигались прозрачные в вечеру огни, Саша трамваем возвращался обратно в город. Домой ехать ему, однако, не хотелось, и, все еще не удовлетворенный, он

сошел на Театральной площади. Она была залита вечерней жаркой мглой, и на меркнущем хрустальносинем небе рисовались силуэты ее зданий. Необъятно широко, дыша темнотой, выдвигался на площадь Большой театр.

И, сойдя с трамвая, Саша сразу оказался в потоке шаркавшей по асфальту вдоль скверов публики, услышал выкрики продававших фрукты лотошников и увидел поднимавшиеся над головами гроздья шаров, которые просвечивали на электричестве мутно-зеленым и багрово-красным цветом.

Опьяненный только-что миновавшим душным днем и жарким дыханием вечернего города, Саша чувствовал, как сладко плывет его голова и в неясных, волнующих ощущениях назревает тело, рождая жажду горячего веселья, быстрых движений, уверенного обладанья своими, полными неразрешенного наслаждения чувствами.

Вспомнив, что поблизости живут двое его знакомых, Саша решил зайти к ним и, покружив переулками, поднялся по темной лестнице двухэтажного дома вверх.

Он застал своих знакомых дома, они ему немного удивились, но были в то же время и рады, и, хотя Саша давным-давно не бывал здесь, нелов-

кости он не почувствовал. Нашлось много, о чем побеседовать, а к вечеру в квартиру подошел еще кое-кто, пришли две женщины — одну из них Саша здесь же встречал раньше.

С их приходом Саша оживился еще больше: много говорил, смеялся, с интересом слушал других и все ясней видел, как его влечет к этим людям, к женщинам, какими обольстительными кажутся ему их легкие наряды, очертания обнаженных рук, устремленные блестящие глаза.

Поздно вечером все собрались в театр, после театра долго еще гуляли, и Саша вернулся к себе в комнату уже перед рассветом.

Долгий день, встречи, то, что он видел в театре, сияние ночного города разгорячили Сашу, и он лег в постель счастливый, с горящим лицом, со сладким чувством в груди. И когда лег и закрыл глаза, вспомнил темную опушку и сумеречное платье Анны Сергеевны.

Сладкая волна нежно и крепко напружила его сердце, и Саша тогда быстро, все чему-то улыбаясь, уснул.

На другой день он проснулся все таким же довольным, успешно занимался делами. И так у него прошло три дня, пока он не собрался на воскресный день снова поехать в Лидино.

Теперь Саша ехал один, потому что Липецкий уехал накануне, а у Саши субботний вечер был занят срочной работой.

Поднявшись в воскресенье пораньше, Саша побрился, напился чаю, и хотя ехать на вокзал было еще не время, но он сейчас же после чая вышел на улицу и медленно зашагал по бульварам. И как будто впервые видел Саша и эти бульвары, и поутреннему чистые ряды домов, и памятники на площадях — так много радости доставляла ему озаренная солнцем зелень, громкие голоса прохожих, трещание пролеток по мостовой, особое, праздничное оживление улиц.

На вокзале Саше также не пришлось спешить. И с тем же беспечным и легким видом прошел он через высокий зал, над белыми столиками которого темнела зелень искусственных пальм и который в глубине, там где был буфет, блестел мельхиором судков и ваз, вышел потом на перрон и, покупая билет до Лидина, почувствовал что-то как бы окончательное и жгуче-приятное, чего ожидал от сегодняшней поездки.

Поезд, на котором должен был ехать Саша, стоял у открытой платформы, и на солнце жарко сияли зеленые облитые бока его вагонов. Отирая со лба пот, Саша ходил вдоль поезда, слушая

несмолкаемый шум и смотрел, как спеша, перекликаясь друг с другом, усаживались за окнами пассажиры.

Саша вошел в вагон, когда увидел вставшего на подножку, перед тем, как дать свисток к отправлению, кондуктора.

В вагоне он нашел место у окна и начал смотреть, как поплыли мимо поезда бесконечные пакгаузы, низкие окраинные улицы и как потом, когда все громче, все торопливей рокотавший по рельсам поезд вырвался на простор, по обеим сторонам его заблестели огромными водоемами низкие зеленые луга. И тогда вместе с чувством тревожного и радостного влечения к чему-то, которое еще на вокзале остро ощутил Саша, его захватило веяние простора, бесконечной свободы, словно грудь его открывалась ликованию зеленых склонов и сквозной голубизне далей. В лицо Саше бил теплый пахучий ветер, и от остроты чувств, от их острой обнаженности приятно кружилась голова.

И только, когда поезд, не останавливаясь, прогремел по стрелкам мимо какой-то полной людьми деревянной дачной платформы, а потом, плавно заворачивая, вышел к прямой линии соснового леса, иссиня зеленевшего на солнце, и

когда отчетливей зазвучал бесперебойный, все учащавшийся стук колес, Саше представилось, что поезд, идет слишком медленно, и захотелось, чтобы он оторвался от рельс и с быстротой, роняющей сердце, понесся туда, где далеко впереди черного паровоза и цепи вагонов вставала тающая голубая дымка, скрывавшая дальние леса, низины рек и куда-то все уводящее каменисто-песчаное полотно.

Охваченному на мгновение этим непосильным желанием к ощутившему сладкую невесомость в груди, Саше стало казаться, что он стоит у окна не один, и кто-то, сопутствующий ему, нежно, со скрытой лаской, касается его плеча, всего его тела. И полный волнующей близостью милого видения, не видя полузакрытыми глазами, как по зеленой траве, освещенной ярким солнцем, бежит за вагонами короткая тень, Саша глубоко дышал встречным ветром, и грудь ему все сильнее жгла радостная до слез благодарная боль.

IV

В Лидине Саша пробыл весь день — жаркий, светоносный, полный запахов соснового леса, сухой земли, увядающих на солнце цветов. И весь день хорошее настроение не покидало Са-

шу, — все радовало его, напоминало ему о былом, обещало что-то.

И вдруг вечером, точно оборвало. Еще только Саша смеялся, оживленно разговаривал, полный жарким волнением, видениями миновавшего дня, как вдруг ему стало тоскливо, тяжело, обступившая дачу вечерняя тишина показалась особенно глухой, затаенной, особенно скучными, обыденными показались люди, собравшиеся на балконе и в повечеревшем саду. И не потому, что у него такое намерение было заранее, а неизвестно почему, соскучившись за день по Москве, — как будто его в Москве ждало что-то, к чему никак нельзя было опоздать, — Саша уехал из Лидина с последним вечерним поездом.

Липецкий и Анна Сергеевна проводили Сашу до платформы, и как они ни пытались удержать его у себя, чтобы он ехал в Москву на другой день вместе с Липецким, Саша настоял на своем.

И все же ему стало еще тяжелей и тревожней, когда к платформе, дыша темнотой неосвещенных вагонов, подкатил дачный поезд. На одно мгновение Сашу охватило было раскаяние, что он не послушался ни Липецкого, ни Анны Сергеевны и не остался в Лидине, но переменить решение было уже поздно. Саша, наскоро попрощавшись

и испытывая чувство нехорошей, слепой жути, вошел в вагон.

Из почти пустого вагона, как только поезд тронулся, Саша перешел на площадку и, вынув из кармана папиросы, закурил. Облокотившись на опущенную раму окна, он с новой силой тогда почувствовал, как растет в нем глухая тоска, которую он не может ни выразить, ни преодолеть. Безнадежной, мертвенной тупостью заполняла она его грудь, и как Саша ни курил, закуривая одну папиросу от другой, тоска его становилась все глубже и безмерней, и в ее невыразимой силе скрывалось что-то, что было для Саши, как тягостное ожидание, как предвестие безысходного конца. В окно веяло июльской теплынью, далеко в черном небе шевелились звезды, но Саше весь этот ночной мир казался однообразным и пустым и непонятной казалась и бесконечно далекой та радость, которую он пережил в последние дни и которая сопутствовала ему, когда он ехал в Лидино.

И как будто далекий сон вставало где-то позади голубое небо дня, солнце, дачная зелень, нарядные костюмы дачников, платье Анны Сергеевны с цветной лентой впереди, спокойные глаза Липецкого. И сейчас Саше почему-то хотелось,

чтобы всего этого не было, чтобы навеки исчез этот странный сон, нарушивший покой его одиночества и такой холодной, мятущейся тоской наполнивший его грудь.

В окне ярко мелькнул белый свет фонаря, светлая полоса косо проплыла по стенам площадки, и два пассажира, открыв дверь, прошли мимо Саши и сошли на остановке. И Саша, все еще волнуемый мучительным чувством, слыша редкое, шумное пыхтенье паровоза, подумал тогда, что, если бы он тоже сошел сейчас с поезда и лег на холодные и почему-то представившиеся ему хрупкими рельсы. Похолодев от этой мысли, Саша с чувством невольного облегчения услышал пронзительный кондукторский свисток и увидел, как поплыли в сторону станционные огни и постройки. И от силы внутреннего напряжения, которое Саша пережил, он ощутил теперь резкую слабость, в голове у него зашумело, и ему показалось, что уши его открылись внутрь, где тупо и непокорно билось опустевшее сердце. С трудом овладев потом собой и стоя на площадке в ледяном, долгом оцепенении, Саша не заметил, как поезд, минуя пригороды, подъехал к Москве.

Шум перрона рассеял Сашу. Пройдя вокзал и выйдя на площадь, он взял извозчика и поехал по

пустынным, безлюдным улицам, в черно-сером сумраке которых светились окна домов и блестели редкие фонари.

И погружаясь в эту привычную, ночную муть города, вдыхая густой запах пыли и гнилостные испарения дворов, которые веяли отвратительной, загаженной жизнью, Саша нервно пересаживался на вытертом, в жирных пятнах суконном сиденьи пролетки и опять без конца курил.

Лошадь ехала медленно, ее подковы стучали с тупым равнодушием и непонятно было то, что она так спокойно и покорно сворачивает из переулка в переулок, проезжая мимо теряющихся во мраке огромных домов, железных оград, пыльной зелени бульваров.

Наконец приехали на ту улицу, где жил Саша. И тогда ему сразу стало спокойнее и с особенно пристальным вниманием начал он рассматривать окна знакомых домов, магазины, мертво блестевшие в ночи вывески.

Извозчик остановился там, где над тротуаром темнело рекламное пенснэ, и Саша, тяжело поднявшись, вышел из пролетки. И сейчас же, едва успев расплатиться с извозчиком, Саша почувствовал, как обманчиво было его минутное

успокоение и как трудно ему возвращаться к себе домой, подниматься по этой темной, пустой лестнице — так неудовлетворен был он во всем и так велика была сила какого-то темного, ужасного хотенья, которое с каждым часом все сильней порабощало его.

И неожиданным избавлением Саше вспомнилась в этот момент Ксения, — она уже спала, наверное, наверху, в своей маленькой комнатке, возле кухни. Почему мысль о Ксении показалась Саше такой спасительной, он не знал, но сейчас же быстро поднялся вверх, мимо светлевшей в темноте пыльной сетки лифта и, запыхавшись от быстрого подъема по лестнице, нашел в кармане ключ и отпер квартиру.

Громко захлопнув дверь и не заходя к себе, Саша все так же быстро прошел к комнате Ксении и, постучавшись, вошел к ней.

У Ксении было темно. Кто-то зашевелился на постели.

— Кто там? — услышал Саша знакомый, хриповатый со-сна голос.

И от этого голоса, с сонной безотчетностью прозвучавшего в темноте, Саша словно вновь обрел себя, и ему сразу стало легко и хорошо.

Он ответил что-то и, словно согревающий,

животворный пар вдыхая густую темноту дома, плотно притворил дверь и, шатаясь от усталости, но со спокойным чувством в груди, пошел спать.

V

Не разогнав еще сна, Саша лежал утром следующего дня в постели, и чувствовал, как приятно ноет от неизжитой усталости все его тело. Долго не открывая глаз, Саша грезил впросонках прошлым днем, солнечной дорогой, уходившей в поле, дачей Липецких, Анной Сергеевной. И Анна Сергеевна представлялась ему в эти минуты такой близкой, точно она была здесь, полная нежности к нему и той особой заботы, которая казалась Саше безмерным счастьем.

Ярко ощущая сквозь закрытые глаза присутствие солнечного света в комнате, Саша воскрешал в себе какие-то туманные детские видения, когда, пробуждаясь по утрам, он испытывал такой же глубокий покой и когда ему невыразимую радость внушало одно только сознание, что, открыв глаза, он увидит пред собой знакомый стул со сложенной на нем одеждой.

И так полно было для Саши все окружающее солнечным светом, сияющей тишиной, что он, словно кого-то любимого прижимал к лицу по-

душки и такая нежность созревала в его сердце, что казалось, что-то в нем прольется и всю грудь заполнит живым, разлитым теплом. И уже взволнованный этими чувствами, Саша открыл вдруг глаза и напряженно потянулся, словно сбрасывая с себя облекавшую его пелену изнурительных осязаний и разгоняя свои грезы ярким блеском дня. Потом Саша сел на постель и, радуясь желанию двигаться, стремиться куда-то, быстро оделся.

И весь этот день прошел для Саши как-то незаметно, он побывал во многих местах, успешно работал и даже прискучившая обстановка тех мест, где он обычно проводил дневные часы, не рассеяла теперь его бодрого и спокойного настроения.

Вечером Саша пошел к знакомым, потом крепко спал и на другой день встал с мыслью о том, что он может поехать сегодня в Лидино, так как следующий день был праздничным. Еще с утра Саша позвонил Липецкому. Липецкий сказал ему, что он вечером на дачу не поедет, и убедил Сашу ехать одного.

День этот тянулся томительно долго, и когда Саша, скоротав его работой, дождался обеденного времени, обедать ему совсем не хотелось, и обе-

дал Саша тоже только затем, чтобы убить время. На вокзал он, как и в прошлый раз, пошел пешком, итти ему было легко и весело, и радовало его то, что по тротуарам двигалась масса публики — обгонявшей его, стремившейся навстречу, постоличному суетливой.

На вокзале, когда туда пришел Саша, горело уже в знакомом огромном зале электричество. Оно поплыло перед сашиными глазами ослепительным сиянием раскаленных шаров, и весь зал, полный пряным кофейным чадом, плыл, казалось, перед ним, со всей своей темной зеленью, людской сутолкой, жидкой синевой окон.

Темные поля неслись потом мимо поезда, особенной тишиной и мраком веял сосновый лес, приближавшийся к железнодорожному полотну, и Саша, словно он смотрел на поезд со стороны, видел, казалось, черную цепь вагонов, проносившихся по светлеющей просеке, красноватый отсвет топки на шпалах и все полней и напряженней чувствовал стремительный гул движения. И эта сосредоточенность рождала у Саши неясную какую-то, но глубокую веру в себя, точно он владел всем, что сопутствовало ему: и поездом этим, и убегавшими назад темными лесами, как владел он сонмом чувств, живших в

нем, в его груди, дышавшей полно и раскрыто.

На дачу Саша пришел, запыхавшись от быстрой ходьбы, и, войдя за калитку, увидел во мраке, скрадывавшем стволы деревьев, в том месте, где должен был висеть гамак, белое, смутное пятно. Издали Саша не узнал Анну Сергеевну, но угадал ее присутствие и, уже различая медленно раскачивавшийся гамак, окликнул ее по имени. Она отозвалась Саше несколько удивленно, и звук ее голоса показался ему в то же время необычно приветливым, спокойным.

— Где же Сережа? — спросила Анна Сергеевна, когда Саша подошел к ней и поздоровался. И, выслушав его ответ, добавила: — Вот хорошо, что вы приехали — я тут умирала от скуки… Обедать хотите?

Саша отказался и пошел принести себе скамейку. И когда он шел с балкона, то с еще большей остротой, чем в первый приезд, ощутил сонную тишину, опустившуюся над садом и улицей, вместе с серым, полупрозрачным мраком, и в этой тишине, в легком волнении сердца, почувствовал то невыразимое, что как бы приблизило его к земле, сделав все окружающее понятным, любимым и в то же время влекущим серой неразгаданностью.

Сидя после около Анны Сергеевны, Саша много разговаривал, смеялся, качал ее в гамаке так высоко вскидывая гамак, что она удерживалась за его руку, и прикосновение ее холодной, как лед, ложившейся на его пальцы, руки наполняло Сашу смятением. Он, волнуясь, и стремясь подавить себя, смеялся тогда над испуганными возгласами Анны Сергеевны, смотрел на нее суженным взглядом и, вместе с тем, словно дышал ею, дышал смутными очертаниями ее фигуры, белевшей в темноте, чувствуя, что жажда близости становится в нем все непереносимей, все острей.

Когда на балконе появился свет, широкими тенями упавший в сад, перешли на балкон. Там кто-то из дачников предложил Саше сыграть в шахматы, и Саша с удовольствием согласился и сел за стол. Но и играя, он со стороны наблюдал за Анной Сергеевной, ловил звуки ее голоса, следил за ее движениями, ожидая, чтобы она подошла к нему, с чем-нибудь к нему обратилась.

Спать в этот вечер легли рано, и когда все разошлись, и Анна Сергеевна вышла на пустой темный балкон, чтобы посмотреть, все ли приготовлено для Саши, тогда его грудь так глубоко наполнила благодарная, чистая радость, точно Анна Сергеевна пришла к нему не как хозяйка, а

как близкий человек. Саша с восторгом следил за ее движением, и таким умиротворяющим казался ему ее спокойный голос, что голова его устало кружилась, и все окружавшее его — и темные деревья и теплое дыхание улицы — как будто погружалось вместе с ним в беспредельную бездну молчаливой ночи, чтобы куда-то без конца, в счастливом волнении лететь.

Рано поднявшись на другой день, Саша один пошел гулять в лес, полный еще легкой утренней свежести и солнца, падавшего на землю чистым, светлым узором.

Теперь Саша уже не чувствовал в себе того бурного подъема, какой переживал в последние дни, но так же бодрость и полнота ощущений владели им, точно он впервые шел на этой солнечной, благоуханной земле.

И как все эти дни, Саша, гуляя в лесу, об Анне Сергеевне почти не думал, но весь был полон ею. Она жила для него во всем, что он видел, — и в этом солнечном узоре, и в мягких девственных ветвях сосен, и в голубом небе, светившемся над лесом, и в самом чистом, настоенном среди сосен воздухе, от которого грудь пьянела и ширилась. Именно это ощущение владело Сашей. Он чувствовал, как ширится его грудь и весь он словно

растет, становясь крепче и сильней.

Вернувшись на дачу, Саша разговаривал с выходившими на балкон дачниками, сонными еще после ночи, и следил за дверью в коридор, откуда должна была появиться Анна Сергеевна.

Пока пили чай, солнце поднялось совсем уже высоко, день опять становился жарким, и было все так же тихо, как ранним утром, когда Саша гулял в лесу. Саше же день казался особенно ослепительным, и радужно сиял перед ним в слиянном, прозрачном блеске голубизны, зелени, солнечного света.

После спокойных утренних переживаний теперь Сашу как будто несло на волнах, взгляды его стали хмельными и жарко розовело лицо. И словно из странно чувствительных и неподчиненных ему волокон было соткано все тело Саши, так остро отвечало оно на каждое прикосновение, сохраняя в то же время в себе спокойствие большого, напряженного чувства.

После чая они с Анной Сергеевной пошли на вокзал встретить Липецкого, но Липецкий тем поездом, которым его ждали, не приехал. В ожидании следующего поезда решили пойти прогуляться в лес, расположенный по другую сторону платформы. То, что Липецкий не приехал,

показалось Саше каким-то особенным предзнаменованием и, входя с Анной Сергеевной в дневной сумрак леса, он почувствовал, как упало и потом, словно спохватившись, забилось с решительной силой его сердце.

Лес повеял в этот момент на Сашу далекими и неясными воспоминаниями детства, будто туманное детское счастье жило в этой густой зелени, в таинственном сумраке, в прикрытии пышных ветвей.

Анна Сергеевна наклоняясь собирала ромашки, колокольчики и еще какие-то синие цветы, росшие высокими свечками.

Сашу, между тем, все сильнее охватывало жаркое, глубокое волнение, случайные прикосновения холодных рук Анны Сергеевны кружили его голову и с каждой минутой его тело все настойчивей теснила какая-то скрытая в нем, физически ощутимая, назревшая сила.

Вместе с тем Сашей овладевал и непонятный, мутный страх: к чему-то неведомому, казалось, уводил этот лес, обвеявший сначала теплом сияющих бликов и свежестью густой зелени, а теперь как будто погружавшийся в глухое, молчаливое смятение, которым была полна золотая, прозрачная сушь солнечных полян.

— Что же вы молчите? — спросила в это время Сашу Анна Сергеевна, кончив разбирать букет и оправляя ладонью сбившиеся волосы.

Этот вопрос рассеял Сашу. Он поднял глаза от узких лаковых туфель, мелькавших в траве, и, освобождаясь от жгучего, овладевшего было им страха, снова радостно, с душевной легкостью и теплотой почувствовал, близость Анны Сергеевны.

— О чем говорить!.. Я счастлив тем, что иду с вами… неожиданно для себя самого сказал Саша.

И так уверенно и просто сказал он это, что Анна Сергеевна подняла лицо и посмотрела на него насторожившимся, испытывающим взор, как бы ожидая, что он скажет еще. Поцеловав тогда у Анны Сергеевны руку, и не видя, как она вдруг побледнела и как потемнели ее глаза, Саша так приблизился к ней, что всю ее ощутил под легкой освещенной солнцем одеждой.

И, уже не сдерживая себя, полный волнующей близости, Саша преодолел охватившее его голову сладкое головокружение и поцеловал губы запрокинутого назад похолодевшего лица.

VI

Приехав на другой день в город, Саша почувствовал, что он весь полон Лидиным, что его ничто другое не интересует и только одно счастливое волнение безраздельно владеет им.

В шуме людных, солнечных улиц чудился Саше дневной сумрак леса, и словно по траве или по упругому хвойному настилу ступал он по размягченному асфальту тротуаров.

Прошел первый день, наступил вечер, утопивший город в духоте синих сумерок, и все не оставляло Сашу ощущение чего-то хорошего, долгожданного, что пришло так внезапно и такой полнотой насытило душу. То же испытывал Саша и на следующий день и после. Он оставил тогда свое большое полотно и начал ездить за город, где работал над пейзажными эскизами и просто гулял, купался, отдавался летнему раздолью. Свою комнату Саша как-то перестал замечать, она наскучила ему и казалась теперь бивуаком, который он вскоре должен покинуть. И где бы Саша ни был, на раскаленных ли, поливаемых водой улицах города, в подмосковных ли рощах, в дачных ли поселках — везде сопутствовало ему все то же неодолимое, радостное волнение,

наполнявшее собою и знойное сияние солнца, и густые летние запахи, и зеленое море трав, деревьев, хлебов. И словно желая это волнение продлить и сберечь, Саша не учащал своих поездок в Лидино и встреч с Анной Сергеевной и только все больше отдавал себя в плен невероятной, мучившей его стыдом и страхом мечте.

И лишь когда дурман постоянного напряжения становился непереносимым и грудь уже начинало наполнять тягостное удушье тоски, Саша шел к Липецкому или прямо на вокзал и ехал в Лидино. За то недолгое время, пока он добирался до дачи Липецких, весь мир перекрашивался в глазах Саши, душевный гнет рассеивался и волшебным казался и отдавался в самом сердце волнующий рокот колес.

На дачу Саша приходил всегда возбужденным, много говорил, смеялся — само дыхание его было полно смехом — и готов был целыми ночами не спать, бродить по бору, по темным лесным дорогам. И в этих часах, которые Саша проводил в Лидине, были такие, каких до того Саша и не знал и не думал, что они могут быть, — в эти часы он ходил с безоблачной и как будто все прозревающей головой, и ночью это было или днем, но все блестело тогда в глазах Саши — и

воздух, и зелень, и предметы, и ослепленный, пронизанный этим блеском, Саша жил каждой порой наслаждающегося жаркого тела.

Но в конце июля — в это время перепадали дожди, дачные места потускнели, замерли — Саша вдруг из Лидина пропал и не показывался там недели полторы.

И явился он потом туда не в обычном состоянии. От него повеяло каким-то холодком в котором сквозило и смущение и непонятная враждебность. «Что с ним такое?» — подумала Анна Сергеевна, когда Саша равнодушно заметил ей, как она выглядит и даже не остановился на ней сколько-нибудь внимательным взглядом. И потом Анна Сергеевна видела, что Саша оживленно разговаривал с Липецким, на ее же обращения отзывался коротко и шутил с ней как будто даже с каким-то скрытым нехорошим чувством.

Это и поразило и задело Анну Сергеевну, недолго посидев на балконе, она поднялась и с книгой ушла в сад в гамак. И когда Саша позднее подошел к ней и начал что-то говорить, она не смотрела на него и молча раскачивалась в гамаке, откинув руку с заложенной пальцем книгой. Однако безразличие Анны Сергеевны не было искренним, и она снова с болью отнеслась к Саше, когда он

в этот день уезжал и когда при прощании на его губах бродила странная, неприятная улыбка.

VII

Саша же, действительно, переживал в эти дни тягостное, недоуменное чувство, подобное тому, которое его охватило как-то раз, когда он возвращался из Лидина, но более тупое, глубокое и гнетущее.

Но и не только потому это чувство не было для Саши новым. С отрочества, а может быть, еще с детских лет, чуть ли не с тех дней, как он помнил себя, нес Саша в себе мучительный, безымянный недуг, который не причинял ему ни боли ни ран, но на целые дни затмевал рассудок и вселял в грудь тягостное, доводящее до безумия ощущение мертвенной пустоты.

И когда этот недуг еще в те далекие, отроческие годы овладевал Сашей, он становился нелюдимым, каждое слово его задевало, каждое прикосновение коробило, и самая ничтожная обида так ударяла по нему, что его потом трепало, как в лихорадке. Но как бы Саше ни было тяжело, он только по ночам, или оставшись один, всем сердцем отдавался своей боли, доводившей его до слез, и радовался в то же время облегчавшему

его грудь жгучему, вновь и вновь возникавшему страданию.

Много позднее — в первые дни юности — предвестием какой-то несбыточной, но и неизбежной любви стала казаться Саше его душевная тоска, его тайный недуг. Ожидание обмануло Сашу. В первый раз «понастоящему» он почувствовал любовь с женщиной, которую он встретил лишь однажды и которая поразила его своим распутством. После всего, что Саша с этой женщиной пережил, он испытал муку самого безудержного разочарования и, придя домой, долго, до полного бессилия, до ожесточения плакал и метался на кровати. И на некоторое время Саша перестал тогда чувствовать, то, чем прекрасна была для него жизнь прежде — влекущую загадочность всех ее явлений, их безмерность и полноту. Потом это отупение прошло, но в Саше многое переменилось, и в некоторых своих мыслям и поступках он не только не мог бы признаться другим, но старался скрыть их и от себя.

И вот уже с того времени все сашины еще полудетские увлечения через восторги первых встреч приводили к какому-то страху, к чувству бессилия перед несознаваемыми препятствиями любви. И словно враждебную, чуждую ему волю

несла та, кого Саша только что готов был боготворить: таким упорным становился он потом и даже не во взглядах на что-нибудь, а просто в своих настроениях и желаниях каждой минуты.

Так и теперь после первой поры увлечения Саша снова переживал душевный разлад. Случай отвлек его на некоторое время от Лидина и, когда он потом съездил туда, то убедился, что от прежних его чувств не осталось, как будто и следа и что наперекор стыду, позору своей слабости, он утверждается в состоянии тупого безразличия и злобной подавленности.

Этот внутренний упадок страшно удручал Сашу. Чтобы рассеять себя, и опять стал уезжать из Москвы — куда глаза глядят, лишь бы подальше от людей.

И где-нибудь в поле, в овраге, утомленный ходьбой и жарой, он ложился в кусты, смотрел на тускло блестевшее небо, в прозрачную, темневшую лесами, как будто водную даль, курил и думал, думал.

Дни в первой половине августа стояли чудесные, было знойно, но дышалось легко, и все — и поля в первых стогах, и дальние леса, и отдельные деревья — рисовалось мягко, в особой чистоте и блеске линий, и была в воздухе, в солнечном све-

те, в красках земли какая-то переизбыточность, золотая теплота зрелости.

Саша особенно любил посещать одно место, сказочное в своей прелести. Поля там широким холмом поднимались к лесу, оставляя внизу долину в пестрых, неярких полосах пашен, черных гнездовьях деревень, синей черноте далекого бора, в остром блеске извилистой реки на скошенном, ровном, как стол, лугу, голубом тумане рощ и в белых, сияющих точках едва видного, на самый горизонт закинутого монастыря.

На этом холме Саша проводил целые дни и так успокаивался там, что и вся его жизнь представлялась ему радостной, спокойной, счастливой.

Но как только он приезжал в Москву и видел ее огни, вознесенные в черноту ночи, ее рестораны, кино, почти подневному светлые площади с фантастической, роящейся толпой, с виденьями женщин, смятенье снова охватывало Сашу, он вспомнил Лидино, и Анна Сергеевна, представившая перед ним и как бы ощутимая в каждой своей черте, в нежности своих одежд, в тепле своей близости, в очаровании блестящих глаз, в безмолвном обещании, опять влекла, влекла.

VIII

И все-таки, несмотря на отдельные порывы с каждой новой поездкой Саши в Лидино, становилось все ясней, что он лишь стремится поддержать, то чему уже сам не верит и чему должен наступить конец.

Приезжая в Лидино, Саша теперь не только не был оживлен попрежнему, но и не сохранял той напускной холодности, с которой явился в первый раз после продолжительного отсутствия. Он был удручен и растерян и не мог этого скрыть.

Задевало и волновало Сашу и то, что Липецкий, который и прежде не мог не замечать близости Саши к Анне Сергеевне и относившийся к этому, внешне, по крайней мере, спокойно, теперь начал как будто внимательно присматриваться с этой стороны к Саше и то шутил над ним, то, как будто, сам раздражался.

И все это — случайная насмешка, какое нибудь замечанье — больно поражало Сашу, он долго потом ходил сам не свой и, предполагая во всех скрытое враждебное отношение к себе, враждебно настраивался сам.

И вот все же Саша в конце концов пришел к тому, что совершенно покинул Лидино и поки-

нул его без решительного к тому побуждения, а просто утомившись постоянной внутренней борьбой.

В день последнего своего посещения Лидина Саша гулял с Анной Сергеевной в поле, и они далеко забрели по дороге, пролегавшей между сжатыми наполовину полосами ржи и еще зеленого сухо лоснившегося на солнце овса. День был прохладный и ветреный, в легкой, прозрачной дали ясно, как осенью, рисовался лес, и высоко вставали зеленые выпуклости холмов. Дорога лежала обметенная ветром и затвердевшая, и вдоль нее шумели густой зеленью одинокие деревья.

Анна Сергеевна шла рядом с Сашей, с развевающимися от ветра полами легкого пальто, в цветном шарфе, в синей шелковой шляпке. Лицо ее от свежести, от ветра порозовело, и из-под полей шляпы как всегда живо блестели глаза.

И неизвестно отчего — и у Саши, и у Анны Сергеевны, в то время как они гуляли, создавалось все более грустное и тревожное настроение.

Отношения у них в этот день были как раз хорошими. Уже казалось перед тем, что они совсем утратили чувство близости, взаимного интереса, как вдруг снова что-то закружило их, и с утра в этот день оба они были оживлены, взволнованы,

приподняты.

И вот отчего-то потом и Сашу, и Анну Сергеевну стала точить эта, как будто и сладкая, но и тревожная грусть.

Уже когда они шли обратно, Саша в наступившем вдруг душевном затишьи с особенной ясностью почувствовал близость Анны Сергеевны и ее сегодняшнее, слегка как бы напряженное в своей нежности и оттого еще более прекрасное, ласково влюбленное отношение к нему, почувствовал, казалось, невыразимую остроту собственной влюбленности и, вырвав из полосы стебель овса, перервал его и, называя Анну Сергеевну только по имени, сказал:

— А знаете, Аня, мы с вами больше не увидимся.

И сказал это серьезно и внешне спокойно, как бы о давно решенном.

Анна Сергеевна приняла сначала его слова за странную шутку, но потом увидела, что Саша как-то очень рассеянно смотрит перед собой заблестевшими вдруг глазами, что все лицо его выражает внутреннюю скрытую боль, и встревожилась. Но сумев все же преодолеть себя, она ничего не ответила Саше, только пристальней взглянула на него и взяла его руку.

У Саши, действительно, особенно жгучей стала в эту минуту все время томившая его грустная боль в груди.

И поособому, поженски поняв Сашу, Анна Сергеевна не выпускала его руки, а когда он, плотно стиснув рот, отвернул лицо в сторону, подняла его руку и погладила ее своей — в скользкой лайковой перчатке.

И от этого ли ее движения или еще от чего Саша вдруг с досадой подумал о своей слабости, о том, как он должен быть смешон в этот момент, и, почти вырвав свою руку у Анны Сергеевны, зло, с неожиданной для себя самого резкостью сказал:

— Как, однако, глупо все это!

И в досаде он сразу не заметил, что у Анны Сергеевны задрожали губы, и что она, точно опешив на мгновенье, пошла потом все быстрей и быстрей.

В это время они входили уже на дачную улицу, и, только тогда поняв, как он обидел Анну Сергеевну, Саша пережил прилив мучительного раскаяния и такой злобы против самого себя, что на все, кажется, решился бы, чтобы искупить свою вину.

Но уже замелькала сбоку от них решетка дачной изгороди, мгновенная решимость Саши

упала и, охваченный отчаянием и страхом, он только внутренне заметался, и сердце его защемила острая, обморочная боль.

IX

Все это произошло в воскресный день, когда Липецкий был с утра по каким-то делам в городе. Возвратившихся Сашу и Анну Сергеевну он встретил на балконе, где больше никого не было.

Поздоровавшись с женой и Сашей, он присмотрелся к их лицам.

— Ты десятичасовым приехал? — мельком спросил он Сашу и, встав со скамьи, вышел зачем-то за женой.

Весь этот день Саша провел в нервном напряжении, чувствуя себя в Лидине лишним и в то же время не решаясь почему-то уехать. Липецкий держал себя с Сашей, как Саше казалось, холодно и если заговаривал о чем-нибудь, то в его словах Саше чудились прямые неприязненные намеки. Особенно тяжелым был обед, когда Анна Сергеевна, сославшись на нездоровье, молчала, а Саша минутами весь холодел от внутренней подавленности, от пустоты.

Ночь Саша не засыпал — ночь была, как и день, ветреная, с веяньем близкой осени — и

возвратился на другой день в город разбитым, опустошенным.

Дома Саша, насилуя себя взялся за работу, все разбросал и что-то неприятное сказал Ксении. Однако на другой день он успокоился, решив, что на следующей неделе съездит в Лидино опять.

Тоскливые дни стали проходить для Саши незаметно, Лидино вспоминалось особенно ярко лишь по ночам или в утреннем полусне. И владевавшее тогда Сашей чувство близости к Анне Сергеевне было таким пленительным и жутким в то же время, что он жил в эти минуты одной мечтою скорее увидеть ее.

Однажды, возвратясь домой, Саша нашел на своей двери записку, оставил ее Липецкий. «Заходил, не застал тебя, — писал он, — хочу с тобой встретиться. Нюша сердится». Саша прочел записку еще в коридоре и сразу почувствовал как что-то растаяло в его груди и как блаженно и радостно заколотилось вдруг сердце. Полный неожиданным счастьем, он вошел в свою темную комнату и, подойдя к окну, где еще непомеркнувшей синевой неба ярко светлело зеркало, далеко за сумеречным, призрачным городом увидел красную полосу зари. Она вызвала в его памяти то умиротворенное состояние, которое было у

него, когда он в первый раз шел по Лидину, и где-то в темноте ему померещилось белое, смутное пятно знакомого платья. Стало так хорошо, так сладко на душе, что Саша лег на постель, радуясь этой сладости и замирая. И казалось Саше, что рядом с ним лежит та, которую он любит и которая, несмотря ни на что помнит о нем. Потом он заснул.

Проснулся Саша с чувством пустоты, слепо оглядел комнату, увидел поблескивающие в призрачном ночном свете дверцы шкафа, и все окружающее показалось ему безнадежно тоскливым. Он встал, подошел к темному столу, быстро нашел записку, зажег свет и прочел ее еще раз. Потом с внешним спокойствием отложил записку в сторону, почувствовал, что зябнет и, охваченный новой волной мятущейся холодной тоски, понял, что в Лидино больше не поедет.

X

В этот вечер Саша решил рассеяться. «К чорту все!» — со злым вызовом самому себе подумал, он и, все еще борясь с собой, начал соображать, куда бы он мог пойти. И когда мучительное беспокойство снова охватило его сердце, Саша одел шляпу и, уже выйдя на улицу, вспомнил своего школь-

ного товарища Сударикова и пошел к нему.

Еще со школьного времени Судариков был памятен Саше своей удалью, весельем, бесшабашностью. Его не раз исключали сначала из гимназии, потом из реального, потом из технического училища. А вместе с тем он всех поражал своими способностями, когда на него находила благополучная полоса.

Всегда до крайности откровенный с приятелями, волочившийся за женщинами с пятнадцати лет, Судариков со всеми подробностями рассказывал о своих похождениях, ничем не смущаясь, не чувствуя и не сознавая своей испорченности, с наивным восторгом отзываясь о том, что у самых непритязательных из его друзей вызывало отвращение.

И все же в школьные годы Саша часто заходил к Сударикову, в его комнату на Поварской, которая так же, как и комната его матери, словно антикварный магазин, до краев полна была остатками уцелевшей помещичьей роскоши — старинными вазами, сервизами, серебром.

Что в Сударикове привлекало Сашу, он не знал, но, поражаясь дурному его пошибу, наглости, наигранному лоску, который Судариков себе привил, он не менее поражался его постоянному

кипению, решимости, прямодушию.

Направляясь теперь к нему, проходя по улицам, озаренным блеском вечерних огней, по площадям, охваченным лихорадкой движения, Саша чувствовал, что от силы внутреннего сопротивления, от желания в чем-то побороть себя у него кружится голова, и все невесомей, все легче становится сердце. Сударикова, — с которым Саша не встречался уже около года, — он застал по обычному бодрым и веселым. Весь черный, просмоленный будто, привычно рисуясь стройной фигурой, Судариков с восклицанием «ба! Безруков!» встал и пошел навстречу Саше. Здороваясь, он сильно потряс ему руку, потом взял у Саши шляпу, повесил ее, усадил его самого в кресло и уселся напротив сам.

— Ну, рассказывай же какими судьбами? — спросил он Сашу и подвинул ему раскрытую коробку с папиросами.

Беседа быстро разгорелась. Судариков встал с кресла и расхаживал по комнате, Саша же, наоборот, расселся удобнее, с наслаждением отдаваясь покою, отдыхал от душевной борьбы. И чем больше, — не выпуская изо рта папиросы, накуриваясь до сердцебиения, до щекочущего зуда в груди, — чем больше говорил Саша о другом, не

о том, что волновало его в последнее время, тем становился возбужденнее и тем легче и беспечнее чувствовал себя. Слова же Сударикова — то, что он рассказывал о своих встречах, о своем времяпрепровождении, повеяли на Сашу той знакомой ему, шальной жизнью, с которой он сталкивался не раз, но которая прежде больше поражала, чем привлекала его. И теперь ему показалось, что он с головой готов окунуться в эту жизнь, что она именно есть то, что ему нужно, чтобы он мог утишить, утолить свое постоянное волнение.

Глаза у Саши ярко горели, дыхание стало жарким, — они на сегодня же решили с Судариковым куда-нибудь пойти «убить вечер», — и, когда Сударикова на телефонный звонок вышел в коридор, Саша встал с места, уже думая, с непонятным и сладким страхом, мечтая о том, к чему его теперь влекло. Подойдя к роялю — единственному, кажется, из того, что осталось в комнате от прежнего времени, — Саша стоя перебрал клавиши и негромко запел.

«Тени двух мгновений, две увядших розы»... решительнее подхватил Сударикова, войдя в комнату и с такими же возбужденными, блестящими, как и у Саши глазами, задержавшись у дверей.

Потом, по просьбе Саши он сел за рояль.

Судариков был отличным музыкантом, играл легко, без напряжения, и, снова усевшись в кресло, Саша словно в самом себе почувствовал уверенный, почти с первых звуков возросший до смятения темп его игры. Но вместе с радостным воодушевлением, которое охватило Сашу, острая и сладкая грусть волной ударила по его сердцу.

Чувствуя, как оно сжалось в груди и словно замерло в мятущихся высоких звуках музыки, Саша вспомнил Анну Сергеевну и ему до боли, до слез стало жаль ее — такой скорбной, одинокой, оставленной представилась она ему. И, все более отдаваясь очарованью звучавшего страданьем и силой напева, Саша закрыл глаза и в один короткий миг вспомнил так много, что, казалось, все его встречи, все минуты близости с Анной Сергеевной, все, что в эти минуты окружало их, промелькнуло перед ним. Когда же воспоминанья коснулись голубого, сияющего дня, горячего солнца в зеленой листве, синих свечками цветов и когда словно живое родилось в Саше ощущенье легкой женской одежды и скрытого под одеждой тела, — сладкая боль в груди стала непереносимой, Саша открыл глаза, встал и, словно слепой, пошел по комнате.

Судариков продолжал играть, фигура его слег-

ка раскачивалась из стороны в сторону, и то скрывались, то появлялись вновь ударявшие по клавишам руки. Заметив остановившегося у рояля Сашу, он обвел его взглядом и мельком спросил:

— В настроение попал?

Саша не ответил и, постояв минуту, начал ходить опять, положив руки на грудь и все глубже и глубже вдыхая воздух, и вдруг с облегчением услышал, как звуки разом зазвенели и оборвались. Но Сударикoв почти сейчас же заиграл снова.

И потом играл еще и еще.

И уже когда Саша начал томиться этим беспрерывным потоком звуков, то бурных, то печальных, но все с той же сладкой болью трогавших сердце, Сударикoв заиграл вдруг разгульный, плясовой мотив.

Сашу сначала поразил неожиданный переход, но потом он остановился возле окна, откуда наносило сыроватым вечерним теплом, и почувствовал в груди вдруг пробудившуюся напряженную бодрость. Сударикoв между тем разошелся, начал с присвистом подпевать себе, притоптывать ногами, и во всей его фигуре и движениях рук было то ли неудержимое веселье, то ли непристойная,

бесшабашная удаль.

Тень молчаливого ожесточения, лихой злобы медленно легла в то же время на лицо Саши, который в разгуле звуков не мог уже почувствовать ни успокоения, ни тоски.

И только когда Судариков, решительно оборвав игру, бросил: «а теперь айда!», резко отодвинув стул, встал из-за рояля и с шумным звоном захлопнул одну и другую крышки его, Саше опять стало легче, и от вновь нахлынувшего радостно-жуткого предчувствия закружилась, поплыла голова.

XI

В ранний еще вечерний час по тротуарам Тверской двигалась сплошная толпа. Раздавались голоса, выкрики, смех. Из открытых дверей кофеен, пивных доносился гам, отрывочные звуки музыки, пения. Железное уханье трамваев, грохот движения надрывали слух.

Саша шел в самой гуще толпы и, неуверенно ступая, бросал по сторонам сосредоточенный, то и дело угрюмо зажигавшийся взгляд.

За те несколько дней, которые прошли после ночи, проведенной Сашей вместе с Судариковым в ресторане, в катаньи на автомобиле, в

комнате у каких-то женщин, Саша вдруг и очень заметно переменился. О Лидине Саша теперь почти не вспоминал — этой своей цели он достиг. Но пьяная ночь все же только разожгла его. И теперь каждый вечер, как только он оставался один, — было ли это дома, на улице, в столовой за обедом, — Сашу преследовали образы того, что он видел, что пережил в ту ночь.

Вспоминал Саша как пришли они тогда с Судариковым в ресторан и как он легко, точно давно ждал этого случая, пил водку, жадно ел острые закуски и долго не пьянел. Вспоминал, как приятно плыли потом перед глазами возбужденные, разгоряченные вином лица, электрический свет, яркая зелень недоеденного салата на столе и весь этот ресторанный зал, полный голосами и звоном.

Вспоминал Саша сумрачное, неожиданно пахнувшее загородным простором шоссе, запахи ночи, парков, садов и рядом с собой, со своим лицом, нагло-веселые, блестящие женские глаза. И потом опять свет, голоса, базальтовый лоск чулок, крупно-клетчатое платье, жаркий, отчетливый шопот над самым ухом и неодолимая близость красно-воскового рта.

Сегодня эти воспоминания, то чувство, которое

тогда владело Сашей, с особенной силой возвратились к нему.

И шагая теперь по Тверской, выбирая самые людные места, — и неумолчный гул толпы, и мимолетные видения женщин, и прикосновения тканей к рукам, и осязательную близость чьего-то дыхания — все это он воспринимал в образах своих воспоминаний, своей затаенной мечты.

Улица становилась все шумней. Откуда-то гулко ударило Саше в уши звоном бутылок, возгласами цыганского хора, рядом раздался звучный женский смех, веселая, ловкая пара быстро обогнала Сашу и, перейдя улицу, скрылась в подъезде.

И уже один шум Тверской возбуждал, будоражил Сашу. У одного из углов он остановился, закурил. И в особенности с этого момента, когда Саша пропускал мимо себя толпу, каким-то особенным, скрытым теплом дохнула на него шумная вечерняя улица, и мысли, образы один другого нелепей, стали увлекать его.

И сам еще не зная почему, Саша уже тогда понял, что этот вечер для него не пройдет так как другие.

Но того, что с ним произошло, Саша в этот момент не только не представлял, но и не решился

бы себе представить.

XII

Так бродил Саша по Тверской — мимо пестрых витрин, мимо переулков, уходящих в прозрачный ночной мрак зелеными пятнами газовых фонарей, так сидел он в какой-то полутемной пивной, и сам не заметил в пивной ли или еще на улице пришла ему в голову мысль, которая сначала изумила, а потом такой силой желания наполнила его, что Саша как-то сразу, хотя как будто только в воображении, решил то, чему после не мог изменить.

Через несколько минут он уже сидел в трамвае, ехавшем за город, и странным взглядом смотрел в открытое окно, мимо которого неслись тени зданий, площадей, ослепительные диски кино.

Опустевший трамвай, миновав центр, стремительней и легче загремел по улицам окраины, в их черном мраке, рассеянном светом домов и редких фонарей, и потом вырвался на шоссе, по обеим сторонам которого широко раскинулось пригородное село, повеявшее темнотой, сонным покоем, запахами позднего лета.

Саша вынул было из кармана коробку папирос, достал одну папиросу и взял ее сначала в рот,

потом сломал и бросил в окно.

Трамвай, все стремительней уносясь в ночной мрак, выехал в поле. Там, на второй остановке, Саша сошел и очутился на деревянном помосте, по одну сторону которого темнела стена соснового леса, по другую уходили, смутно рисуясь силуэтом каких-то бараков в стороне, огороды и поле.

Туда и свернул Саша.

Пошел он по тропе, возле проходившей здесь дороги, пошел быстро, не оглядываясь, смотря безотчетно вперед и по временам чувствуя, как холодит его спину страх.

Вдоль дороги смутно серели редко разбросанные деревья, широко наносило запахом сухой земли, жнивья, вдали в просторе теплой, но уже по всему предосенней ночи, ровными цепями огней переливался город.

Однако Саша едва замечал все окружавшее его. И, может быть, впервые очутившись один за городом, не испытал теперь Саша обычного волнения, той тревожной грусти о безвозвратно прошедшем и радости новых надежд, которые всегда навевало на него с детства знакомое раздолье полей.

В полуверсте от остановки была деревня, в которой когда-то бывал Саша. Теперь он, не дой-

дя до нее, свернул в сторону и потом вернулся обратно.

По насыпи один навстречу другому неестественно желтые в окружающем их ночном мраке прогремели трамваи, донеслись с остановки голоса, и снова все смолкло.

Без счета выкурив папирос, Саша лег возле какого-то придорожного дерева, и отдаленные огни города снова напомнили ему недавнюю пьяную ночь, которую он так часто вспоминал в последние дни.

В мыслях о ней Саша не заметил проходивших трамваев, не сразу услышал и раздавшиеся со стороны шаги. Потом он, подняв лицо, прислушался. Шаги приближались — кто-то босиком, быстро и мягко ступал по тропе. Саша, — весь ночной мир вдруг просиял в его глазах, — перевел взгляд на приближавшуюся из темноты фигуру. И вот, светло мелькнув в темноте головным платком она поравнялась с Сашей и, не заметив его, тем же быстрым, ровным шагом прошла вперед. В тишине отчетливо, точно было слышно каждое прикосновение ног к платью и земле, донеслись до Саши шаги, шум походки, дыхание.

Саша поднялся не сразу. Он на мгновение углубился в какую-то думу, томительно упало его

сердце при звуке удаляющихся шагов, и лишь когда темная фигура начала пропадать во мраке, Саша с тем же чувством неизбежности, которое было у него при первом появлении роковой, приведшей его сюда мысли, встал, на мгновенье, закуривая, заторопился и, остро все видя перед собой, пошел вслед за светлым пятном головного платка.

XIII

После того, что случилось на дороге под Москвой, прошло несколько недель. Перемена, уже раньше происшедшая в Саше, за это время стала еще сильней. Сосредоточенность его, сводившее взгляд упорство искажали порой, старили его лицо.

Раскаяния Саша как будто не испытывал, и воспоминания о недавнем преступлении, казалось, спокойно легло в его душе.

Еще прочней, чем прежде, забыл он и Лидино.

И в то же время Саша возвратился к работе. Он вставал аккуратно в семь часов, пил чай, прогуливался по бульварам и работал потом подолгу, терпеливо и усердно. И ни над чем особенно не задумываясь, ни к чему не стремясь, Саша испытывал в эти дни глухое, непонятное наслаждение

жизнью.

Было начало сентября, лето уходило безвозвратно. В солнечном свете, неподвижно лежавшем на бульварах и словно на выметенных только что, просторных тротуарах, было веянье осеннего умирания, тишины.

Но потом хорошая погода вдруг резко оборвалась и пошли дожди. Вечера обливали город блестящей водяной мглой, улицы сразу замерли, опустели. В однообразии этих серых дней сердце Саши опять защемила тревога, он почувствовал себя разбитым, больным и заметался. Надеясь преодолеть свое тяжелое состояние, Саша опять начал жить беспорядочной, мутной жизнью, пристрастился к вину, по ночам и даже днем, когда стекла блестели студенистой влагой дождя, приводил к себе проституток, и потом все окружающее казалось ему наполненным отвратительными ощущениями безудержного, холодного разврата.

Из ночи в ночь Саше снились тревожные сны, разбивали его кошмары. Он просыпался мокрый, с бьющимся сердцем, и комната плавала перед ним в светящемся тумане. Света на ночь Саша не тушил, а только занавешивал его бумагой. И этот желтоватый полумрак, который всю ночь

царил в его комнате, стал ему тоже тяжек и отвратителен.

Комнату свою Саша оставлял незапертой и даже нарочно приоткрывал дверь, будто всегда кого-то ждал или боялся быть взаперти. И самым счастливым для Саши стал теперь утренний час, когда он, проснувшись еще в первые минуты синего, мглистого рассвета, или не засыпая вовсе, слышал шаги в коридоре или разговор у соседей. Начинался спасительный день.

Однажды Саша уничтожил свою картину. И сделал он это в спокойную минуту, без ожесточения, без особой нужды. В опустевшей от картины комнате Саша несколько дней чувствовал себя необжившимся, как на новоселье.

И все еще стремясь успокоить себя, Саша все же знал, что он заболевает, что он уже болен.

Как-то вечером, когда еще шли дожди, Саша по дороге зашел к Сударикову. Не застав его дома, он под мелким дождем побродил по улицам, встречая в стеклах витрин, в уличных зеркалах отражение своего непромокаемого пальто и глубоко сидевшей шляпы.

Снова возвратившись потом к Сударикову, Саша заметил, что тот встретил его не так радушно, как в первый раз, и никуда не захотел итти из

дома.

Саша избегал встречаться с его недоверчивым и в то же время словно соболезнующим взглядом, что-то мешало Саше говорить, и он боялся, что вот-вот расплачется, от бесприютной, всю грудь изранившей тоски.

И, правда, придя домой, Саша так горько, неутешно зарыдал, точно у него теперь уже навек, отняли что-то самое его любимое и дорогое.

И сквозь слезы, которые его не оставляли всю ночь, Саша с ужасом чувствовал, что он давно уже мертв, что нет в нем ни любви, ни радости, ни сожаления, а одно холодное, как прутья кровати в его руках, беспощадное, непоправимое молчание.

XIV

В начале второй половины сентября снова установились сухие, но пасмурные дни.

И вот однажды в серое, тусклое утро Саша проснулся с чувством только что пережитого ужаса. Проснувшись, он вытер рукой холодный и потный лоб и сейчас же вспомнил свой сон.

Саше снилось, что он стоит где-то неподвижный и парализованный и ему на грудь взбирается большая, рыжая кошка. Она всеми зубами охва-

тывает его горло, и хотя боли Саша не чувствует, но ему кажется, что кошка блаженно, с блестящими, спокойными глазами, как ребенок молоко, пьет его кровь.

И, должно быть, от необычайности этого сна, когда Саша проснулся, все окружающее показалось ему удивительно спокойным и умиротворенным. И этот скудно освещенный зеленовато-серый потолок, и мебель комнаты, и натертый паркет, и особенно этот полированный шкаф орехового дерева, на котором громоздились книги, — все это казалось скованным в своей неподвижности и рождало чувство пустоты.

Саша тупо глядел перед собой и как-то особенно ясно представлял себе самого себя, лежащего на смятой кровати, из-под которой выглядывала дорожная корзина, свое оплывшее от сна лицо и вялую, вытянутую поверх одеяла руку.

Одно из окон комнаты было открыто, и в него нанесло прохладой. Саша обернулся, и ему страшными показались эти окна в серый, чужой, непонятный ему мир.

И подумалось Саше, что вот он живет в шумной, огромной Москве, а где-то там — за голыми полями, за лесами, в которых блуждает бездомный осенний ветер, есть тихий, пыльный

городок, с белыми каменными зданьями, с темными сырыми лабазами на Торговой площади и с общественным садом. Саша, бывало, ходил вот в такие же дни в этот сад, слушал, как ветер сквозит в опадающей листве и задувает в щели деревянного летнего кино.

Сад обрывом спускался к реке, и Саша помнит, как еще в детские годы он бегал туда к отцу, ловившему на реке рыбу. В солнечные летние утра уже издали можно было увидать темную фигуру, склонившуюся над удочками, и Саша бегом спускался по обрыву, пока услышавший его топот отец не оборачивался и не давал знак — подходить тише.

Зеленая непомятая трава на речном берегу в ранний утренний час еще поблескивала росой, река лежала голубая — в легком, влажном дыму, и солнце мягко блестело на прибрежных лозах.

Куда ушло все это? Отец Саши умер еще в начале революции. Саша помнит, как он вместе с матерью менял на больном отце белье. Страшно было чувствовать в руках это вялое, скатывающееся тело. А потом в гробу недвижно желтело родное лицо, лишенное жизни и смысла, предавшееся ужасному, непробудному сну.

И вот пережитой тогда глухой ужас Саша раз-

веял вдалеке от дома, на бесконечных фронтах — в солнце, в дождевых ливнях, в бескрайных снеговых просторах. Тогда он вступил в партию, его окружила новая среда, десятки и сотни людей с упорными глазами, громкоголосых, стремившихся куда-то, мелькали возле него, он называл их товарищами, многих, казалось ему, любил, со многими был близок. Где теперь эти люди? Лишь изредка кого-нибудь встречает Саша, и все они теперь кажутся ему совершенно другими, точно прежде они притворялись в чем-то или не знали чего-то, что узнали теперь.

И в этой стране, что сереет за окнами своим бесконечным осенним небом, раскинулся трудовой муравейник, все напрягают силы, многие зажили спокойно, обзавелись семьями и, кажется, раз навсегда предначертали себе путь до могилы. Скучно жить! Неужели и он, Саша, должен жить так, как живут все, и так же, как всем, ему изо дня в день будет дуть в лицо холодный ветер жизни.

Саша глубоко и трудно вздохнул, снова отер пот с лица и почувствовал, как все глубже охватывает его мучительный, безысходный ужас. И он не мог понять, что мучит его и откуда приходит к нему то страшное и роковое, что лишает его спокойствия и медленно холодит сердце.

Стиснув зубы, Саша зарылся холодным лицом в подушку и не выдержал: ему показалось, что около него, действительно, стоит кто-то, кто никогда не проронит ни слова и будет молчаливо и покорно чего-то ждать. Оторвавшись от подушки, Саша сел на кровать и спокойствие окружавших его предметов опять показалось ему странным и необыкновенным.

Лицо Саши было бледно и рука его дрожала, когда он протянул ее за стулом с одеждой. Оделся он торопливо, словно куда-то спешил или спасался от чего-то. И потом он почувствовал себя, как неокрепший больной, которого заставили одеться в неудобное, слежавшееся, странно ощущаемое всем телом платье.

«Все… все пропало», — с какой-то тупой безнадежностью мелькнуло в голове у Саши, и он даже не знал, к чему относится эта его мысль.

Подойдя к столу, Саша выпил зачем-то холодной, противной воды и поморщившись поставил стакан на стол. Нервное напряжение становилось у него сильнее и, прислушиваясь к спящему дому, он хотел уловить хоть один звук.

Но в квартире было тихо, а часы, что лежали на столе, показывали всего шесть часов утра.

Саша прошелся взад и вперед по комнате и

потом вышел в сумрачный, сонный коридор. Пройдя в кухню, где на черной плите и на столах разбросана была какая-то посуда, Саша на мгновенье остановился и взял с плиты примус.

Возвратившись к себе в комнату, он разжег его и поставил на него чайник. Потом Саша сел на подоконник открытого окна и начал завтракать. Есть Саше не хотелось, но он одно за другим без хлеба ел влажно-холодные под легко отстающей скорлупой яйца.

На улице только что пошли трамваи и спешили редкие прохожие. Но еще висела над городом утренняя тишина, и улица казалась голой, пустынной.

Позавтракав и посмотрев чайник, Саша подошел к зеркалу. Небритое его лицо выглядело худым и усталым. И Сашу неожиданно обрадовала мысль, что он может сейчас побриться.

И опять он со странной торопливостью начал искать по комнате бритву, кисточку, чашку для бритья. Эта суетливость как будто успокаивала его, и ему даже приятно становилось, что в доме тихо, что день на улице серый, что так напряженно, с ровным тугим шумом горит примус. Что-то очень давно знакомое почувствовал Саша в своем настроении и ему туманно вспомни-

лось, что когда-то, где-то, давно он так же рано вставал в осенние утра, торопился, радовался своей деловитости, предстоящему дню и тишине спящего дома.

Саша перенес зеркало на письменный стол, стоя разболтал в чашечке мыло, потом подлил в нее еще не вскипевшую, дымившуюся воду и сел на стул. Горячее мыло обожгло щеки, и Саша начал бриться все с той же поспешностью с нетерпением. И когда побрившись один раз, он посмотрел на себя в зеркало, ему удивительным показалось, что это его лицо — так оно исхудало, поблекло, отупело.

И Саше вспомнилась в этот момент Анна Сергеевна, вспомнилась совершенно спокойно, и как будто она на его руке держала свою маленькую и счастливую руку. И Саша почему-то подумал, что Анна Сергеевна не посчиталась бы ни с чем, и он все равно был бы дорог ей и больным, усталым, обессиленным. Ему казалось, что она держала свою руку на его руке и не смотрела на него, занятая чем-то другим, но полная его близостью. Он ждал, что вот она повернется сейчас и скажет ему что-то очень простое, ласковое и разрешающее.

Саша задумавшись сидел около зеркала и чувствовал, что все неясное, что было в его отно-

шении к Анне Сергеевне, как будто сразу прошло. Безысходной жалостью к ней наполнилось его сердце, и ему захотелось сейчас же попросить у нее в чем-то прощенья, приласкать ее, без поцелуев, без прикосновений — одними словами и даже молчанием, которое она почувствовала бы и поняла. «Написать письмо», подумал Саша… «Нет, в письме этого не выразишь».

И уже жутью повеяло на него от этой неотступной близости милого видения.

Саша вскинул голову и посмотрел перед собой. Нет, нет, ничего этого не может быть, это только случайный смутный призрак, который сейчас же рассеется. Но уже оглядываясь кругом и снова услышав шум примуса позади, и увидев перед собой зеркало, Саша продолжал чувствовать на себе ласковую, едва ощутимую руку и всюду видел это безнадежно тоскующее милое лицо.

Саша нервно встал, снова машинально развел мыло и не садясь натер мыльной кисточкой щеки.

Но когда он увидел в зеркале свои глаза, они показались ему странно мятущимися, словно это были глаза какого-то страшного, незнакомого безумца.

Пытаясь удержать взгляд на своем отражении,

Саша незаметно для себя в тупом, холодном ужасе отстранял от него лицо.

И подавленный безнадежной, всю грудь охватившей тоской, откинувшись на стуле, Саша вдруг обнажил разомкнутые зубы, словно готовился крикнуть что-то, и, как-то поособому крепко ухватив бритву, отвел ее в сторону, и в воздухе мелькнуло блестящей тенью ее мучительно-острое, стеклянное лезвие.

Дм. Семеновский
Поэт

Ну, как не приметить такого чудака?
Рассеянным, праздным скитальцем
Он идет по асфальту, глядит в облака
И трогает тумбы пальцем.

Зыбкий, непрочный, он так непохож
На грузную улицу эту!
Его бы — в поле, в волнистую рожь,
Но там ему места нету.

Однажды, подростком, в закатной мгле
Он услышал гармонию мира.
Туманно звучали голоса на селе,
Было тихо, пахуче, сыро.

И, грея глаза о теплый закат,
Увядавший в золотых переливах,
Он почуял во всем обольстительный лад,
Как весть о стране счастливых.

Он понял, какая уродливая ложь
Наша жизнь, страданием поросшая.
«Если, — думал он, — облик земли хорош,
То и жизнь пусть будет хорошая!..»

Так милостью солнца родился поэт,
И веселым, и грустным близкий,
Мечтатель, влюбленный в улыбки и свет,
Такой, как Франциск Ассизский.

Шли легкие годы. Как будто во сне.
Он рос под отцовским кровом,
Набухая, как почки берез по весне,
Текучим песенным словом.

И вот — этот город. Кирпичный дом.
Гулкая, как колокол, лестница:
Высокая комната с шатким столом.
Свет электрического месяца.

Городские совы — золотари —
Гремят по улицам бочками,
А он, глашатай певучий зари,

Все клонит лицо над строчками.

Худая легла на бумагу рука,
И с шелестом в поле бумажном
Ясной ромашкой распускается строка.
О самом дорогом и важном.

Глуха, безответна ночная тишь,
Лишь ветви машут в окошки.
Где-то в углу голодная мышь
Грызет случайные крошки.

Бредит дитя, ровно дышит жена.
Любимая, верная, бедная!
Совсем, ну, совсем еще девушка — она,
А какая усталая, бледная!

Ситцевое платье, уронив рукава,
Струится рядом с кроватью.
И шопотом читает он ромашки-слова
Скромному ситцевому платью.

Равнодушно светит на бумажные листы
Месяц электрический низкий.
О чудак, полюбивший полевые цветы,

О русский Франциск Ассизский!

Этот мечтатель, чудак этот — я.
Это я слышал музыку мира.
И в ситце мила мне подруга моя,
И в грусти нежна моя лира.

Увядший, осмеянный, втоптанный в пыль,
Я так рад, что живу на свете,
Что жидких волос моих легкий ковыль
Ласкают солнце и ветер.

Чем жизнь на меня наседает лютей,
Чем горче мои потери,
Тем злей ненавижу я муки людей,
Тем ближе мне птицы и звери.

Земля, я люблю твой весенний наряд,
Люди, люблю вас стыдливо.
И взгляд звезды и девический взгляд
Чаруют меня, как диво.

Цветок, растерявший свои лепестки,
Бедняк, позабывший удачу,
От нежности, радости, грусти, тоски

Я плачу.

Ник. Зарудин
Памяти Иван Иваныча

Накипь звезд светлеет. Чище, строже
Дышит мир в глухую степь и синь.
Спит Иван Иваныч. Чуть тревожит
Комиссара нашего полынь.

Золотое солнце! Чудный трепет!
Вечный мир огромных грозных дум!
Словно набегает тихий лепет,
В забытьи роняя сладкий шум.

То ли жизнь с ее мятежным жаром
Вздохом струн забытых долетит...
Я не знаю — может быть, с гитарой
Писарь наш зарубленный лежит.

Может, он угодливо, для славы,
Перебрал вам старые басы?
Он лежит — весь вытянутый, бравый
Комиссар — и хмурится в усы.

И рука, протянутая строго...

Нет ее. Лишь степь и синева.
Что же скажет старая дорога?
Что нашепчет новая трава?

— Мир ослеп от вашей страшной раны!
— Он в борьбе. Он кровью помнит нас!
Ни ответа. Спит Иван Иваныч,
Только в мире — поздний, тихий час.

Только ветер тайно, неустанно
Все поет, поет на старый лад.
Ни ответа. Только в мире странном
Звезды страстно веют и горят.

Все, как сон. Совсем, совсем забыто!
Только в круге пламенного дня
Страшным воплем жизни пережитой
Шум забвенья мучает меня.

Песня

Погоняться нам, охотникам, за следом?
Полем-юностью домой ли воротиться?

Занесло всю землю вьюгой, снегом,
В темном поле заяц теплый снится.

Все забуду. Молодость ли, друга, —
Лавка под боком да ночь напропалую.
Слышу — жарко распевает вьюга,
Серый зверь все ближе, ближе — чую…

Выпадала ты, пороша хороша!

Погоняться нам, охотникам, за следом?
Пусто, тихо в мягком берегу…
От избушки темной еле ведом.
Свет-печаль желтеет на снегу —

Все белей, туманней за рекою.
— Где, ты, радость легкая, да ноша,
Ветер в дуле, молодость с тоскою,
Счастье красное да светлая пороша?..

Гей, охотники! Вставай, вставай!

В жару…

— Ничего и нам не надо! —

Спят забвенные слова.
На кладбище — сон, ограда,
Та же скука и трава.

Поздно, поздно... Там, снаружи
Лес, как печь, гудит золой.
Хорошо б в такую стужу
Выпить пунша под землей!

Выпить, крикнуть: — Я был молод,
К чорту песни мертвеца!
Пусть зияет вечный холод
Желтой полночью с лица.

В гробовой моей постели
Пусть пригрезится в жару:
Кто-то юный, в легком теле
Бродит с тростью по двору.

И беспечной жизнью тонет
След его в снегу забыт.
За окошком в поздней дреме
Жаркий домик весь раскрыт...

Дышит Таня. Смутно веет
Печка душно-горяча.

Так старинно голубеет
Тень покатого плеча.

Разметался он нетленно
Мир любимый с давних пор —
Грешной, детски-незабвенной
Грустной женщины пробор.

— Что ж пунцовая жар-птичка,
Не хлопочешь у ворот?
Что святая синь-ресничка,
Не темнеет от забот?

Иль, дозор свой коротая,
Красный сон у щек сама
Там, свернувшись горностаем,
Надышала ей зима?

Поздно. Ноги онемели
В буйном холоде давно.
Нет и сердца… Еле-еле,
Свет в окошке… Никого!

Никого. Лишь желтоватей
Свет, да тень, да стук: — Вернись.
Зябко брезжит на Арбате,

Только галки кроют высь.

...С милым вздохом, в пышной муке,
Через бездну долгих лет
Ты протягиваешь руки...
И — хватает их поэт.

Михаил Смирнов
9 января

Серые шинели взяли на прицел.

Под кокардой в линии — лица — белый мел.

— Братики, солдатики! С нами ж сам Христос!..

Шел, шипел сверкающий, розовый мороз.

Пела — недопела медь рожка,

Обронила голос с черного кружка:

«За царя и родину!» Багровел горнист,

Отпускал мундштук коню кавалерист.

Офицер пощелкивал: ать, два три!

Дулом, смертью, пулями со Христом их рви!

Бахнули-бабахнули в смех и бег…

Синий, синий, синий с кровью снег…

Кто там — батька, матка, сват иль брат?

Эх, товарищ милый, пожалей: солдат.
Мутит печень, душу крепкий гнев!
Барабанят барабаны дробь враспев...

Государь да батюшка, родину любя,
Смертной, легкой пулей встретил у себя...
Государь да батюшка!
Твой казак рубил,
Голову дитенкам воротил!

Ты гостей в ременные плети принимал!
Кол дубовый, плотный сам себе тесал!..
Сердце злоба ярая шибко жжет...
Топорами, топорами вскроем лед!

Вздует реки — выйдут, потекут в разлив
С Петербурга-камня, с моря, где залив,
До глухих, затерянных деревень и сел,
До лесов, звериный след куда повел.

Раскачает ветер степи и леса,
Расшатает заревом тьму на небесах.

Ты гори, гори, полыхай, амбар,
Угли сыпь во мглу, раздувай пожар…

На огонь под пули поп народ подвел —
По усадьбам полымем тот огонь расцвел…
В мостовых булыжных сер и бур
Государев трон Петербург…

Петухи горячие над страной свистят,
Языки сполошные в деревнях гудят!
Пыль, зола, жара — крыльев красный мах,
Отблеск зарева во дворцах.

В полосатой будке часовой с ружьем.
Часовой с ружьем над царем.

Тарантул

Прибой жемчужинок. И розы.
Густая ночь. Высокий свод.
Как переливчат звезд полет,
Они, как крупные стрекозы.

Когда шуршит и набегает

Седой и рваный гребешок,
Он камни мелкие сгоняет
Своим прибоем на песок.

А звон гитар! Их мягкий говор!
Их палисандровый уют!
Они рокочут и поют:
— Ночь сделал итальянский повар!

И просто как: берутся горы,
Две-три гитары, блеск воды,
Разливы моря да просторы,
Тепло и месяц из слюды…

Из под каштана на охоту
Тарантул покидает лаз.
Гони покойную дремоту:
Тарантул смотрит в восемь глаз!

Он, черно-красный, полосатый,
Добычу ищет на бегу —
Поет в траве на берегу
Кузнечик шустрый и усатый.

Не стрекотать ему задорно
Своих веселых серенад:

В ночь на охоту вышел в сад
Тарантул, юркий и проворный.

Две капли яда — и травинка
Перевернулась, поплыла,
С луны сверкнула паутинка
И серебром обволокла.

Прощай, трава, роса, лимонный
Свет расцветающей зари!
Ночь, увядая, стала сонной
И почернели фонари.

Кузнечик умер. С ранним жаром
На виноградниках был сбор.
Цепочка золотистых гор
И горизонт легли под паром.

Глаза, как воздух, у южанки.
И на работе прост наряд.
Перебирала итальянка
Продолговатый виноград.

Срывала, пела и мечтала
О том, о чем мечтают все
О нем. О собственной красе.

И чтобы ночь скорей настала.

Цвети и пой! Загар играет.
Палит расплавившийся круг.
Спиной коричневой мелькает
Трехсантиметровый паук.

Он быстро жалит и уходит…
Бежит по жилам крепкий яд,
Мутнеет и тускнеет взгляд,
И тело судорога сводит.

Лишь два старинные напева
Тебя избавят от беды.
Еще не поздно: солнце слева.
Пляши до мрака и звезды!

— Эй, мандолину! Да быстрее!
Играть, чтоб пальцев не видать!
Эй, кавалеры, не дремать!
Мы землю музыкой нагреем!

И заплясала… Треск ладоней.
Трель мандолин. Припев. Прибой.
И танец в бешеном разгоне
Гремит в горах и под горой!

И ошалел, и оборвался
На кручах каменный козел —
Тот танец к исцеленью вел
И тарантеллой назывался.

Ив. Катаев
Сердце

(ПОВЕСТЬ)

I

Податливое дерево радует умную руку мастера.

Прилавок готов, плоскости его, вылизанные каленым языком рубанка, сошлись чудеснейшими прямыми углами. Он ждет покраски и полировки. Полки сияют свежей белизной; утренний бледнозолотой луч пересчитал их наискось и зарылся в вороха нежной стружки. Здесь светлее, чем на улице. Кисловатый аромат побелки исходит от стен и потолков. Широкие витрины забрызганы мелом, залеплены газетами, но утро могуче льется сквозь сетку шрифта и затопляет все.

В гулкой сияющей пустоте я шуршу ногами по розовым стружкам, перескакиваю через груды теса. В заднем отделении сам Пузырьков. Он елозит на коленях по полу с желтым складным аршином, меряет тонкие тесины, поминутно доставая из-за уха карандашик, чтобы сделать

отметку. Он оглядывается на меня, но не здоровается. На плечах, на картузе и даже на рыжих усах у него опилки.

— Здравствуйте, Пузырьков. Где же все ваши ребята?

Он смотрит в сторону, что-то высчитывая; губы его шевелятся. Что это он?

— Вы что же один, Пузырьков? Где артель?

Пузырьков нагибается над аршином:

— Артель-то? Артель нынче не вышла. Всем гуртом к вам в контору пошли, деньги востребовать. На меня больше не располагают. Ты, говорят, хоть и староста, а тетеха, пень трухлявый, не умеешь с этой сволочью, с дуракратами, разговаривать. Это, то-есть, с вами. Ну, а я молчу, потому-что правильно говорят… Вот и не вышли.

Я смотрю на Пузырькова с изумлением. Странно, ведь я еще третьего дня Гиндину говорил, чтобы выдал половину.

— Чего ж так уставились, Александр Михалыч? — продолжает Пузырьков наставительно, — он уже встал с пола и отряхивает мешковый фартук. — Хватит с нами шутки шутить. Чай, не на митинге с вами рассусоливаем, а состоим в коммерческом контракте. Договорчик есть? Есть. Марки приклеены? Приклеены. Значит, работа

сделана — денежки на стол. А ведь мы третий магазин вам отделываем, денег же не видали, как кобыла задницы. Каждый день хожу, и все — через неделю да завтра, завтра да через неделю. Больше сапогов собьешь. А еще каператив! Только измываются над трудящей публикой.

— Это недоразумение, Пузырьков. Деньги вам выписаны, я сейчас же распоряжусь. А артели скажите, что несознательно поступают. Знают, что работа спешная — к празднику открытие, а они дело бросают. Деньги вы сегодня получите, но, пожалуйста, подгоните, чтобы не волынили.

— Подгони, подгони, — ворчит Пузырьков, берясь за пилу, — подгонять-то рублем надо, а не разговором.

Очень досадна эта волынка. Каждый день вот так. Идет, идет дело, — в сущности не плохо идет, — и вдруг — стоп. Телефонные объяснения, упрашивания, грустные размышления над векселями…

С раздражением смотрю на упрямую широкую спину Пузырькова в синей линялой рубахе. Пила визжит надсадно. А он уже подобрел и говорит сокрушительно:

— Эх, Александр Михалыч, милый товарищ Журавлев. Не подумайте, что я на вас лично серчаю.

Скоро полгода, как с вами работаем, и действительно вижу — человек вы уж не молодой, без ветру, делом интересуетесь, вникаете во всякую тютельку. День у вас колесом идет. Не на вас мы обижаемся, а на сподручных ваших. Дело у вас серьезного размеру, а оптиков при деле нету.

— Каких это оптиков?

— Оптиков, ну, одним словом, опытных людей… Понабрали вы студентов, барышень тоненьких или мастеровых, вроде нашего брата, а разве этот народ может состоять в торговом обороте? Бывало к этой хитрости с издетства приучались, зато уж выходили серые волки. Только зубом щелканет, хап — и тысяча. Потому интерес имели к операциям, и порядок был, распорядительность; покупатель ходит, как блаженный, озарен улыбкой, а перед ним так и вьются… Вот и нонче тоже. Возьмем частного…

Пузырьков принимается не спеша рассказывать, как отделывали склад у частного, и, хоть объегорил на полцены, зато посулами не морил и еще всей артели с почтением поднес по стакашке.

Но я уже плохо слушаю его. Я смотрю на облекающие стену пустые соты полок, и они оживают для меня. Если прищуриться — там начинают ше-

велиться товары, устанавливаясь и кокетничая.

Тут, кажется, будет посудно-хозяйственное… Сюда войдут, как ослепительные латники, никелированные самовары, громыхнут шпорами и замрут на полках, ожидая прекрасную даму, — каждый свою, единственную. Рядом им сделают глубокий книксен бонтонные примуса, выставляя маленькую ножку из-под золотого роброна. О, рыжие астры огней в темных коридорах общежитий, немолчный шум, подобный отдаленному реву прибоя, похотливое шкворчанье полтавского сала! Дальше хрупкие стаканы, стопки и рюмки запоют тонкими голосами; в их воздушной груде белый луч зимы заиграет, как в мыльной пене. Угрюмые, лобастые чугуны, кухаркины дети, будут внизу мечтать об утонченном бельэтаже.

Я уже вижу ее, низенькую гладильщицу с «Передовой швеи», с мягким носиком и белыми ресницами; она робко трогает за рукав супруга, смотрит на него снизу вверх и показывает пальчиком туда, туда, где голубые незабудки на скользких лужайках сервиза; тот сначала качает головой в заячьем треухе, потом присматривается и… подзывает продавца.

Там, за аркой, будет обувное, за ним — ману-

фактурно-галантерейное. Оттуда будут выходить, визжа новыми калошами и радостно стыдясь их наглого блеска; над прилавками глянцевитый сатин и мадеполам птицами завьются вокруг концов железного метра; ножницы вжикнут и, разинув рот, пролетят поперек ткани, будто ее нет; в картонных коробках спрячутся прохладные тайны белья, розовые подвязки, грезящие об округлости теплой ноги, ядовитый электрик и уютный бэж трикотажа.

А во втором этаже — боже мой! — безголовая и чопорная манифестация пиджаков, полушубков, демисезонов.

Я совсем закрываю глаза, и вот — женственно-сладкий запах товаров обвевает меня, слышно шарканье сотен ног по усыпанным опилками изразцам, растет густой, банный гул, звенит серебро на стекле, щелкают кассы, и уже вращаются свертки в ловких пальцах продавцов и лопается шпагат. Уплывает, уплывает… Все это новое, упругое, поскрипывающее уходит в жизнь — на любование и зависть. Вот уже развертывают, и трепетный голос: «Ну, сколько б ты дал?.. Что ты, друг сердечный! За три целковых такую прелесть!..»

Да, здесь будет наш образцовый универмаг!

Сюда придет мой гулящий и славный район, будет похаживать по залам, позвякивая получкой, подолгу выбирая заманчивые блага рабкредита. Здесь не будет ворчливых очередей у кассы и бестолковой давки возле прилавков, здесь мы вытравим брак и обмер, здесь мы поставим…

— Замечтались, Александр Михалыч? — тихо говорит Пузырьков.

Что он, подслушал мои мысли?

— А что ж, магазинчик и верно будет сто процентов. Место видное, угол бойкий, а уж отделаем его вам в полной гарнитуре. Только вы, Александр Михалыч, все-таки пошли бы насчет денег распорядиться. Ребята мои, небось, изматерились там во все небесное.

— Все равно, Пузырьков, касса у нас раньше девяти не открывается. Как откроется, так выдадим. Ну, пока до свидания.

И уже из другого зала я кричу ему:

— Только, пожалуйста, дорогой, подгоните.

Солнечный сентябрь гуляет по улице. Батюшки, уже сентябрь! Все умыто, прохладно и молодо. Улица опьянена торопливыми звонами утра. Трамваи запевают после остановок свою скрежещущую песню, потом — все тоньше, все тише и уносят людей прямо в счастье. Светлая стена дома

ровно обрезает небесную синеву; стена и белые маркизы над витринами ликуют под солнцем как Ницца, как Палермо. От золотых букв витрины на тротуар падает косой отблеск. Я покупаю Рабочую газету в полосатом киоске; хмурая девушка с подвязанной щекой равнодушно перегибает и сует мне в руку целый земной шар стоимостью в три копейки.

Удивительно хорошо устроено: кто-то где-то для нас хлопочет, и утром, заново ощутив свое тело, свою жизнь, мы можем еще ощутить бессонную жизнь страны, всего огромного мира! Не по заслугам хорошо.

Лист газеты от солнца нестерпимо ярок; только крупные буквы — *в Китае* — пробиваются своей чернотой и значением. Читаю на ходу; уже опахивает внутри знакомым ветром волнения и гордости; после этого могут подступить приятные слезы. Но вот — по краю тротуара лотки с фруктами. Синие матовые сливы, тяжелые грозди винограда, в котором утро сгустилось и стало влагой; если прокусить, потечет в самую кровь. Горка шафрана желтеет, будто освещена закатом.

Почему Кулябин так копается с фруктами? Хоть бы яблоки! Предлагал же Каширский союз по две

тысячи триста вагон, франко-склад. Чудак, он хочет пропустить сезон! Лотки, палатки, рынки завалены, а у нас какие-то чахоточные груши полтора целковых десяток. Неужели наши руки так еще грубы, что мы не можем ухватить эту круглоту, эту нежность и сочность?! Ведь умеют же эти, чтобы было и свежо и заманчиво?! Ну, а овощи? За ними идут на базар… Краснорукие хозяйки с сумками. Ведь мы тоже можем. Ах, мы многое можем!.. Скоропортящиеся продукты — вот наша беда. А ведь мы обрушили бы их на рынок лавиной, не как эти — решеточками, тележечками, — вагоны яблок, поезда помидоров, гекатомбы бычьих туш! Гарантия качества, высший сорт, цены снижены на двенадцать процентов…

А молоко? Да эх!..

На лестнице меня чуть не сбивает с ног Иванова.

— Куда так стремительно?

Ей уже жарко, пот блестит на ее низком лбу.

— Позвонили из восемнадцатого. Ужасно! Завмаг обозвал предлавкома неумытым рылом. И это на глазах покупателей!

— За что же? Погоди, погоди…

Но она машет портфелем и тарахтит вниз по

ступенькам.

В коридоре — я уже вижу от двери — артельные ребята. Одни сидят на диванчике, другие стоят, облокотившись на спинку, курят. Один из них выступает мне навстречу.

— Гражданин председатель…

Ага, это тот, молодой, что издевался насчет помощи безработным, лучший полировщик. Он сплевывает окурок, ноздри тонкого носа чуть колышатся. Смотрит на меня с превосходной дерзостью. Ничего, научились смотреть на Руси.

— Имеем желание получить денежки. Из почтения к кооперативной организации…

— Хорошо, — перебиваю я, — то, что причитается, мы можем вам уплатить. На складе вы еще не поставили мучных ларей. Но за первый магазин вы получите сейчас же, если имеете доверенность.

— Это зачем же доверенность, когда вся артель налицо?

— Этого требуют кассовые правила.

— Правила?.. Ну, ладно. Васька, гони к Игнат Семенычу.

Невдалеке — Мотя; она с интересом слушает этот разговор, перетирая полотенцем стаканы.

— Мотя, попросите ко мне Гиндина.

— А их еще нету.

— Ну, когда придет. Вам, товарищи, придется подождать минут десять.

— Полмесяца ждали, подождем и десять минут.

Я направляюсь к своей комнате. Молодой жестко смеется сзади:

— Сдались чиновнички. Выжимать из них надо, выкручивать, как из стираного воду.

— Без этого нельзя, — соглашаются на диване.

У себя я усаживаюсь просматривать документы подотчетных авансов; их толстая кипа. От чернильницы — оранжевые и лиловые зайчики. В третьем молочном попрежнему нанимают ломовика на вокзал, когда можно брать грузовик из гаража губсоюза. Это, кажется, где такая грустная кассирша с подкрашенными губами. Краска странно не вяжется с тихим лицом ее, домашним и милым. В образцовой столовой второй раз за полтора месяца перекладывают плиты. Ради образцовости, что ли? Надо сказать Бруху, а то через неделю опять надумают… Гиндина все нет. Вот еще неловкость какая!.. «За оборудование стеклянного аквариума и искусственного грота для универмага N 2»… Хм, искусственный грот… Ну, вот он наконец!

Гиндин молча здоровается, затем опирается руками на край моего стола, растопырив пальцы, и склоняет голову — будто в ухо ему попала вода. Это означает внимание. Нежно-сиреневый галстук. Фу, ты, чорт, каким он сегодня франтом!

— Вот что, товарищ Гиндин, пожалуйста, сейчас же уплатите плотничьей артели по первому счету. Непременно сейчас же. Там, кажется, немного — не более трех тысяч.

Что это? Тонкие брови Гиндина вздергиваются на лоб.

— Александр Михайлович, откуда же я возьму три тысячи рублей? Мы же выкупили вчера вексель приказу Кожсиндиката. Вы сами распорядились. А сегодня опять шесть векселей, и после их оплаты в кассе денег не останется.

Я еще не верю ему и себе.

— Как так не останется? Не хватит оплатить счет?

— Не хватит на три коробки спичек.

— А на текущем?

Гиндин смотрит на меня с чарующей улыбкой.

— Вы ведь знаете, Александр Михайлович, что с начала этой недели у нас на текущем счету пусто. Пусто, как в чреве девственницы.

Я откидываюсь на спинку стула. Барабаню

пальцами.

— Когда же мы сможем уплатить?

Пожимает плечами.

— Может быть, завтра, по сдаче выручки. Сегодня опять шесть векселей. Больше я вам не требуюсь?

Гиндин идет к двери.

— Товарищ Гиндин!..

Но он не слышит.

Я выхожу в коридор, втягивая голову в плечи.

День начинается.

II

Долго и старательно бьют часы. Сколько это? Что? Уже двенадцать? Сейчас правление, а мне еще надо в райсовет насчет планирования торговой сети. Придется звонить Палкину, что часам к двум, не раньше.

— 2–04–58!

— Занято.

Жду.

— 2–04–58!

— Занято.

Начинает дрожать какой-то щекотливый нерв.

— 2–04–58!

— Занято.

Тьфу ты, чорт, с этими еще телефонами!..

Входит Мотя со стаканом чаю, ставит его ко мне на стол. Потом рядом с ним кладет что-то в бумажном пакете.

— А это что?

Мотя глядит на меня, улыбаясь и моргая.

Странно, какими маленькими и худенькими рождаются женщины для тяжелой жизни. Или жизнь делает их такими? У этой уже поблескивают седые волосы.

Беру пакет, из него валятся три плюшки: одна глазированная и две с маком; пахнет постным маслом.

— Это зачем же?

Она улыбается совсем виновато. Она теряется.

— Это вам, Александр Михалыч…

— Мне? Я же не просил.

— Это я сама, Александр Михалыч… Покушайте. А то, я гляжу, каждый день вы с утра до вечеру и безо всякой пищи. Так ведь известись можно. Вот я и…

Она поворачивается и почти бежит, шлепая своими сандалиями. Я догоняю ее, сую монету.

— Мотя, деньги-то возьмите.

Она прячет руки, отступает.

— Не надо, Александр Михалыч, я ведь так…

— Ну, что вы, Мотя, неудобно. Берите, берите, а то я рассержусь. Спасибо вам.

Берет. Глаза ее погасают. Уходит.

А мне весело. Эге, какой солнечный день! Земля-то, она еще совсем молодая, хоть и притворяется старушкой. Ужасно, до смехоты молода! Как те старшие сестры, что смеются над куклами младших, а сами еще такие молочные и розовые.

— 2–04–58! Благодарю вас. Палкин? Журавлев говорит. Здорово, приятель. Ты как хочешь, а я к тебе раньше двух не могу, у меня сейчас правление… Да, да, непременно. Ну, как постройка?.. Слушай, Палкин, ты и для наших ребят имей в виду. Кулябин до сих пор в какой-то уборной… Ну, ладно, тогда поговорим. Пока.

Правленцы постепенно собираются; я пересаживаюсь за длинный стол. Почти все они уже побывали у меня сегодня по одиночке, каждый со своими безвыходными положениями и дежурными катастрофами. Я копался в их делах, как часовщик в путанице разладившихся колес и винтиков, силясь разобрать и снова пустить в ход. И за всем этим я, как всегда, позабыл заметить самих людей. Но теперь они сошлись все сразу, молчат, просматривают материалы, шелестят листами, — я могу глядеть на них и думать все, что

хочу, пока не пришел Аносов. Почему-то веселая нежность к ним играет во мне сейчас. Нежность и пафос. Если бы я мог сказать им все, что думаю! Нет! — удивятся, рассердятся, испугаются даже. А то я сказал бы:

«Товарищи мои! Вы уткнули свои деловитые носы в тезисы и отчеты. Лучше посмотрите каждый на себя и друг на друга и на всех вместе. Все вы удивительно хороши. Великолепная и незаметная дружба *отграниченности* связывает вас. Дружба красноармейцев в разведке, холостой компании за столиком шумного кафэ или футбольной команды перед матчем. Уют сотоварищества! Вы собрались в деле, которое трещит и пляшет под ногами, ибо преодолевает грузные волны рынка, шквалы безденежья, мели вежливого равнодушия. У вас могут быть тысячи доброжелателей, но сделать их настоящими помощниками можете только вы сами. Все зависит от вас. И вы это поняли. Каждый из вас отдает этому делу самое драгоценное — свой человеческий день; он уже не может смотреть в глаза своей жене столько, сколько хочется, не может собирать грибы и думать о том, почему трава зеленая, а не красная. Он думает и делает для своего кооператива…»

— Ну-с, товарищи, — это говорю я, — можно начать. Порядок дня. Первое — о перспективах слияния с кооперативом «Красный табачник» и формах нашей дальнейшей работы в районном масштабе. Второе — об итогах обслуживания дачных районов. Третье — о работе с готовым платьем в осеннем сезоне. Четвертое — текущие дела. Дополнений, изменений, поправок — нет? Нет. По первому вопросу слово для доклада имеет товарищ Аносов…

И шопотом:

— Только, Вася, пожалуйста, покороче, я могу быть только до двух.

«Так вот, слушайте, милые мои друзья. Полсуток, полжизни ваш мозг мобилизован, но вы не тупеете, не высыхаете, — от каждого из вас, как от укутанной квашни, пашет теплом брожения, набухания и роста. Глаза ваши то гневно косят, то сужаются в усмешке; вы пожимаете плечами, нервно хрустите пальцами; человеческая шутка порхает возле уголков ваших губ; каждого кто-нибудь целует в эти губы и в те, нежные, как дыхание, уголки — между глазом и переносицей. Каждый носит в себе единственного, всемирного себя и, не раздумывая, не скаредничая, вкладывает это богатство в указанное ему дело. Правда,

любого из вас завтра могут приставить к другому делу и кругу людей, и любой в тот же день назовет это новое дело своим, вползет в него, как пчела в улей, будет его оборонять и прославлять и, может быть, кичиться им будет перед старым делом и, возможно даже, постарается чуть-чуть подкузьмить этому, старому, если нужно… Но что из того! Сегодня мы здесь, сегодня мы взялись за руки в этом кольце. Да здравствует же каждое звено его! Вот он — наш товарищ. Любуйтесь его дубовыми чертами! Впивайтесь глазами и сердцем в его величавый облик!

Вот он — наш завпищеотделом Кулябин. Вы видите — он тяжек, темнолиц и косматый. Кроме того: он профессиональный неудачник. Трамваи, карандаши, стулья, женщины, тротуары, управдомы — вся земля — неудобны для него. Все это трещит, ломается, скандалит и просто мешает. Навлекает синяки, штрафы, насмешки, рыдания. Все это надо бы переделать для Кулябина. Революция и завод — вот это еще ничего, это — *подходяще*, как он любит говорить про то, что ему по нраву. Революция подарила ему охоту жить и миллионов сто надежных товарищей, — заграница у него не в почете — говорит: „пока что — кишка тонка, а там посмотрим“. Завод на-

учил его работать — угрюмо, упорно, до ломоты в костях. Но революция теперь тоже вроде узкого тротуара — переть нельзя, иди мелким шажком да осматривайся, не то какой-нибудь дамочке на мозоль наступишь. А завод — из литейной, где искры гасли в черной буре его волос, где кожаный передник, как березовый лист, свертывался от жару, — выдвинул его ответственным работником кооператива. Теперь он заведующий, он член правления, он делает трехсоттысячный оборот. Через его каменные руки идет самое тонкое, самое ароматное — мягкая мука, прозрачный мармелад, какао, гастрономия, вина — то, что для нежной гортани, для розовых кишек. Да! — у него пудами тухнет лососина, да! — у него подмокает сахарный песок. Но посмотрите, как дрожат его колени под лоснящимися пузырями штанов, когда он докладывает мне об этом, как чернеет он лицом, как поздно вечером, обегав магазины, шагает, подняв воротник и засунув руки в рукава, в свою гостеприимную уборную (к счастью, в квартире их две). Больше этого у него не случится, — лучше ему самому подмокнуть и протухнуть до костей! Товарищи! На той неделе Кулябин пришел ко мне и рассказал, — он говорит мне обо всем, — как он покупал складную

кровать на рынке. Кровать стоила шесть рублей, он дал торговцу червонец и получил четыре рубля сдачи. Потом оказалось, что по ошибке он отдал бумажку в три червонца. Двадцатишестирублевое полотняное дрянцо в первую же ночь развалилось под его костистой тушей. На другой день он дал в задаток пятьдесят рублей какому-то фрукту, который обещал ему комнату. Фрукт немедленно сгинул и не показывается до сих пор. И это было почти все, что у Кулябина оставалось от получки. Ночью в переулке его окружили хулиганы и отняли у него золотые часы — фронтовой подарок, единственное изящество его жизни. Кулябин рассказал мне обо всем этом потупившись и постукивая носком огромного ботинка. Он не попросил аванса, да я бы и не дал ему, потому что в кассе по обыкновению было жидко. Я всучил ему свою пятерку и выругал его за то, что он, кооператор, ходит за покупками на рынок, за то, что он ввязывается в квартирные дела с разной шпаной. И он просил меня никому не говорить о своих *неувязках*: будут дразнить. Но вот, я рассказываю это вам во всеуслышанье и советую: погладьте Гришу Кулябина по большой голове, позовите его, одинокого, в гости, пусть ваши приветливые жены напоят его чаем с варе-

ньем и пусть он сделает страшную козу вашим октябрятам. Он не знает, но все это страшно нужно ему.

Васька Аносов, ты недовольно косишься на меня и думаешь, что я плохо слушаю твой ясный тенор. Нет, я слушаю тебя. Да, да, я знаю, без торговой сети „Красного табачника“ район не может быть обслужен, а будет все тот же параллелизм и нездоровая конкуренция. Я знаю, что у них два векселя в протесте и затоваренность по сухофруктам, по обуви и по кустарным изделиям. Благо, мы вместе с тобой сочиняли тезисы доклада. Но сегодня ты сам для меня важней всех параллелизмов и сухофруктов. Вот она, цветет перед нами твоя душа, великий орготдельщик. Твоя прохладная, подозрительная и честная душа. Ты тоже пришел сюда от машин, ты, расстриженный за оппозицию ячейковый секретарь, но книга лежит у тебя в голове, как на аналое, и хрустят ее страницы. Ты начетчик, ты марксоед, ты цитата в брюках. Когда же успел ты всосать эту страсть к книжной точности, аккуратно расчерченным схемам и календарным планам, — до семнадцатого косноязычный закройщик, а в девятнадцатом агитатор подива? Я знаю, что после ты прошмыгнул только через какой-то

ускоренный выпуск. Наверное, глотал страницы в теплушках, держа брошюрку так, чтобы свет падал на нее из раскаленной печной пасти, в госпиталях, украдкой от сестры доставая книгу из-под матраца, на длинных собраниях, пряча ее между колен. И вот, мысль твоя стала упругой и светлой, как вязальная спица; фразы теперь гладкие у тебя и будто масляные, как желтые волосы твои, расчесанные на строгий пробор. Еще — ты маэстро перспективного плана. Ты стоишь над всяким делом, порученным тебе, будто над шахматной доской и знаешь наперед все ходы — свои и противника. Ты можешь организовать все — кооператив, сеть нормальных политшкол, двухнедельник борьбы с насморком — в семь ходов, в шестнадцать и в тридцать восемь. Но кроме себя ты никому не веришь. По твоему, все на свете — лентяи, ротозеи, бюрократы и растратчики. Все только и мечтают о том, чтобы сделать карьеру или, по крайней мере, три месяца прохлаждаться в крымском санатории. „В работе, — говоришь ты, — все эти гадости и подлости можно предусчесть, но если бы я заразился болезнью розового взгляда, тогда моему делу аминь. Надо бороться“. И ты бичуешь эти воображаемые полчища бездельников цитатами из всех двадцати трех

томов. Вот, ты слушаешь на собрании чье-нибудь радужное и благонамеренное излияние, и хитрая морщинка отчеркивается у тебя с краю красивого рта. Сейчас ты будешь язвить и разочаровывать *с цифровыми данными в руках.* Ладно, Аносов. Завтра я опять буду крыть тебя на ячейке, а ты опять усмехнешься и скажешь: „Этой демагогией, товарищи, можно кормить только годовалых младенцев — заместо манной каши“. Но сегодня я гляжу на острый и чистый твой профиль и от лица всех собравшихся благодарю тебя за то, что ты живешь. За то, что ты с нами и любишь нас тайком, над нами насмехаясь, за твою суховатую, смертельную честность, за твой мужественный скептицизм, без которого, и верно, мудрено прожить на свете.

И вот третий наш столп, наш Бурдовский…»

— Вопросов к докладчику нет? Приступим к прениям. Кто? Ты хочешь, Кулябин? Ну, валяй.

«Итак, Бурдовский, король ширпотреба и зеркальных витрин. Бурдовского вы все замечаете, потому что его нельзя не заметить — многоречивого и восторженного. Но восхищаетесь ли вы им, влюбились ли вы в него, как надо? Вот он идет к вам, припадая на своем протезе, и кричит, хохоча, еще издали: „Ты знаешь, какую машинку я видел

вчера в прейскуранте Амторга? Это — улыбка, это — благословение небес! Она, мерзавка, не только отвешивает и запечатывает пакет, она еще цену показывает в окошечке. Нужно немедленно выписать и поставить во всех магазинах“. Сегодня мы приветствуем тебя, могильщик азиатской розницы. Твой боевой клич — долой грязные базары, дикарские ярмарки, гнилые ларьки и киоски, да здравствует семиэтажный универмаг! Ты грезишь о нем, о дворце вещей, в котором поют плавные лифты, шелестят фонтаны и товары шлют воздушные поцелуи покупателям. Ты грустишь: в магазине люди должны покупать и — мечтать, писать стихи, объясняться в любви, заниматься самоанализом. А у нас!.. Америка, двадцать Америк, Америка в десятой степени — вот твой завет. А пока ты украшаешь витрины. Ты проливаешь водопады тканей на головы восхищенным прохожим, вавилонской башней громоздишь лоснящиеся чемоданы, чемоданишки, чемоданчики, сочиняешь узорные сказки из тарелок, ламповых ершей, мясорубок. Витрина должна обновляться еженедельно, — говоришь ты, неутомимый режиссер вещей».

— Слово товарищу Бруху.

«Вчера вечером я шел мимо нашего первого

универмага и — замер. Там — в тесном интерьере, рассеченном пополам тенью огромного абажура с зелеными висюльками, за чайным столом розовощекий болван читал Известия, развалившись в кресле и положив ногу на ногу. Супруга болвана визави пила кофе из прозрачной чашечки, оттопырив восковой мизинчик. Кофейник блистал на белоснежной скатерти, среди салфеток, тарелочек, вазочек с печеньем, молочников, щипчиков. Кругом все было уставлено и увешано вещами — стульями с высокой спинкой, круглыми столиками, солнцеликими подносами, щетками для смахивания крошек, кривыми как ятаган, деревянными блюдами *Хлеб-соль ешь*, полочками, статуэтками, панно с тетерками. Коврики и дорожки распластались под ногами четы, и дебелый резной буфет, как обожравшийся аббат, лениво благословлял ее. „Обрастайте! — вопила витрина, — загромождайте жизнь деревом, стеклом и мельхиором, в этом закон и пророки, счастье и тишина“. Сегодня утром я приказал тебе, Бурдовский: немедленно разрушь это семейное счастье и придумай что-нибудь другое. Но разве ты уймешься! Мы ведь знаем, что ты и сам будешь есть картошку на хлопковом масле, а не наденешь ничего, кроме

синей тройки импортного сукна, что от тебя за версту разит шипром и что старообразная твоя жена ходит в каракулях, увешанная фальшивым жемчугом, пушистыми боа и крокодиловыми сумочками. Но ты украшаешь ее как универмаг — универмаг любви и попечения, только потому, что ты художник и глашатай вещи; мы знаем: ты хочешь, чтобы вещь принадлежала всем».

— Товарищ Бурдовский, пожалуйста.

«Ты ведь коммунист, Бурдовский, общественник и графоман. Ежевечерне, своим бисерным почерком счетовода, ты смолишь длиннейшие статьи об американизации розницы, о механизации складского хозяйства, в упоении отвинчиваешь кожаную ногу — мешает думать — и потом, размахивая руками, на одной ноге скачешь к жене, чтобы послушала и похвалила. Ибо — „советский хозяйственник должен каждый свой шаг ставить под контроль масс“ — это твое правило. Тебя не огорчает, что твои статьи чаще всего попадают в редакционные корзины. Хлопотливая, стремительная жизнь переполняет тебя, ты обдаешь нас теплыми ливнями своего добродушия, ободряешь самоуверенных хохотом. Спасибо тебе за это.

Мы с вами только на троих посмотрели вни-

мательно, а вон ведь их сколько, творцов и человеков. Чем плох наш Гиндин, финансы? Имейте в виду — он всего полтора месяца женат на смуглой и белозубой студентке-медичке, а опаздывает на работу не более, чем на полчаса. И не промечтает ни одного вексельного срока, будьте спокойны. А Иванова, массовая работа, *женщина-эскадрон*, как зовет ее Бурдовский, потому что она с топотом и криком день-деньской рыщет по району? А толстый Брух, общественное питание, хранитель священных поварских традиций и беззаветный шахматист? Ну, а те вон, на конце стола — Голубева, Кривенко, Поплетухин? — каждый из них — это целый мир или, если хотите, кооператив, в котором…»

— Как, товарищи, больше никто не хочет? На заключительное слово ты, Аносов, надеюсь, не претендуешь? Я его скажу за тебя, так как мне надо сейчас бежать в райсовет. Для нас с вами уже давно ясно, товарищи, что «Красный табачник» в обслуживании населения нам не помощь, а помеха. «Табачник» — это детище прежнего, глубоко ошибочного курса на мелкие, почти семейные кооперативы, он — порождение цеховщины и сепаратизма. А мы, после слияния с кооперативом имени Смирнова стали в три раза

крупнее «Табачника», и полугодичный опыт работы показал, что укрупнение — единственный путь к исцелению проторговавшейся и проворовавшейся кооперации нашего района. Нам очень тяжело работать, потому что мы пришли сюда на развалины трех организаций, которые потеряли всякое доверие у рабочих и в руководящих органах. И все-таки мы кое-как вылезаем. То, что говорил товарищ Кулябин насчет убыточности столовых «Красного табачника», так это пока общая беда общественного питания, и товарищ Брух правильно ответил, что тут нельзя подходить с одной коммерческой меркой. Нас душит недостаток собственных средств, мы дышим только благодаря кредитным операциям, но как раз слияние с «Табачником» и рост членской массы позволят нам провести усиленную паевую кампанию. Должен вас осведомить, что президиум правления уже возбудил ходатайство перед губсоюзом о слиянии, нас поддерживают райком и райсовет, и надо думать, что вопрос разрешится благоприятно. Яростная оборона табачников объясняется обычным в таких случаях узким патриотизмом, желанием иметь свою вывеску и марку. Вряд ли губсоюз захочет с этим считаться. Одним словом, «Табачник» должен быть присо-

единен, и тогда к девятой годовщине, как уже давно намечено, мы проведем торжественное открытие нашего объединенного рабочего районного кооператива. Окрестим его как-нибудь погромче, а одновременно откроем новые магазины, хлебозавод, три столовых, уголки матери и ребенка и все такое. Времени осталось мало, товарищи, меньше двух месяцев, и все это нужно гнать вовсю. Если хоть кто-нибудь из вас опоздает по своей линии, то испортит всю музыку. Что касается практических предложений товарища Аносова, то они вполне продуманы, и я советую их принять полностью. Возражений нет? Ну, я бегу. Аносов, ты попредседательствуй, а я через полчасика вернусь.

Лечу по коридору. Передо мной вырастает чья-то длинная фигура. Очень бледное лицо, адвокатская бородка клинышком, небритые щеки.

— Шура… Александр… Михайлыч, — говорит он с запинкой и протягивает руку. Что-то страшно знакомое начинает светиться в серых, запавших глазах.

— Что-то не узнаю… Не припомню…

— И немудрено, — усмехается он, — восемь лет не видались. Сергей Толоконцев. Честь имею впервые представиться. Впервые — потому, что

у гимназистов представляться было как-то не принято.

Забытая, но постарому привычная радость толкает меня в сердце. Я бросаюсь к нему… Хотя… Нет.

— Откуда же… так неожиданно?

— Ниоткуда. Уже три года тут болтаюсь. Но только наднях узнал, что ты тоже здесь и на таком, так сказать… посту. Вот и пришел. Около часу сижу, жду, ибо услужающие твои в кабинет меня не пропустили, говорят — заседание.

— Действительно, было заседание. Да и сейчас я очень тороплюсь.

— Ах, торопишься…

— Давайте сядем, что ли.

Мы садимся на диванчик. Мимо проходят взад и вперед инструктора, завмаги, посетители, удивленно оборачиваются на меня, здороваются. Сергей оглядывает их с головы до ног. Очень неловко сидеть так, боком друг к другу.

— Ничего себе, солидное у вас заведение, — говорит он, растягивая слова. — Это что же, все служащие твои?

— И служащие, и просто так, по делу… Вы чем же сейчас занимаетесь?

— Занимаюсь-то? Щекотливый вопрос. Месяца

три ничем не занимаюсь. Безработный и, что называется, свободный художник. А раньше был агентом по распространению каких-то свиноводческих брошюр. Еще раньше — сторожем на Центральном рынке. И так далее. Вообще привилегией на труд в сей стране не пользуюсь. Юридические же мои таланты, по условиям века, пока зарыты в землю.

— А где… Софья Николаевна? Попрежнему играет?

Что-то он все усмехается, и как-то криво, одной щекой.

— Сестра живет со мной. Но не играет уже давно. Наигралась. У нее, видишь ли, голос пропал.

— Как пропал? Ведь она же не оперная актриса.

— А вот так и пропал. Шепотком говорит. Это еще с девятнадцатого, после одной тогдашней экспедиции. Ездила зимой за картошкой, где-то на буферах двое суток просидела, ну, и вернулась… и без картошки и без голоса… Впрочем, это и не важно…

— Почему-же не важно?

Сергей повертывается и смотрит на меня в упор.

— А потому что все равно ломаться на сцене пе-

ред этой новой публикой… — он вдруг осекается и замолкает. Потом продолжает спокойно, уже не глядя на меня: — Отец, если это тебя интересует, умер в двадцать третьем году. Из-за этого мы и вернулись с юга — Соня и я. Мать вызвала. На юг же я увез сестру еще в двадцать первом, когда меня выпустили. Я ведь, ты, кажется, знаешь, сидел с самого Июля. Отец тогда не поехал, не захотел бросать своей глазной клиники, и мать с ним осталась. Он за это и поплатился, все болел с голодухи. Врачу, исцелися сам… Но он не исцелился, а умер. Теперь мы втроем живем… Вот и весь мой куррикулюм вите. Как видишь, — блистательный.

— Вы что же ко мне, по делу какому-нибудь, или так?

— А что, разве не весело узреть друга детства? — Сергей отодвигается и смотрит на меня прищурившись. — Странно что-то ты, Шура, со мной разговариваешь…

— Я вам сказал, Сергей Николаевич, что мне очень некогда, — меня ждут в одном месте по делу.

— Да, да, вам некогда. Это все вполне естественно… Нет, я к вам именно так. Исключительно ради того, чтобы засвидетельствовать почтение

особе, облеченной известными полномочиями. Честь имею кланяться!

Сергей быстро встает и идет к выходу. Я выжидаю, пока он скроется. Но, сделав несколько шагов, он останавливается, мгновение смотрит в пол.

— Ну, ладно, амбицию к чорту. Что за честь, когда нечего есть — гласит арабская пословица. Я вас, Александр Михайлович, задержу еще только одну минуту. Видите ли, я и вообще не решился бы вас, человека, обремененного государственными заботами, беспокоить… Но вынужден к тому крайними обстоятельствами. Я намерен просить у вас какой-нибудь работы в вашем учреждении. Должен вам сказать, что мать моя уже год не встает с постели. Извините за оскорбление эстетических чувств, — зачервивела. Сестра, как я уже имел честь вам доложить, вполне беспомощна. Вследствие моей безработицы материальное положение семейства, мягко выражаясь, довольно шаткое. Продавать нам больше нечего. Разве что… Ну, да это вас, в сущности, не касается. Посмотрите на факт вот с какой стороны. Перед вами человек сравнительно здоровый, с образованием, небестолковый и в некотором роде гражданин страны, хотя бы и опальный. Мне

сдается, что и я некоторое право на кусок хлеба имею. А вы, как представитель правящего сословия, в некоторой доле несете обязанность сию потенциальную рабочую силу использовать. Вот я и предлагаю вам свои услуги, причем согласен на любую роль — от заведующего до курьера…

Что я могу ответить ему, этому человеку с другой планеты? Я говорю твердо:

— В нашем кооперативе сейчас свободных мест нет.

— Ах, вот что… мест нет… Должен еще заверить вас, Александр Михайлович, что моя служба была бы совершенно свободна от каких-либо правонарушений. Вы меня все-таки знаете с мальчишеских лет, далее — я, как-никак, ваш бывший товарищ по бывшей партии, каковую вы вряд ли сумели совершенно похоронить в памяти своей. Все это дает мне право надеяться, что в честности моей вы не сомневаетесь. Проворовываться, как многие, не проворуюсь. А что касается политических моих воззрений, то это к делу, как будто бы, не относится. Во всяком случае, ваша мануфактура и селедки, сами понимаете, слишком узкий плацдарм для каких-либо агрессивных действий.

— В отношении службы, Сергей Николаевич,

я ничем вам полезен быть не могу. Ваша мать, насколько я знаю положение вещей, как жена заслуженного врача, имеет право на персональную пенсию. Или, во всяком случае, на социальное обеспечение и больничный уход. Если вы этого еще не добились или если на этом пути у вас будут препятствия, я готов сделать все, что нужно, — написать записку, позвонить и вообще похлопотать. В любое время я на этот счет к вашим услугам. А больше я ничем не могу вам помочь.

— Не можете?.. Так, так… За добрые советы — истиннорусское спасибо. — Сергей хватает меня за рукав. Лицо его близко от моего. — Я все так Соньке и передам. Это ведь она мне нашептала, умолила меня — прибегнуть к вашему высокому покровительству. Вы думаете, я бы сам… когда-нибудь… хоть на одну секунду… допустил бы для себя эту возможность? Отправиться к вам на поклон… Легче мне было удавиться! Я соврал, соврал, что наднях только о вас узнал, я два года знаю, где вы и в каких местах комиссарствуете. И если б не сонькино сипенье — сходи, да сходи — в голову бы мне не пришло. Это она все распространялась — ах, Шура Журавлев, такое альтруистическое сердце, он тебя любил, он меня

любил, не может быть, чтоб отказал…

— Я больше не имею возможности вас слушать. Прощайте.

Освобождаю рукав, ухожу. Теперь он остается сидеть. Я бегу к остановке трамвая, вскакиваю на ходу и, когда проезжаю мимо нашего подъезда, вижу в окно: Сергей выходит оттуда, останавливается на тротуаре, потом медленно, сутулясь, идет, заворачивает за угол. Во мне запечатлевается старомодное пальто его с протертым бархатным воротничком. Кажется, отцовское. Карман с одного угла оборван и висит собачьим ухом.

Жалко мне его или не жалко? Жалко, чорт возьми!.. Эх, дурак, денег ему не предложил… Хотя он и не взял бы. Ну, да, конечно, — оскорбился бы так, что драться бы полез, знаю я Толоконцевых…

Что же теперь делать? Или ничего не надо?.. А Соня?.. Пожалуй, вот что: заодно поговорю с Палкиным. Они ведь в нашем районе. Может, что-нибудь и устроится.

III

Во дворе, в темноте пронзительно кричит какой-то мальчишка, подражая громкоговорителю:

«Алло, алло, алло! Слушайте, слушайте, слу-

шайте! Говорит Большой Коминтерн на волне одна тысяча четыреста пятьдесят метров. Алло, алло, алло!» — Прокричит и опять: «Слушайте, слушайте, слушайте!..» Мешает. Я тянусь с кушетки к окну — захлопнуть. Вижу кусочек атласного, не темного неба. Крупные, спокойные звезды. Золотой купол церкви слабо светится — не то от звезд, не то от месяца, но месяц за домами… Почему-то этот светящийся купол в вечернем небе всегда рождает во мне весеннее, счастливое беспокойство. Кажется, потому, что в первый раз я увидел его таким в начале весны, в марте, когда однажды ночью вышел на хрусткий, подтаявший двор колоть дрова. Я посмотрел на него тогда и подумал: в последний раз колю дрова, весна, а жизнь еще неведома впереди и бездонна, как небо. И сейчас такое же шепчет во мне, а ведь странно — осень, и мне уже скоро тридцать девять. Я хочу закрыть раму, но Юрка говорит:

— Папа, погоди закрывать. Вот кончу мести, пыль улетит, тогда закроем.

Я подчиняюсь.

Палка швабры длиннее Юрки; кажется, что это она таскает его по комнате, а он только держится. Какие у него еще тонкие ноги. В его годы я уже носил длинные брюки и был толстым первокласс-

ником; в гимназических брюках я казался себе почтенным, как дядя Ваня — чиновник архива министерства юстиции. На этих вообще гораздо меньше одежды; они легче; ноги загорелые, в синяках и комариных расчесах. Но красный галстук он носит примерно так же, как я светлую бляху и фуражку со значком — с привычной гордостью. Мне вдруг становится совестно, что он метет, старается, а я лежу.

— Ты, что же, Юрка, каждый день подметаешь?

— Нет, не каждый. Я люблю, когда больше накопится мусору. Тогда лучше видно, что метешь. Но это надо днем, а сегодня мы с утра на экскурсии в ботанический сад, я вернулся поздно, и все-таки, думаю, дай подмету, а то ведь скоро домоуправление придет. Да, я забыл сказать, управдом перед самым твоим приходом прибегал и велел, чтобы ты никуда не уходил, заседание.

— Это я знаю… Вот что я решил: надо, брат, нам дежурства завести, что ли. Один день я мету, другой ты, третий мама. Нехорошо тебя эксплуатировать.

— А что же ты думаешь? Вот с пятнадцатого учение начнется, занятия в отряде — меня целый день дома не будет. Придется дежурства.

Он торжественно везет перед собой большую груду мусору и исчезает в коридоре. Я принимаюсь за чтение, но мальчишка орет попрежнему: «Алло, алло, алло!..» Вот далось ему!.. Юрка возвращается и закрывает окно.

— У тебя кружок завтра? — спрашивает он сочувственно.

— Не завтра, а в понедельник. Но у меня больше не будет вечеров, чтобы подготовиться.

— Ну, читай... Хотя постой, постой... — Он подбегает ко мне и становится коленями на кушетку, пристально смотрит на меня.

— Ты что, Юрка?

— Что? А вот ты мне скажи: ты обедал сегодня?

— Обедал ли? Д-да... Я закусывал...

Он трясет меня, схватившись за мой пояс:

— Нет, ты мне не заливай, ты обедал — с первым, со вторым, как полагается?

Я смеюсь:

— Ну, ладно, признаюсь, не обедал. Очень, понимаешь, замотался сегодня и столовочное время пропустил. Но мне есть не очень хочется.

Юрка с безнадежным видом садится на кушетку и руками обхватывает колено.

— Опять не обедал... Чудак, ведь ты же умрешь, сколько раз я тебе говорил!

Это в нем надино.

— Ну, не умру, авось еще поживу немного… Хотя вот что: если хочешь, сбегай в магазин, купи чего-нибудь, мы с тобой ужин устроим. Авось, и мама подойдет. Деньги вон там, в пиджаке, в боковом кармане.

— Денег не надо. У меня еще остались из обеденных. Я сегодня угощаю.

Весело, вприпрыжку он убегает.

Сразу наступает хрупкая тишина. Слышно, как тикают часы на руке. Трамваи, проносящиеся под уклон с приглушенным грохотом и неистовым звоном, тихо сотрясают стены. Еще — прорезываются певучие автомобильные гудки. Улица мчится там, воспламененная желаниями людей, и подъезды кино на площадях сияют солнцами Индии.

Что-то плохо читается.

Потолок надо мной грязно-серый, в углах — Юрке не достать — паутина. Надо бы побелить. Чудно́, денег вдвоем получаем столько, что стыдно сказать, а деваются, чорт знает, куда. Просто подумать некогда о таких вещах, как потолок. Или это расхлябанность российская, студенческий нигилизм? Да нет, действительно некогда. И мне, и Наде. Ведь раньше она за всем следила и

такие разводила уюты, — не хуже, чем у Бурдовского. А теперь — тысячи детей на руках, десятки потолков в голове, снабжения, ремонты… Где уж тут о своем заботиться. Да еще этот ее пыл прозелитический, — совсем себя заездит… Беда с этими тридцатилетними новообращенными: то, что для нас давно примелькалось, для них — откровение и сплошной восторг. Вот и носятся с лихорадочно горящими глазами и, пожалуй, немного бестолку. Ведь тогда, в двадцать первом, когда впервые профсоюзный билет получила, и то сколько было радости: приобщилась!.. — не гражданка уже, не сама по себе, а товарищ! И теперь уж далеко ушла, уже член бюро ячейки, заведующая детдомами, а все такие же чудесные открытия…

Юрка возвращается, начинает готовить ужин. Аккуратными кружечками режет огурцы, помидоры, колбасу, достает уксус.

— Где это ты так научился?

— В лагерях, — деловито отвечает он, что-то уже жуя.

Мы принимаемся есть. Юрка доволен и потому, несмотря на хозяйственную важность, начинает баловаться с вилкой и качаться на стуле. А я уж не знаю, можно мне его остановить или нельзя.

Так я редко его вижу и для меня такими скачками он растет, что боюсь сказать невпопад. Иной раз, по рассеянности, скажешь ему что-нибудь, как маленькому, а он посмотрит с недоумением; прямо неловко станет.

— Может быть, чай поставить? — спрашивает он, от прекраснодушия готовый сегодня на все.

— Нет, не стоит, не успеем, сейчас ведь придут.

Однако надо же поддерживать разговор.

— Ну, как ты, Жюль Верна прочитал, что я тебе принес?

— Еще не дочитал. Да и не хочется. Помоему, ерунда. Я спрашивал в военном музее, может ли быть такая пушка, чтобы до луны. Объясняющий сказал, что это фантазия. Фантазия — значит враки. Не интересно. Вот, Майн-Рида Жилище в пустыне еще ничего. Хотя там какие-то офицеры, но устраивают вроде совхоза, сами все добывают и все у них хорошо растет… Ты мне все-таки приноси еще, может, мне что-нибудь и понравится, — утешает он.

Удивительно, как он все-таки мало читает. Он совсем не ведает этой сласти, этого жадного восторга — бросить все, удрать в угол с книжкой и скорчившись, чуть не урча от наслаждения, рывком переворачивать страницы. Я помню:

чтобы уложить меня спать, когда уже истекли все сроки и самые последние — «ну еще пять минуточек, только до главы», — матери нужно было силой отнять у меня книжку и запереть к себе в комод. А я, одуревший, отуманенный, только что плывший на лодке вместе с самим Сагайдачным или скитавшийся по безлюдным вересковым Шотландии, забывший о том, что завтра опять неприютное темное утро и ледовитые коридоры гимназии, — я бегу к комоду, пытаюсь выцарапать ногтями запертый ящик, чуть не плачу. Ну, а Юрка… Юрка, кажется, читать не очень любит и как-то не читает, а… прорабатывает. Читать же не любит оттого, что не терпит одиночества. Тоже странно: как же так без одиночества, без сладчайшей тоски непричастности, без блужданий по сырому весеннему полю, когда машешь руками и кричишь ветру: «О великая даль, о пронзительный зов твоей флейты!» Или, может быть, это им не понадобится, прибавится много другого, чего у нас не было? Нет, напрасно это: пусть прибавится, но зачем же терять старые богатства и радости?

Юрка убирает со стола, носит в кухню тарелки и моет их там, прямо под краном. Кончив дело, он чинно садится возле стола.

— Вот, что, папа. Я опять хочу тебе сказать. Помоему, нужно все-таки выставить Чистова из квартиры. Вчера он опять напакостил в коридоре, перед нашей дверью. Когда я его стал ругать, зачем он здесь уборную устраивает, он на меня бросился и кричал, что придушит, как котенка. Я насилу вывернулся. И все говорят, что он самый поганый старичишка и его давно надо выселить. Подать в суд и выселить. Больше терпеть нельзя.

— Терпеть и не надо, а надо попробовать еще раз его пристыдить, послать ему бумажку от домоуправления.

— Ты, значит, не хочешь выселять?

— Не хочу, я тебе это всегда говорил.

— Странно очень. Ведь он же буржуй, бывший домовладелец, чего ж ты с ним церемонишься? Это соглашательство называется.

— Ну, ты пустяки говоришь. Вопервых, он хоть и бывший домовладелец, но сейчас работает, петрушек выпиливает и этим только и кормится. Затем, никого у него нет, ни родных, ни приятелей, значит деваться ему некуда. Нельзя же человека на улицу выбрасывать.

— Прямо чудно тебя слушать! Ты же сам говорил, что к буржуазии не может быть никакой пощады. А теперь сам дрефишь…

Ну, как ему растолковать?

— Я говорил, что буржуазии нет пощады, когда она вредит революции, государству или даже вообще какой-нибудь группе людей — рабочих или крестьян. Понимаешь? А Чистов никому кроме нас не вредит. Он только на меня злится, да на маму, что мы коммунисты и что мы первые его уплотнили, и что я председатель жилтоварищества. Вот он и безобразничает. Он хочет как-нибудь свой протест заявить, — что вот его, прежнего богача, с поварами и рысаками, заставили жить в убожестве. И больше никак не может протестовать, кроме как перед дверью гадить. Больше ведь он никого не трогает?

— Никого.

— Ну, вот. А мы — я, ты, мама — не должны губить человека, даже и скверного, только потому, что нам троим от него неловко. Надо попробовать его утихомирить, и я это постараюсь сделать.

— Он говорил Агафье Васильевне, дворничихе, что электрические провода перережет, которые к нашей комнате.

— Так ведь еще не перерезал.

— Агафья Васильевна говорит, — он может дом поджечь.

— Не подожжет. Ему самому плохо придется.

Юрка молчит, потом говорит решительно:

— Ты как хочешь, а я домоуправлению сегодня заявлю, чтобы выселяли. Я тоже жилец, имею право. Я не хочу за буржуем пол подтирать. Если бы в отряде узнали, меня бы задразнили, исключили бы, пожалуй. Суд присудит, и пусть он убирается к чорту со всеми петрушками своими, с иконами и с карточками…

— С какими карточками?

— У него много карточек, он их иногда на столе расставляет и любуется. А на карточках все голые монашки, с которыми он жил. Он только с монашками жил. И позади каждой карточки полное описание этой монашки, год и число.

— Кто это тебе сказал?

— Агафья Васильевна при мне рассказывала тете Груше.

— Передай Агафье Васильевне, что она дура и напрасно рассказывает при тебе такую чепуху. Хотя я это ей и сам скажу. А заявлять что-нибудь домоуправлению…

Стук в дверь. Это домоуправленцы. Здороваются, я приглашаю садиться. Самсонов и Птицын, как всегда, робко передвигаются по комнате, осторожно берут стулья, будто стеклянные. Чудаки! все еще стесняются меня, моей комнаты, хотя

в ней беднее, чем у них — у Самсонова — маляра и Птицына — сапожника. Это потому, что для них я все-таки интеллигент, и, следовательно, барин. Потом, им еще нова и страшна общественная работа, обрушившаяся на них после свержения *буржуазного* домоуправления. Один только Серафим Петрович деловит, чинен и полон сознания своего достоинства. Ему что! — он при всех правлениях — казначей, незаменимый и щепетильный. Строго оглядев нас поверх очков, из-под своей огромной багровой шишки на лбу, он сообщает, что Степанюка не будет, Степанюк опять запил. Значит, можно начинать.

Мы обсуждаем вопросы о перемощении двора и ремонте дровяных сараев. Самсонов понемногу расходится. В другой обстановке он, я знаю, словоохотлив, говорит кудряво и с подмигиванием — маляр, маляр и есть; тут его еще пригнетает все-таки государственная важность дел. А у маленького Птицына — у того уж совсем слова не вытянешь; молчит, и лицо виноватое. К тому же я чувствую, что хозяйственное их сегодня мало интересует. Но вот, Серафим Петрович вынимает из своей папки бумажку и протягивает ее мне:

— Я полагаю, что можно перейти к текущим делам. Автор этого заявления — из моей квартиры

гражданин Брюхоногов, весьма выдержанный инвалид третьей категории.

Лица оживляются. Вероятно, об этом они без меня успели наспориться до хрипоты. Я уже вижу в чем дело, улыбаюсь.

— Опять об Угрюмовой. Вы со своими союзниками скоро ее совсем заклюете, Серафим Петрович. Вот ополчились все на бедную женщину!

Серафим Петрович разводит руками:

— Ну, уж и сказанули, Александр Михайлович, — бедная женщина! Да разве это женщина? Это фашист кровожадный, а не женщина. Вы спросите все соседние квартиры, кому она только не насолила. Да вот, читайте об ее новых упражнениях, читайте вслух.

Я начинаю читать. Почерк каллиграфический.

«Во избежание дальнейших недоразумений и порядка нашего жилтоварищества, я вынужден довести до сведения нижеследующее:

Первое: за последнее время, в особенности июнь-июль-август месяцы, со стороны гражданки Угрюмовой из квартиры 26 наблюдается целый ряд антисанитарных условий по отношению проживающих в нижнем этаже членов товарищества.

а) Трясут подстилки из-под собаки через окно

второго этажа, все волосы и пыль летит прямо проживающим в первом этаже, где вдыхается в легкие и попадает в питание. На мое заявление прекратить это безобразие гражданка Угрюмова мне ответила: трясу и буду трясть, ничего ты мне не сделаешь (присутствовал тов. Хрящик).

б) Неоднократно получающие эксцессы с собакой владельца гражданки Угрюмовой, которая приносит большие неудобства и алчно щелкает не только на детей, которых может сделать совершенно уродами, а также нарушает вход в квартиру и взрослым. Примеры:

1) 12 августа собака, выскочив из квартиры, набросилась на детей Пирогова, которые забавлялись в песок. От ужаса дети с криком безумия бросились бежать. Не представляю себе возможности, как они не попали в яму (поглощающую).

2) 13 августа ребенок товарища Хрящик в возрасте 4–5 лет, гуляя на пороге двери, был настолько перепуган выскоком собаки из двери, что за испуг не берусь отвечать».

Глаза мои уже прочитали начало следующего абзаца: «А посему, во избежание судебных процессов…» Я хочу произнести эти слова. И вот — опять! — я слышу, как мое сердце на мгновение замедляет ход, потом вырывается из своего меш-

ка и начинает колотиться поспешно, не в лад, как попало. А, чорт! Этого не было с весны. Я думал, что прошло совсем. Но жить уже и в *эту минуту* нельзя. Оно отскочило от жизни, оно трепыхается только рядом. Я знаю, что делать: нужно лечь на спину, и голова вровень с телом… Я встаю, и все подымаются вместе со мной, не сводя с меня испуганных глаз. Губы Птицына что-то шепчут. Должно быть, я бледен.

— Александр Михалыч, что с вами?

Серафим Петрович старается поддержать меня за локоть. Ах, они не понимают! — как всегда, мучительное раздражение охватывает меня. Я вырываю руку. Иду к кушетке, откидываю валик, ложусь. Ну, теперь влезай обратно, я жду… Странные люди, чего они суетятся? Распахивают окно, суют стакан с водой… Я отмахиваюсь. Один Юрка спокоен, он знает. Я слежу за ним, осторожно повернув голову. Ага, тише, тише… сейчас влезет. Юрка что-то чертил с линейкой, теперь бросил, смотрит на меня. Нет, опять сорвалось… Что это, как долго в этот раз?.. Не могу больше!..

— Да что, с вами? Александр Михалыч, голубчик? — Птицын чуть не плачет.

Я морщусь: нужно же, чтобы не мешали. Тихо говорю:

— Юрка, объясни им…

Важный и сумрачный, он выступает вперед:

— Это у него нервоз.

— Невроз, — поправляю я чуть слышно.

— Вы не беспокойтесь: ему ничего не больно. Больно будет потом. Сейчас только неловко, будто сердце за что-то задевает. Он мне говорил. И еще страшно, что в эту минуту нельзя жить. Но это сейчас пройдет. Это не обморок.

Они смотрят на Юрку с каким-то почтением. Самсонов даже рот разинул. Ну вот, успокаивается, только вздрагивает. Уже можно думать, можно жить. Что вы скажете? Моя система не подведет! Лечь на спину, и больше ничего. Я сам это изобрел зимою. Как будильник, — есть такие, что идут, если только их положить вверх циферблатом.

Птицын хочет подсунуть мне под голову подушку. Юрка отнимает.

— Не надо, так ему лучше…

Вот и совсем улеглось. Бьется ровно, как всегда: раз-два, раз-два… Как это все-таки приятно, когда ровно. Одним этим можно всю жизнь наслаждаться, а мы и не замечаем. Раз-два, раз-два… Но нужно еще полежать, чтобы закрепилось.

— Вы, товарищи, читайте дальше, — говорю

я, — я отсюда послушаю.

Они боязливо переглядываются.

— Да нет уж, мы лучше пойдем, Александр Михайлыч. Давайте отложим…

— Нет, нет, зачем же откладывать. У меня на этой неделе больше свободных вечеров не будет. Валяйте уж все дела до конца.

Снова усаживаются. Серафим Петрович подвигает очки выше, к переносице, откашливается.

«А посему, во избежание судебных процессов, — начинает он скрипуче и нажимая на ударения, — рекомендую домоуправлению выдвинуть следующие вопросы:

а) Положить конец антисанитарии по отношению проживающих в нижнем этаже со стороны гражданки Угрюмовой, дабы иметь возможность в целях притока очищенного воздуха открывать форточки и даже рамы.

б) Предложить гражданке Угрюмовой, во избежание дальнейших эксцессов, купить намордник, а также всякий раз (поскольку имеются дети) сопровождать выход собаки или на цепочке или на руках, дабы последняя…»

Далеко, в конце коридора хлопнула дверь, я слышу знакомые быстрые шаги. Ближе, ближе. Я знаю, это Надя. Она всегда бегает так, будто за

ней гонятся.

Дверь позади моей головы распахивается. Я не вижу, но, как всегда, ощущаю ее, счастливое, милое облако. Секунда, и вот уже она около меня, на коленях, берет мою голову в ладони.

В глазах, затененных шляпой, тревога:

— Что это, Шура? Опять? Опять сердце?

Я тороплюсь успокоить:

— Уже прошло, пустяки. Наверное, за последнее время переутомился немножко. — Пытаюсь улыбнуться: — Нервозные, мы, понимаешь, стали, как кисейные барышни.

Надя убирает мне волосы со лба. От нее еще веет холодком улицы и родным, старинным запахом прорезиненного пальто. Домоуправленцам она говорит:

— Вот что, товарищи, давайте-ка, отложите свои дела. Ему надо отдохнуть.

Я хочу остановить, но Надя машет рукой. Они зачем-то бормочут извинения, поспешно собирают бумаги и на цыпочках выходят. Надя поворачивается ко мне и говорит строго:

— Ну-с, завтра же к доктору.

— Да, да, обязательно, я и сам думал, что надо…

— Вот то-то, что надо. И непременно завтра же, утром, до работы. Хотя я сама с тобой пойду, а то

ты всегда, как припадок, собираешься, а потом — авось да как-нибудь.

Она кладет шляпу на шкаф и хочет снимать пальто, но какая-то стремительная мысль останавливает ее посреди комнаты:

— Да, Шура!.. Ты не можешь себе представить, что у нас сейчас произошло на активе, — говорит она весело, улыбаясь своему воспоминанию. Позабыв про пальто, она подсаживается ко мне на кушетку. — Понимаешь, только начались прения и вдруг является Ребрянский. Во время доклада его не было. Просит слова, выходит, весь багровый и галстук насторону. И начина-ает, и начина-ает!..

Надя рассказывает быстро, глаза у нее блестят. Я держу ее теплую руку в своей. Да, стриженые волосы очень ее молодят. На вид ей сейчас двадцать пять, двадцать шесть, не больше. Только вот легкие морщинки у глаз. Слова ее, быстрые, круглые, веселые, сыплются на меня, как золотое зерно из мешка. Юрка опять что-то вычерчивает, стоя голыми коленками на стуле. Он не слушает, у него свои дела.

Ночь. Темнота плавает перед глазами. Какие-то рыжеватые полосы проносятся вкось, книзу и снова взлетают.

Я опять его слышу. Это самое мучительное, когда оно слышно. Оно колотится глухо, будто завернутое в вату, мерно ударяется в мягкий матрац. Там идет нестихающая возня; что-то покалывает его, давит, передвигает в сторону. Это еще ничего, можно засыпать. Но только дремота окутает меня и я начну сливаться с темнотой, с безмолвием, — оно вдруг дергается и начинает частить, частить… Потом выравнивается, я радостно вздыхаю, но сон уже исчез. Оно похоже на бойкую, скользкую мышь, его никак не удержишь. Я прикладываю к нему ладонь: вот оно, близко, под тонкой, горячей кожей. Ну, что тебе, места мало? Колотись себе смирно о ребра. Вот так. Раз-два, раз-два. А чтобы тебе было легче, я могу перевернуться на другой бок. Ну вот, хорошо. Тепло, тихо, спокойно. Длинное тело отдыхает, плотно прилегло к простыне; усталость просачивается из него книзу, как дождь в землю. А ведь я все-таки ощущаю себя вот тут, в голове. Холодные ноги, это — не я, живот — не я, сердце — совсем не я, оно — чужое, постороннее, а я только здесь, в голове, съежился. Интересно бы посмотреть на свое лицо изнутри, какое оно? Все выгнуто в обратную сторону, как форма для барельефа… Кстати, нужно повесить портреты в

комнатах правления, бюст какой-нибудь… А то очень голо… Ну, ладно, сплю. Юрка ровно дышит на кушетке. Он всегда спит крепко. И я…

Гремят страшные удары, вспыхивает багровый свет. Что это? Смерть? Открываю глаза. Темнота. Сердце мчится бешено, вскачь, вкарьер. Я провожу рукой по лицу. Холодный пот. Это случилось в то же мгновение, как я заснул. Заснул — и грохот — и я проснулся.

А ведь и верно, что-то грохочет… Близко, во дворе. Тяжело дыша, я приподнимаюсь на локте. Слушаю. Погрохочет и смолкнет, и опять.

Осторожно, чтобы не толкнуть Надю, слезаю с кровати. Прижимаюсь носом к холодному, запотевшему окну. Весь двор зеленовато-белый, черные тени, и месяц купается в осиянном небе, как в голубом вине. Кто-то черный согнувшись ходит по двору, и от него грохот. Тихонько отворяю окно, высовываюсь, холодный воздух покалывает мне горло.

Так и знал, это Сморчок. Он опять катает свою бочку. Вот он заметил меня, подходит к окну, смотрит, задрав голову. Серебряный свет льется на его всклокоченные волосы, яркая тень от носа пересекает усы и бороду. Он похож на утопленника. Рваный пиджачишко одет на голое тело,

и дряблое, сверкающее пузо вываливается за гашник.

— Опять ты безобразничаешь, Сморчок, — шиплю я ему, — ты людям спать не даешь. Как тебе не стыдно!

Он вытягивается и отдает мне честь:

— Вашему высокородию нижайший почет, через пень-колоду, за море-окиян, в белокаменный град. Позавчера родился, нынче женился, помирать не хочу, честь имею представиться. Вашей тетеньке двоюродный плетень и народный комиссар монополии.

Что с ним будешь делать? Я говорю жалобно:

— Иди спать, Сморчок, брось свою бочку. Я болен и из-за тебя заснуть не могу. Хоть меня пожалей!

Он шаркает босой ногой и опять отдает честь:

— Так что, ходатайствую о безвозвратной стипендии. Двугривенный на поминовение усопших родителей и раздробление миров. Тюлечки-маргулечки, валеный сапог. Всевозможное вращение.

— А шуметь больше не будешь?

— Засну, как плотва, до страшного суда.

Я достаю из пиджака монету и кидаю ему. Она падает на булыжник, звеня. Сморчок ищет ее,

встав на четвереньки, и что-то кричит. Но я поскорее прикрываю раму.

Надя спит, повернувшись к стенке. Блестит ее круглое плечо.

Надо бы все-таки купить вторую кровать, — думаю я, укладываясь, — а то неудобно.

Тишина проглатывает меня.

IV

Мы выходим из столовой. В этот час послеслужебного разъезда улица торопится больше, чем всегда. Она спешит по домам, она хочет ухватить за кончик ускользающий день. Трамваи и автобусы нафарширована плотно, у остановок очереди, в магазинах давка. Люди сразу вспомнили о себе, потому что втечение шести часов для себя были только незамечаемые папиросы и стакан чаю с бутербродом.

Последние, уже желтеющие отсветы солнца, отлетающая теплынь, длинные тени.

Мы тоже торопимся, быстро шагаем, и одна витрина за другой перехватывают наши отражения. Мое пальто и портфель подмышкой проплывают по тканям, флаконам духов, галантерейной мишуре, по книгам; павлиний хвост обложек, — кричащие цвета, пестрая шотландская клетка,

белизна самоуверенной скромности; тьмы и тьмы книг, каждый день десятки новых; испуганные глаза автора, пробегающие рецензию, грубый читательский палец с желтым ногтем, поспешно разрывающий необрезанные листы… Успевают ли все это прочитывать?

— Товарищ Иванова, ты много читаешь?

— Нет, мало. А что?

— Беллетристику читаешь? Стихи, романы?

— Редко, некогда все. Вот в отпуску была, «Виринею» прочитала, этой, как ее… Сейфуллиной. Ничего. Потом какого-то иностранного, забыла фамилию.

Вот, так и все. Убийственно мало мы читаем. Что Юрка! — а сам-то я? Сколько было прочитано, а потом оборвалось, забывается… Кажется, ни одного стихотворения не помню. Даже Блок померк, прелесть моя, вторая жизнь. Мы его считали своим, народным… Кажется, Иванов-Разумник зачислил в народные. Где он теперь, сей восторженный Иванов?.. И сейчас пишется, наверное, много прекрасного, торжествует молодая мысль, переливаются смех и печаль. Но все это проходит далеко от меня, я ничего не вижу. Вот и афиши, вон их сколько на заборе. Могучие шрифты, пожары красок, огромные человеческие лица. Они

иногда ужасают своим безудержным криком. Это не для меня! Театр отпал, исчез. Кругом говорят о нем, пишут в газетах о каких-то неслыханных переворотах в этом искусстве, а я, для которого прежде оно было всем, ничего не знаю. Мейерхольд… Мой старый знакомый: из-за него я поломал не мало копий. Говорят, он переродился, стал вождем театральной революции, но как, что там такое — не понимаю, не видал ни одной постановки. Да, многие струи жизни текут, не касаясь меня. Правда, второстепенные, — все-таки я ведь в фарватере, и это не перестает восхищать. Но иногда вдруг взгрустнется, даже тоска кольнет, о том, об утраченном: простые мечты, путешествия, влюбленность, музыка… Все реже вспыхивает эта тоска, забываю вспоминать. Уж не высыхаю ли я, не превращаюсь ли в убогий механизм? Надо все-таки встряхнуться. Вот, пройдет горячка в кооперативе, наладится все, тогда заживу. Накуплю книжек, возьму абонемент в театр; будем ходить с Надей вместе, как раньше. И Юрку будем брать, теперь уж он большой…

Площадь. Тут мы обычно прощаемся с Ивановой. Опять она молчала всю дорогу. Днем трещит так, что устаешь слушать, а когда идем с работы, всегда молчит. Но почему-то любит ходить со

мной: в конце дня забегает в кабинет, в столовой подсаживается к моему столику.

— Ты налево, Иванова? Ну, всех благ…

— Погоди…

Она стоит, глядя в сторону, правой рукой теребит клапан портфеля, раздутого, как футбольный мяч. Чем только она его набивает?

— Погоди, Журавлев. У меня к тебе дело есть. Важное. Пойдем вон хоть в сквер сядем.

— Какое-такое дело? Что ж ты дорогой не сказала?.. Понимаешь, Иванова, я очень спешу, мне в райком надо, на методбюро.

— Поспеешь в райком, не уйдет. А я давно хотела поговорить с тобой. Пойдем.

И она сходит с тротуара на мостовую. Я покорно, хоть и со вздохом, следую за ней. Знаю, заранее знаю, о чем это она. На счет Лункина, завмага из восемнадцатого. Ну, погорячился человек и вообще заважничал немножко. Но ведь в общем парень хороший, даже талантливый. Нипочем не соглашусь на переброску, пускай мирятся. Сам и помирю.

Мы садимся на скамейку. Какая торжественность! Уж эта мне женская непримиримость: действительно, они в десять раз нетерпимей, щепетильней нас. Мы, мужчины, в делах как-то

добродушней…

— Ну, выкладывай, Иванова, свое важное дело, — говорю я, значительно ухмыляясь и потирая коленки.

— Сейчас, вот только закурю, — и достает коробку из кармана.

Она выпускает дым, поженски выпячивая свои полные губы. Фетровая, почти мужская шляпа, смуглое лицо делают ее похожей на какого-то коминтерновца из южных стран.

Она все молчит и курит.

В этот час в сквере мало народу. Несколько матерей и нянек с колясочками, кудрявый человек в пальто и без фуражки, скрючившись читает газету. Крохотная девочка с лопаткой, в полосатом колпачке, подходит близко, глядит на нас, широко разъяв длинные загнутые ресницы, и потом, чего-то испугавшись, со всех ног бежит, прячется в колени матери. Иванова провожает девочку рассеянно-строгим взглядом, бросает папиросу, не докурив.

— Вот что, Журавлев, — говорит она раздельно, своим низким голосом, отвалившись на спинку и засунув руки в карманы пальто, — я хотела тебе сказать… — Опять она медлит. — Ну, одним словом, что я тебя люблю… Давно уже, с весны.

Поэтому мне трудно работать с тобой в одном месте. Но и уйти от этого дела тоже не могу, оно мне дорого. Вот и все. Что ты на это скажешь?

Я гляжу на нее с изумлением. Что она сказала? Что за чепуха? Это опрокинуло меня, вышибло из всей привычной колеи, и я долго собираюсь с мыслями. Вот тебе раз, а я-то — об Лункине!.. Никогда и не подозревал, ни разу в голову даже не приходило… Но нужно же что-нибудь ответить, — вот она повернулась ко мне, смотрит на меня испуганными глазами и сжав губы, точно думает: «что я наделала!..» Что же ответить? Что говорят в таких случаях? Я не могу видеть ее глаз…

Ощущая мучительную неловкость и ужасаясь тому, что скажу, я говорю не своим, каким-то противным, тонким голосом:

— Голубчик, Иванова, ты поразила меня… Мне трудно сейчас ответить тебе что-нибудь путное. Скажу тебе по правде, просто я как-то не думал об этом. Ведь я уже человек не молодой, а то, что называется, пожилой. И вся эта часть жизни как-то отошла от меня… Я смотрел на тебя, как на товарища, как на работника…

Она усмехается:

— Я это знаю.

— Ну, да. Как на отличного, преданного нашему делу работника. И знаешь, при нашей спешке трудно как-то подумать о человеке с другой стороны…

Вот и неправда, — ловлю я себя, — о других-то думал…

— Ну, и вот, — продолжаю я с натугой, — это, пожалуй, горе наше — в работе не замечаешь самого человека…

— Так ты, значит, меня не замечал? — Голос ее звенит волнением.

— Да нет, нет, что ты! Ты меня не поняла. Как мне тебя не заметить? Ты для всех нас человек страшно ценный. Но я просто не успел еще приглядеться к тебе, узнать тебя с личной стороны.

Я с опаской поглядываю на Иванову. Она вынула платок и прижимает его к губам, она кусает его.

Да тут невозможно не обидеть! — мучаюсь я. Но как бы хоть обидеть-то поменьше?

— Вот ты спрашиваешь, Иванова, что я скажу. Я не знаю, могу ли я тебе что-нибудь советовать…

Она выпрямляется:

— Я и не прошу совета…

— Да ведь надо же мне что-нибудь ответить?! — восклицаю я в отчаянии и сейчас же понимаю,

что сказал невозможную глупость.

— Можешь ничего не отвечать.

Я молчу, молчит и она. Опять достает папиросу, долго крутит ее в пальцах, пока та не ломается. Бросает ее на песок.

— Да, ты можешь ничего не отвечать. В сущности, ты все уже сказал. Действительно, то что я тебе открыла, должно быть, очень дико и смешно. Инструктор объясняется в любви председателю кооператива во внеслужебное время… Я понимаю твое недоумение. Я его ожидала, надеяться мне было не на что. Зачем же сказала? Думала, что мне легче будет от этого. Теперь уж кончено. Ты не пугайся: беспокоить тебя этим больше не буду. Надеюсь, что и ты об этом забудешь, так, как будто и не было ничего… Ну, мне можно и итти.

Она встает, неловко протягивает руку.

— Нет, нет! Пожалуйста не ходи со мной! — почти кричит она, вздрогнув, когда видит, что я собираюсь итти за ней.

Она удаляется со своим портфелем, очень большая, ладная и важная. Не оглядывается.

Оборванный мальчишка сует мне вечернюю газету. Я отмахиваюсь от него.

Вот еще то, что проходит мимо меня. Оказывается, в мире живет любовь. Она такая же, как

раньше — больная, нескладная и драгоценная, и еще раз пересекла мою жизнь. Наверное, в последний раз. А я не знаю, что с ней делать.

Солнце ушло за какие-то далекие сады — там, за поворотом улицы. Облако сухой и холодной пыли мчится над мостовой; краски меркнут.

Надо же итти в райком. Я встаю.

Страшно не хочется лезть в трамвай и в сутолоке, в давке расставаться с тем прохладным и светлым, что растет во мне. Э, наплевать, пойду пешком. Не беда, опоздаю раз в жизни.

Ущелье улицы все в тени. Кое-где витрины и окна наливаются бледным электрическим светом. Но небо над улицей еще голубое, наполненное нежным сияньем, легкими, розовыми облаками. Верхние этажи высоких домов, их башенки, балконы, карнизы, отсеченные границею тени, розовеют все гуще и свободно парят в этом надгородском просторе.

Мы все как-то забываем, что городские твердыни, вознесенные высоко и на долгие десятилетия, — это уже природа. Как гудящие вершины тайги, как сверкающие ледники горных хребтов. Вон то угловое окошко, рядом с розовой кариатидой, подпирающей крышу, живет там давно, летними утрами распахивается навстречу

свежему ветру и робкому солнцу и будет так же раскрываться, когда исчезну я и все товарищи и спутники мои. Сейчас оно полуотворено. Туда, пожалуй, можно залететь, кувыркаясь в свистящих высотах, над трубами и антеннами, можно перекинуть ноги за подоконник, лукаво оглядеть пустую комнату. Там светлые обои с широкими панелями, на которых кипят багровые розы. Беклинская Лесная сказка над маленьким столом и косматый Бетховен. Белая девичья кровать с блестящими шариками по углам. На столике распечатанный конверт; адрес, написанный почерком прямым и острым, как черная осока. Можно бы прочесть, но это невежливо. Я сажусь на кушетку и жду. Блузки и юбки тоже ждут, притаившись на вешалке за занавеской. Потом гудит лифт; гуденье начинается далеко, в провалах земли, и всплывает все выше. Щелкает американский замок, золотисто вспыхивает матовое стекло двери и гремит ключ. Дверь отворяется, входит она. Очень тихо; слышно, как расстегиваются кнопки перчаток. Осторожно кашляю. Она замечает меня, вскрикивает и…

И посылает за милицией, — обрываю себя сердито. — Размечтался, старый дурак.

Иду проездом бульвара; шумная улица оста-

лась позади. Здесь тишина; только вороньи стаи возятся и кричат в сумеречных липах, да изредка автомобиль обгоняет меня, колыхая в своем белом луче стылый булыжник мостовой, стволы деревьев, извозчичьи пролетки, замершие возле тротуара. Темнеет быстро, мне кажется, что — скачками, как в театре: на секунду опустишь глаза, потом оглянешься — стало гораздо темнее. Сумерки овладевают мною, и от них снова нарастает волна мечтательного умиления. Широкий лист, крутясь, падает с дерева, наклонившегося из-за забора. Я говорю ему заботливо, как врач:
— Упал, голубчик? Ну, ничего…

Палкин обещал что-нибудь устроить. Ну там, под предлогом санитарного обследования или как-нибудь еще. Пенсию, лечение Вере Ивановне, может быть, даже работу Соне. Только не забыл бы, не затянулось бы, — знаю я, как все это у нас медленно делается… Обязательно надо напомнить. Нельзя же допустить, чтобы погиб этот дом, удивительный дом. И Соня…

Вот эта смятая поломанная решетка, ограждающая маленький закоулок между двумя домами, — я ее видел много раз; сейчас она пронзает меня жалостью. В решетке сегодня тоже есть что-то девическое, она бередит память об очень

давнишнем, далеком…

В тот дом я приходил через двор, с черного хода, потому что, когда был гимназистом, боялся беспокоить звонком с парадного, а студентом и после — просто по привычке. Я был влюблен в дом. В каменные плиты, по которым нужно было итти от ворот до крыльца, в дряхлого, чихающего дворового пса, в веселого доктора Николая Петровича, в Веру Ивановну с ее седыми волосами и нежнорозовым молодым лицом, во всех бесчисленных бабушек, кузин и в какого-то, редко наезжавшего дедушку, ворчуна и страшного неприличника. Даже при встрече на улице с некоей *мамой-крестной*, низенькой кособокой старушкой, которую я видел у Толоконцевых всего один раз, меня охватывал сладкий трепет. Да что там! — при одном упоминании этой фамилии я уже краснел и задыхался.

Особый запах комнат, особый семейный жаргон, привычные домашние остроты, все суждения, распорядки, предания этой исконной столичной семьи были мною изучены и обоготворены. И все же я, свой человек в доме, тоже всеми узнанный и полюбленный, ощущал постоянно и мучительно свою непричастность, далекость и всех ревновал ко всем. Все-таки я был чужой.

Да, вот что: у Толоконцевых ванна, а я опять забыл об этом и пришел. Все заняты ванной, все где-то прячутся, по очереди идут куда-то наверх. Я совершенно непричем, никому не нужен, мне не будет ванны. Только скучная толстая бабушка, накрывая стол к вечернему чаю, с ласковым ехидством разговаривает со мной. Да, я влюблен и в эту бабушку, но сейчас я хочу большего. А Сергей все не идет, да и не в Сергее, собственно, дело. Наконец, он является, красный и свежий, пахнущий мылом, расспрашивает меня о чем-то. Но я больше гляжу в раскрытую дверь. Вот! Пробегает она, с распущенными черными волосами, в белом мохнатом халатике. Улыбнулась мне, кивнула. О, русалка, прелестная, неуловимая, чужая!

Приходит Николай Петрович с Русскими ведомостями и садится за стол.

— Ну-с, молодой человек… — говорит он с самой злобной иронией. И поделом: не шляйся каждый день, не надоедай, не лезь в семью, посторонний мальчишка! Он, конечно, уже догадывается, что я покушаюсь на его дочь и, наверное, рад был бы меня высечь. Но самое ужасное то, что она не выйдет к чаю. Я это знаю, но все-таки сижу, соглашаюсь выпить третий стакан, хотя, несомненно, все косятся на меня с удивлением. Потом сижу

и читаю с Сергеем Гофмана и только уж когда становится доподлинно известно, что Соня легла спать, напяливаю свою долгополую шинель и ухожу; Сергей выпускает меня через парадное.

Годы, годы, годы — огромные зимы, мгновенные лета — все слито с этими милыми мучениями, тоскою неотправленных писем и ужасом слов, замерших на кончике языка. И только театр, мудрый покровитель, великий и добрый старик, вложил ее руку в мою и повел по своим романтическим лабиринтам, где запахи грима и пудры… Наши головы тихо кружились от любви и юного благоговения перед искусством, развернувшимся во всю глубину веков, во всю широту мира. Сонины застенчивые дебюты, мои надменные рецензии, а рядом — кружки и сходки. Ее первое летнее турнэ, — города, сверкающие белым раскаленным асфальтом и синевою бухт, — стремительное время, которое залегло на дне памяти, как сплошь счастливое, ровное, без помарок. Или, может быть, все прошлое кажется таким?.. Потому что ведь и первые холодные годы ссылки не оставили ничего тяжелого на сердце. Молодость, что ли, победила их или девушка эта, которая и в разлуке, невидимая, шла по ним легкой стопой…

Женщина подарена миру, женщина ожидает

каждого из нас. Вот ее еще нет, она бродит где-то в туманах, мы только во сне слышим ее голос, сердце замирает от ожидания. И вдруг она вышла, как солнце из-за гряды облаков. То, что было рассеяно в воздухе, в снах и мечтах, ринулось к центру, сгустилось, сплотилось, и можно уже взять за руку это дивное диво, не дыша, ужасаясь счастью, поднять глаза; и перед вами будут другие глаза, за которыми сияет своя жизнь, отдельная от вашей и от всего мира, но сбереженная для вас, предающаяся вам всем своим особенным — ожидающей улыбкой, завитком волос, нежным глянцем молодых губ, темной родинкой возле них…

В вестибюле райкома я предъявляю билет белобрысому милиционеру. Здесь тихо, тепло — сухой теплотой калориферов — и похоже на дворянские бани: закругленные своды, расписанные какими-то травами и птицами; ковровая дорожка уходит в полутьму коридора. Хлопотливый день промчался здесь со своими заседаниями, телефонными звонками, нашествиями заводских секретарей и учраспредовской толчеей. Он не оставил следа. Мне кажется, что стены распертые, накаленные от бушевавших здесь слов и дел, теперь охладились, застыли. В усталую тишину, потрескивая навощенным паркетом, снова во-

шли покой и чинность — былые хозяева этого старокупеческого особняка.

Поднимаюсь наверх по скрипучей деревянной лестнице. В большой комнате агитпропа, заваленной по углам пыльными рулонами стенных газет, секретарша Тоня, одна-одинешенька, что-то пишет, перебирая картотеку. Она так затеряна со своим аккуратным столиком в огромном зале, как будто смотришь в обратный конец бинокля. Позади нее, за тонкой перегородкой, слышны голоса.

Опоздал! — сразу вспоминаю я. До чего неловко и стыдно! Робко подхожу к Тоне.

— Здравствуйте, Тонечка. Собрались уже?

— Да нет, какое там, только двое. Самый скверный народ методисты, всегда опаздывают.

Ну, слава богу! — Я направляюсь к двери.

— Постой, Журавлев. У меня к тебе дело есть.

Что это, у всех сегодня дело ко мне?

Но Тонечка, вместо того, чтобы сказать о деле, пристально смотрит на нижнюю часть моего туловища.

— Журавлев, — говорит она медленно, как загипнотизированная, — у тебя там, наверное, пуговица оторвалась.

Наклоняю голову и вижу, что действительно

расстегнуто, но не смущаюсь. Она уж такая эта Тонечка, все замечает. Прошлый раз при мне строго допрашивала Кулябина, зачем у него волосы из носу растут. Она страшная чистюля, Тонечка, аккуратница, но ее брезгливость к оторванным пуговицам и потным рукам, ее бестужевски-скромный белый кружевной воротничок странно уживаются с каким-то тихим цинизмом. Она может говорить о чем угодно без всякой застенчивости.

— Ты скажи жене, чтобы пришила.

Я смеюсь:

— Ладно, скажу. Ну, а что у тебя за дело?

— Да видишь ли, мы тут решили тебе кружок политэкономии дать. На «Металлоштампе». Вот возьми телефон и адрес, сговоришься с секретарем.

Я остолбеневаю.

— Как кружок? Я же веду на «Передовой швее».

— Что ты там ведешь?

— Кружок ленинизма, ты же отлично знаешь.

— Ну вот, значит, будешь еще вести политэкономию.

— Да что ты, Тонечка, откуда же я время возьму?!

Я уж не говорю о том, что у меня в кооперативе

дела пропасть, у меня еще восемь нагрузок. Я подсчитывал.

— Ничего, справишься. Это мы знаем, что ты здорово загружен, но понимаешь, некому больше дать, честное слово. Кто из отпуска еще не вернулся, кто с предметом не знаком.

— Я тоже не знаком. У меня на подготовку три месяца уйдет.

— Ну, уж ты, пожалуйста, не заливай. Знаем, как ты не знаком. А кто на прошлом методбюро программу критиковал? Прямо профессор, да и только. Нет, уж это дело решенное, Газенштоф менять не будет, — берись, и нечего там…

— Тонечка, я решительно отказываюсь. Так и передай своему Газенштофу. Нельзя же на одном человеке ездить. Безобразие! Главное, ведь дело страдает, — ничего как следует не успеваешь. Нет, уж пощадите меня на сей раз.

Тонечкины глаза смотрят безжалостно — странные глаза, желто-прозрачные, как ломтики яблочного варенья. Ее курносость неумолима.

— Брось пустяки болтать, Журавлев. Как тебе не стыдно. Лучший пропагандист, а ведет какой-то один несчастный кружок. У нас в районе все по два ведут. Возьми Кириллова, Даговера, Яснопольскую…

— Так у меня же еще методбюро, шефбюро, райком, — я загибаю пальцы, — торговая секция райсовета, октябрьская комиссия, комиссия по…

— Ах, скажите, как напугал! Что это за работа? Раз в три месяца одно заседание, да и то не состоится… Нет, вот что, Журавлев, хватит дискуссировать. Я тебе, знаешь, что обещаю. Ты возьмись, с половины октября начни занятия, а там подвернется кто-нибудь из пропагандистов, мы тебя обязательно заменим…

— Так я тебе и поверил! Эти ваши обещания нам известны… Ну, скажи по правде, ведь не замените?

Тонечка загадочно улыбается.

— Ладно, ладно, заменим. Записывай телефон.

Что же мне делать? Действительно, неудобно как-то отказываться от партийных обязанностей…

Я записываю телефон и понуро плетусь заседать.

Вот тебе и художественная литература, вот тебе и театральный абонемент…

V

Мне потому нравится это дело, что пользу от него можно потрогать, погладить, — она осязае-

ма. В губплане и даже на заводе мне было не так весело: там все-таки дальше от живой человеческой радости. Конечно, планирование жилищного строительства и котельное производство — вещи нужные. Но от моих плановых расчетов до человека, повертывающего выключатель и в десятый раз с изумлением оглядывающего свою уютную комнату, слишком большое расстояние. А мои котлы (ничего не могу сказать, — великолепные) по выходе из литейной через трое суток изчезали из моего поля зрения; я знаю, они попадали на склад металлосиндиката и потом торжественно, как иностранная делегация, разъезжались по всей стране; но опять-таки, черный шершавый котел, хотя бы и отличный, может вызвать счастливую улыбку только у директора той фабрики, где его устанавливают, да еще разве у старшего механика, у монтера, и только. Мне же нужен миллион улыбок — самых глупых, самых эгоистических, самых животных. И вот теперь это есть у меня. Теперь я щедрый Санта-Клаус… нет, организатор рождественской елки; я снимаю с нее подарки и почти из рук в руки передаю столпившимся вокруг меня.

Человек утром сел на постели и за ушки натянул ботинки, купленные вчера в нашем магазине;

ботинки блестят, их носки потеют от дыхания, отражают окошко. Человек встал, ступил на каблук, на носок. Немного жмут, но это ничего. Он вышел на улицу, нарочно звонко щелкая подошвами по асфальту. Прекрасно! Он вспоминает прошлое: ноги кривились на каблуках, стоптанных до задников, носки противно сырели и гнили, на шнурке был узел, который развязывался пять раз на дню; была беззащитность, неуравновешенность, тоска. Сейчас он ловок, мужественен, крепок. Сияют ботинки, сияют глаза.

Одинокий, никому не нужный, мрачный человек зашел в нашу столовую. Ему некуда больше спешить. Медленно и грустно жуя, он съел наш обед из двух блюд за пятьдесят пять копеек. Тотчас же он услышал музыку струнного оркестра и музыку мира. В чем же дело? В сущности, он молод, здоров и имеет огромное будущее. Добрый и благостный, он провел рукой по усам, закурил папиросу и оглянулся: вон та девчонка в голубой шляпке — ничего себе. Он вышел из столовой, отправился в один знакомый дом и там подарил приятелю свой перочинный ножик со штопором — просто так, от доброты сердечной.

О, мы, победители страшных лет, знаем, как это важно. Сначала это — вдосталь, погорло, всем,

потом — остальное. Доброта, изящество мысли, искусство вырастут сами, расцветут. Я понимаю: они еще важнее, но для них нужно изобилие, чтобы человек не заглядывал другому в рот. Я не осуждаю своей старой страсти: что же мне было делать тогда, кроме театра? Он и сейчас еще светится во мне иногда, как первое существование, как тусклый и тревожащий атавизм: строгие сукна Гордона Крэга, молочные туманы Метерлинка, Вера Комиссаржевская. И Соня… Какие рецензии, какие букеты, какие бури в стакане воды! Я любил все это и не зачеркну: прошлое незачем зачеркивать, оно само отступает. Но сейчас вот, через пятнадцать, нет, даже через девять лет, только через эти девять, что заставит меня ликовать? моя тончайшая, ядовитая, благоуханная рецензия, потрясающая умы — так ведь мне казалось тогда — или крепкий баланс на первое октября? Ослепительная рампа, или новая витрина сыров и консервных банок? Какой может быть разговор! Там все было расплывчато и мелко, а тут — вот они: четырнадцать тысяч пайщиков, доверивших мне свои пятирублевки; они поручили мне построить для них верное дело, кормить, одевать, обувать и — ждут; да и не только ждут, а проверяют нас, ругают, лезут

во все щели; мы сами зовем их к этому… И что же, как будто бы мы не сплоховали! Баланс будет готов только через месяц, но уже сейчас можно сказать наверняка, что второе полугодие, наше полугодие… где же это гиндинские подсчеты? Кажется, он взял их обратно…

— Мотя! — кричу я в коридор, — позовите-ка Гиндина.

Жду.

Вот…

Но вместо Гиндина в дверь просовывается лысая голова Трофим Егорыча.

— Можно к вам, Александр Михалыч?

— Да, да, пожалуйста. Но я просил Гиндина, где он?

Трофим Егорыч не отвечает — он должен сначала поздороваться. Это священнодействие. Мелкими шажками он приближается ко мне и сгибается, как буква Г. Левую руку с папкой ордеров держит немного наотлет, а правую протягивает мне так бережно, будто готовится сорвать розу. Только проделав все это, он сообщает мне, что Гиндина нет: «с утра уехали в горбанк».

— Хорошо, Трофим Егорыч, передайте ему, пожалуйста, чтобы зашел ко мне, когда вернется.

— А ордерочки, Александр Михалыч? Соблаго-

волите подписать.

Я торопливо подписываю эти розовые и синие листки. Приятное дело подписывать приходные ордера, зато рука тяжелеет при одном взгляде на расходные. Хотя вот: две тысячи семьсот пятьдесят рублей по счету плотничьей артели «Единение». Наконец-то!

Все время, как только я ставлю последнюю букву фамилии, Трофим Егорыч ловко подхватывает ордер и опускает на него пресс-папье.

Дальше идет бланкирование векселей. Это тоже приятно. Трофим Егорыч просит у меня печать правления и, получив, старательно прижимает ее к подушечке с краской, затем медленно приближает к бумаге. Я знаю, что он сейчас скажет. Он нажимает на печать обеими руками, и, глядя на меня искоса грустным глазом, произносит нараспев:

На сердце, полное гордыни,
Я наложу свою печать.

После этого он отнимает печать и с удовольствием глядит на ровный, беспорочный лиловый кружок.

В который раз я смотрю на Трофим Егорыча испытующе. Он для меня загадка. Низкопоклонство

его не таит в себе никаких скверных побуждений — в этом я давно убедился. Он и с подчиненными ему младшими счетоводами обходится также кротко и согбенно. Это просто в нем привычка. Старосветская нежность к людям, да, да! Сотрудники его любят, он бессменный член месткома, выполняет свои общественные обязанности с тихим наслаждением, именно — с наслаждением, как самое почетное и отрадное в жизни. В стенной газете он самый ревностный сотрудник, иногда помещает в ней свои стишки.

Но тогда почему же он так обращается с сестрой? Бурдовский, который давно его знает, уверял, что у себя дома Трофим Егорыч другой, что сестру свою, иссохшее и заплаканное существо, он, тишайший, держит в страхе и трепете, по утрам заставляет надевать на него носки и зашнуровывать ботинки, часто кричит на нее и топает ногами. Помоему, этого не может быть. Наверное, врет Бурдовский.

Процедура подписывания заканчивается, и Трофим Егорыч наклоняется ко мне, чтобы по обыкновению поговорить о литературных делах, показать свои заметки, приготовленные для Нашей газеты. Но из-за его плеча кто-то усиленно раскланивается и улыбается мне. Ах, это тот, из

бывшего смирновского кооператива. Его трудно узнать: он сбрил усы и отрастил бороду лопаточкой, стал похож на голландского шкипера. Когда он вошел?

Трофим Егорыч отступает и, сложив в папку бумажки, уходит.

Шкипер долго трясет мою руку.

— Здравствуйте, дорогой Александр Михайлович! Зашел с вами попрощаться и, между прочим, доложить, что ваша комиссия наконец-то закончила учет и приемку нашего имущества. Мы отчитались, и ныне все спорные вопросы э-э-э… улажены.

Меня несколько смущает складочка на его брюках; она такая безупречная, что, кажется, обрезаться об нее можно. Как же он сядет?

— Пожалуйста, садитесь.

Он молниеносно придвигает стул, слегка вздергивает брюки и садится, расставив ноги.

— Вы куда же едете? — спрашиваю я, чтобы что-нибудь спросить.

— В Крым, в Крым, — весело возбуждается он, — немедленно в Крым. Как это говорится — кончил дело, гуляй смело. Получил место в доме отдыха на два месяца. И представьте, с громадным трудом. Если бы не Евгений Николаевич… Вы

знаете Евгения Николаевича из главкурупра? Ах, что вы, превосходнейший, внимательнейший человек. Несомненно, лучший бальнеолог, мировое светило. Да-с, видите ли, мне необходимо ремонт, основа-ательный ремонт. Нервная система совершенно расшатана. Какие кошмары по ночам, какие кошмары! Ну, конечно, весь этот ликвидационный период даром для меня не прошел. Больно, понимаете ли, Александр Михайлович, больно видеть, как гибнет дело, в которое я вложил столько забот, столько нервов! Конъюнктура, давление рыночной стихии — ничего не попишешь. Такой момент. Но тяжело, ах, как тяжело!..

Зажмурившись, он трясет головой, так что вздрагивают волосы, тронутые благородной сединой. Потом снова широко улыбается.

— Не скрою от вас, Александр Михайлович, ваша комиссия тоже жару подбавила, хе-хе-хе! Народ все молодой и, конечно, горячность, придирчивость. Можете ли себе представить! — вздумали меня, старого кооператора, ловить, форменным образом ловить — на каких-то там трех метрах кружев и партии подтяжек. Ну, я, конечно, только плечами пожал и моментально — документы. Отступили с посрамлением.

Кстати, — он придвигает ко мне стул, — кстати должен вас предупредить, уважаемый Александр Михайлович, относительно товарища Аносова. Он, наверное, будет вам говорить… Боже меня упаси, что-нибудь про него сказать плохое. Нет, нет, отличный партиец, хороший товарищ, но невыдержанность, невыдержанность отчаянная! И к тому же в хозяйственных делах совершенный ребенок. Так вот, он все никак не может успокоиться в отношении этих самых ста семи кусков коверкота. Чтобы мы, кооператоры, стали реализовать товар через частника! Это когда на улице товарный голод и хвосты у магазинов! К чему это нам? Зачем это? Ведь это же нонсенс, уважаемый Александр Михайлович, абсолютный нонсенс… И потом, как хотите, но это вне сферы компетенции приемочной комиссии. Рабкрин, судебное разбирательство? Пожалуйста! Завтра же даем отчет, да нет, хотите — сегодня же, сию минуту! Но уж только прекрасный товарищ Аносов тут совершенно непричем! И если он будет вам что-нибудь говорить, так вы уж, пожалуйста…

— Хорошо, товарищ, товарищ…

— Потажицкий, Станислав Антонович Потажицкий…

— Хорошо, товарищ Потажицкий, я в этом деле

разберусь.

— Разберетесь, вот именно разберетесь, — восторгается он. — Очень, очень, было бы приятно, если бы вы сказали свое авторитетное слово. Мы, смирновцы, всегда персонально о вас, Александр Михайлович, были наслышаны с самой лучшей стороны. Знаем, что работа у вас дьявольская, такие скверные объективные условия и все-таки… Кстати, вы сами-то когда думаете отправиться?

— Куда отправиться?

— А в отпуск, поразмять, так сказать, ответственные косточки? Вы ведь, кажется, еще не ездили?

— Не ездил. Не знаю еще, когда.

— Что вы, что вы, ведь поздно будет! Сейчас как раз самое хорошее время, бархатный сезон, виноград, в воздухе этакая эмаль, бирюза. Советую не откладывать. Знаете что, Александр Михайлович, катните-ка сейчас! Вместе бы выехали и, поверьте, чудесно бы провели время. Знаете, Ай-Петри там, чебуреки, дамочки, чихирь отрадный, хе-хе-хе! Впрочем, чихирь, это на Кавказе…

Звонит телефон. Я беру трубку.

Шкипер сейчас же вскакивает:

— Ну, не смею вас больше беспокоить. Позвольте пожелать вам… — Раскланивается,

расшаркивается и, уходя, оборачивается: — Так если надумаете ехать, пожалуйста, до четверга звоните, а если позже, то обязательно черкните открыточку, в секретариате у вас я оставлю свой телефон и крымский адрес. Также и в случае каких-либо дальнейших претензий со стороны товарища Аносова не откажите в любезности известить. Хотя я полагаю…

Кто-то говорит в трубке, но я плохо слушаю и машинально отвечаю: да, да. Голос рассерженно повышается.

— Кто, кто?.. Да не может быть!.. Гущин! Откуда же ты взялся?.. Что ты говоришь? Вот здорово!.. Да я уже три года, сначала в губплане, потом на заводе и полгода здесь… Так, так, это хорошо!.. Ну, и куда же тебя посадили?.. Ого, ты, значит, теперь шишка!.. Выходит, мы с тобой опять по одной линии… Само собой, конечно, зайду. Как, как?

На откидном календаре записываю адрес и телефон.

— Слушай, а как Катюша? С тобой?.. Ага! Ишь ты! Ну, я очень рад за нее. Кланяйся ей непременно. Сегодня? Нет, сегодня никак не смогу, кружок у меня… Да, порядочно. Ну, что ж, кое-как тянем… Нет, завтра тоже не сумею. Вообще, понимаешь, трудно сказать, но как только выберется свобод-

ная минутка, сейчас же забегу… Ну, что ты! что ты! Мне же самому страшно хочется, обязательно как-нибудь зайду…

Разговаривая, я в то же время смотрю на странную фигуру, появившуюся в дверях. Картуз с полуоторванным козырьком, из расстегнутого ворота рубахи глядит волосатая грудь. На ногах же востроносые, лаковые штиблеты. Что это у него подмышкой? Странно… Арбуз. Большой круглый арбуз с отрезанным верхом. Верхушку человек держит в другой руке за хвостик. Когда я кладу трубку, он приближается ко мне шатаясь. Он пьян. Лицо бледное и нахмуренное. Аккуратно накрывает арбуз верхушкой и, взяв его в ладони, сразмаху опускает ко мне на стол. Арбуз трескается, крякнув. На бумаги течет жидкость, желто-розовая, как гной, плывут мелкие черные семечки.

— Ну, что? — спрашиваю я тихо. — Арбуз.

— Арбуз? — торжествующе хрипит посетитель и запускает палец в мякоть. Она жидка, как кисель, и багрова. — А это что? — Он выковыривает кусок и сует его мне к самому носу. — Лопайте сами такие арбузы. А нам давай деньги.

— Деньги обратно! — ревет он вдруг, выпучившись на меня, и стучит кулаком по столу.

— Погодите кричать, — говорю я. — Где вы его купили?

Человек вдруг обмякает, машет рукой пропаще и начинает плаксиво тянуть:

— Что же это, граждане, дерьмом нас хотят кормить? Без закуски, значит, теперь пролетариат? Так и хлещи ее, голую, а каперация, знай, денежки загребай? Кислым качеством снабжают разнесчастный пролетариат…

— Я вас спрашиваю: где вы его купили?

— Где купили? Известно — в гастрономическом, напротив аптеки. Опохмелиться надо рабочему классу? Надо или нет? — налезает он опять на меня. — Ну и, значит, у нас с Петькой Рыжовым раскладка — бутылку совместно, он селедку, а я арбуз. Полный комплект.

— Когда вы его купили?

— Ну, вот, теперь когда купили! Говорю, пошли нынче с Петькой опохмеляться и купили.

— Вы в магазин-то заявляли жалобу?

— В магазин? А чего нам магазин? Что мы дорогу в правление не знаем, что ли? Хотим, чтобы разочлись с нами из главной кассы за нашу обиду. И вы, дорогой гражданин, — он медленно грозит мне пальцем, — не увлекайтесь своим начальством, а то мы у вас тут все разнесем.

— Запугивать меня незачем. Это ни к чему. Вы сами-то откуда?

Он выпрямляется с важностью.

— Мы заводские. С заводу «Путь к победе», он же самый — бывший Кранц. У нас строго, у нас этого беспорядку не любят. Раз каперация — подавай полное качество.

— Что же вы сами-то с утра гуляете, разве это порядок?

— А это вас не касаемо. На свои гуляем, не на ваши. Может, мы не с радости, а с горькой иронии жизни.

Понурившись, входит Кулябин, за которым я посылал Мотю. Посетитель оглядывается на него и вдруг кидается к нему, лезет целоваться.

— Гриша! — вопит он, — друг! Что же ты, стерва…

Кулябин стряхивает с плеч его руки. Тот смотрит на него, качаясь, тусклыми глазами.

— Ты что тут бузишь? — Кулябин хмурится. — Опять загулял? Вот погоди, попрут тебя с завода, тогда узнаешь…

— Вот что, Кулябин, — вмешиваюсь я, — напиши сейчас же записку в двадцать третий магазин, чтобы ему вернули деньги за этот самый арбуз. Он действительно перезрелый и совсем прокис…

— Да брось ты, Журавлев! — начинает Кулябин раздраженно, — я этого парня знаю, он с нашего заводу, первый пьяница и недотепа, он, наверное, и арбуз-то…

— Ладно, ладно, нечего там, сейчас же пиши записку и потом зайди ко мне.

Кулябин молча поворачивается, загребает посетителя и тащит его к двери. Тот упирается и кричит:

— Так это ты, милый друг, здесь командуешь! Нет, ты скажи, ты качество можешь понимать?.. Зазнался тут, сволочь, нарастил ряжку на легких хлебах…

Наконец они скрываются за дверью. Через несколько минут Кулябин возвращается.

— Садись, — говорю я ему сухо. — Признаешь арбуз?

Кулябин глухо откашливается.

— Признаю.

— Что же, вся партия такая?

— Вся, — роняет он безнадежно.

— Чего же ты смотрел? И главное, почему же, зная, что арбузы дрянь, пустил в продажу? Почему не пришел ко мне, не сказал? Что же я тебя повесил бы за это?

— Да мне вчера только завмаги сказали, что

они кислые. Я спросил — много ли, отвечают — самая малость осталась. Ну, говорю, им, пущай расходятся до конца…

— Так ты, что же, хочешь, чтобы всякую дрянь, которую ты пропускаешь, мне потом потребитель на стол валил? Чтобы скандалили? Это, потвоему, пропаганда кооперации? Эх, Кулябин!..

Кулябин встает, глядя в сторону.

— Саша, — говорит он с тоской. — Отпусти ты меня на завод обратно! Не умею я с этой коммерцией… Опыта у меня нету и способностей нет, сам видишь…

Оптиков нету, — вспоминаю я, а сам думаю: надо помягче…

— Вот что, дорогой товарищ, ты это хныканье оставь. Про твои способности я сам знаю. Если бы надо было, сам бы тебя давно спровадил. Ты мне вот что скажи: желание у тебя есть?

— Есть…

— Ну, и хватит. Со временем натаскаешься. А то уж очень дорогая штука выйдет: сидел человек полгода, столько дела перепортил и ушел ни с чем. Партии-то от этого какая радость? И работника не получила, и убыток, и нового человека давай, а он, может, еще хуже будет. Так что ты насчет обратно лучше заткнись. Гляди в оба, не

будь рохлей. Ты что-то последнее время совсем осовел. Женить тебя надо, я гляжу…

Кулябин бледно улыбается.

— Ладно, — бормочет он, — поработаем еще. Только вот что, Журавлев…

Влетает Гиндин, почему-то в пальто и в шляпе.

— Я вам нужен, Александр Михайлович?

— Да, я у вас хотел попросить те подсчеты…

— А насчет «Табачника» разве вы еще не знаете?

— Нет. А что такое?..

— Да понимаете, я сейчас заезжал в губсоюз, нужно мне было в финсчетный, и мне там Чернышев сказал по секрету, что вчера на президиуме ставили наш вопрос о слиянии. Постановили оставить вопрос открытым, или как-то так. В общем отрицательно.

— Да не может этого быть! Почему же нас не вызвали?

Гиндин разводит руками.

— Да что ж это такое! Мне же третьего дня Рабинович, заворготделом, говорил, что орготдел решил в нашу пользу.

— Это верно. Чернышев говорит, что орготдел поддерживал, но табачники заявили, что у них специфические условия, и потом чорт знает что

про нас наговорили. Будто бы у нас захватнические стремления, разбухший аппарат, и что мы хотим за их счет починить свои прорехи.

— Вот, гадость! — Я поворачиваюсь к Кулябину: — Ну-с, что ты по этому поводу скажешь?

— А что ж? — Кулябин вздыхает. — Ехать надо к самому Синайскому. Растрясти его на все корки и чтобы пересмотрели.

— Ну, разумеется, сейчас же созвонюсь и поедем. Вот что, товарищ Гиндин, передайте, пожалуйста, Аносову, чтобы поскорее собрал все материалы. Он поедет вместе со мной? Что это вы? Ах, арбуз? Это так, пустяки. Кстати, скажите Моте, чтобы зашла убрать.

И, когда Гиндин выходит:

— Ну, а ты, Кулябин, сейчас же распорядись, чтобы это гнилье изъяли из продажи. Ничего, спишем. Не впервой. Да не вешай нос! Мы еще тут с тобой таких дел натворим. Вот только бы с этим проклятым «Табачником»…

Я снимаю трубку, чтобы звонить Синайскому. Самому Синайскому! И сейчас же кладу ее. Разве вот что… Гущин… Да, конечно, он может помочь, это же как раз по торговской линии… Поднажмет, и кончено…

— Гущин?.. Да, да, Журавлев. Понимаешь, брат,

так обстоятельства повернулись, что мне нужно тебя сегодня же видеть… Нет, дело тут одно, очень важное. Ты с Синайским уже познакомился?.. Нет, нет, председатель нашего губсоюза… Ну вот, очень хорошо… Да, нужна твоя поддержка, хочу с места в карьер тебя использовать… Что ж, брат, поделаешь, хотя бы и протекционизм… Но тут дело совсем не личного порядка… Только я поздно, часов в десять, ничего?.. Да вот тогда все и расскажу… Да, да. Всего.

Аносов уже стоит около меня, одетый и с портфелем.

— Это ты Синайскому?

— Нет, это я товарищу одному. Хороший армейский приятель и может помочь в этом деле с «Табачником». Синайскому сейчас позвоню. Ну, как ты смотришь на эту историю?

Аносов пожимает плечами:

— Чего ж тут смотреть! Обычный для современного режима бюрократизм.

VI

— Так, значит, ты это устроишь, Гущин?

— Ладно, заметано. Сделаем. Дело ваше правое и ясно, как шоколад. Завтра же поговорю… Постой, постой, ты что это? Никак уходить соби-

раешься? С ума что ли сошел? Мы же с тобой еще и не поговорили, как следует. Катюша, да что же это он дурака валяет? Держи его за шиворот!

— Видишь ли, Гущин, я лучше к тебе в другой раз приду и посидим подольше. У меня нынче на вечер работы до чорта. И, по правде тебе скажу, если бы не дело, я бы к тебе сегодня не пришел. А завтра — вставать рано, с семи часов у меня…

— Н-никаких разговоров! Ничего не признаю. Это что же, издевательство какое-то, провокация с твоей стороны? Четыре года не видались, и вдруг, пожалуйте, дела у него!.. Вот что: если уйдешь, я тебя знать не желаю и ни с какими Синайскими разговаривать не буду. Что, съел? Садись лучше вот на этот диванчик и сиди смирно. А я поищу, нет ли у нас чего-нибудь такого-этакого.

Как тут устоять против его ивановского радушного оканья!

Гущин молодцевато направляется к зеркальному шкафу. Молодцеватость и военная стройность у него прежние, и это больше всего от высоких зеркально-светлых сапог. Я помню, что по части высоких сапог он знаток и страстный любитель. «Волнуют меня только две вещи на свете, — уверял он часто, — вопервых, мировая революция, а вовторых, хорошие сапоги».

Он заглядывает в узкую половинку шкафа и притворно изумляется:

— Смотрите, пожалуйста! Оказывается, есть еще порох в пороховницах!

В высоко поднятой руке у него бутылка водки.

— Как у вас тут? употребляют? Ну, ясное дело. Это только Сольц не велит, да и то, наверное, у себя дома прикладывается, старичок… А ты, Катюша, устрой-ка нам, знаешь, это самое, вроде Володи, одним словом, из помидоров с огурцами. И еще там, что вздумаешь.

— Что-то ты, Павел, опять зачастил, — говорит Катя укоризненно, но с всегдашней милой своей улыбкой — серьезная такая улыбка, будто Катя прислушивается к чему-то, что внутри нее, — смотри, как бы не вышло с тобой то же, что в Иванове…

— Ну, что ты, голубь! Это со свиданием-то да не выпить, с армейским-то закадычным другом! Оно даже по уставу внутренней службы… — Ловким, точно рассчитанным хлопком по донышку Гущин выбивает пробку, но так, что она не вылетает, а остается в горлышке. — Вот как у нас, Алексаша, работают. Квалификация! Ты как предпочитаешь — сразу заложить фундамент или мелкими пташечками?

— Да, я, понимаешь, Гущин, водки-то вообще не пью…

Он отшатывается от меня и смотрит, вытаращив глаза:

— Н-ну, брат… ты, я вижу… совсем тут забюрократился. От старых приятелей делами отговариваешься, водки не пьешь…

Я пытаюсь оправдаться:

— Не знаю уж, что-то душа не принимает. И потом сердце у меня немножко подгуляло, говорят, вредно…

— Сердце… Водка, брат, она от всех болезней лечит. Ну, ладно, на первый раз прощается. И все-таки ты у меня не отвертишься! Не-ет, голубь, не рассчитывай!

Гущин опять идет к шкафу и извлекает оттуда длинную бутылку нежинской.

— Вот-с! — щелкает он пальцами по стеклу. — Это уж самое дамское. В этом детей купают — слабенькое.

Весело и хлопотливо он достает рюмки, откупоривает, разливает, ворчливо приговаривая:

— Беда с этой интеллигенцией — скучный народ! Нам, пролетариям, не компания. Ты-то красной девицей всегда был, на всю бригаду славился строгим поведением, а тут и совсем,

видать, подсох. Ну, мы тебя маленько размочим… Катюша, подсаживайся к нежинской. Тебе нынче тоже разрешается. Одним словом, — с приятной встречей.

Мы чокаемся, выпиваем. Гущин спокойно, как молоко, я с некоторой пугливой торопливостью, Катя чинно, до половины, только ради компании. Понемногу завязывается тот беспорядочный и радостный разговор, какой рождается в присутствии бутылки между людьми, очень связанными землячеством места или эпохи. Мне хорошо, прекрасно даже, я не хотел бы ничего лучшего. Мало-помалу меня начинает приводить в восторг знакомое ощущение обычной гущинской ясности, налаженности и законченности. Как всегда, он сам, и все, что его окружает, исполнены отчетливости и особого блеска: блестят сапоги, начищенный паркет ответственного номера, катюшин высокий, круглящийся лоб, скатерть, бутылки, зеркало. Конечно, при первом взгляде на Гущина я заметил, что он немножко все-таки сдал. Чуть-чуть, самую малость — это могу видеть только я. Не то чтобы порыхлел, а как-то излишне упитанно побелел, да и брюшко намечается под ловким френчем. Вот еще золотые зубы поблескивают во рту. Сокрушенно

поглядываю я на эти зубы: вцепилось-таки золото в молодое твое, большевистское тело! Но, осушив еще рюмку, я начинаю думать, что это, пожалуй, пустяки, придирка с моей стороны. Куда там! Все такой же статный, размашистый, веселый. Комиссар отдельной бригады, Павел Гущин, краснознаменец, неистощимый митинговщик, ярый поборник банно-прачечных отрядов!

Разумеется, мы захлебываемся в воспоминаниях. Нам с Гущиным, как и всем вообще партийцам армейской породы, прошлое кажется все-таки важнее настоящего. Все новое мы проверяем мерками той поры, всякого встречного человека — прежде всего. Немудрено: те годы заново родили нас, заставили узнать самих себя и показали нам лучших людей в лучших делах, какие только доступны человеку. Это прошлое — наша отчизна, наше родительское благословение, навеки нерушимое.

После пятой рюмки Гущин кричит, размахивая вилкой, на конце которой кружок помидора:

— А Федька-то Пужло, сукин сын, беззубая морда! Помнишь Федьку Пужло?

— Какой Федька?

— Да ну, этот, с маузером всегда ходил, из особого отдела…

— Позабыл, понимаешь…

— Ну, как это позабыл, не может быть! Он еще в Майкопе, это уж перед самой демобилизацией, на тройке на воскресник приехал. Скандал был страшнейший. Неужели не помнишь?

Катя больше молчит, потому что мы не даем ей говорить своей восторженной болтовней, но слушает нас с разгоревшимися щеками. Она вставляет:

— Это тот, который Зейцель из политотдела, латышку, хотел похитить и увезти с собой в полк, когда его откомандировали. Это при вас было, в Острогожске. Такой дурашливый парень.

— А-а, ну, конечно, помню теперь.

Федька Пужло встает передо мной, как живой. Скуластая рожа, красные штаны, специально франтовские, заостренные обшлага у шинели.

— Да, да, оболтус порядочный, но, помнится, душевный малый…

— Да ты слушай, что с ним сталось! — вопит Гущин. — Можешь себе представить, в прошлом году, в Иванове сижу у себя в губсовнархозе, и вдруг предстает передо мной этот самый Федька Пужло. Но в каком виде! В котелке, да, да, да, в котелке, ручки в брючки, и жилет с цепкой. Я обомлел: откуда же это он в Иванове взялся? А он

так-это, мелким бесом, подсаживается и начинает молоть: как мы, говорит, оба старые ветераны и теперь на хозяйственном фронте, одним словом, предлагает подряд на перевозку дров.

— Как подряд? Ведь он же член партии.

— Ну, из партии-то, положим, его еще в чистку двадцать первого года вышибли. Но все-таки я и удивился этому превращению и обозлился. Катись, говорю, отсюда, голубь, пока цел. А он не унимается и разные резоны разводит. Надоел мне, я ему и говорю, что не забыл еще его майкопских штучек и, если не уйдет, то в милицию позвоню. Он тогда сразу к двери сиганул, отдал честь, — это к котелку-то, — и след простыл. А через неделю читаем с Катей в Рабочем крае: арестован Пужло за мошенничество. Каких-то договоров назаключать успел с уисполкомом и просыпался. Здорово? Вот тебе и душевный малый! Старый ветеран? Хо-хо-хо!

— Да, а Рыжик? Где же Рыжик? — я оглядываю комнату, смотрю под диван.

Но оба они, Гущин и Катя, поникают головами.

— Нету Рыжика, — говорит Гущин отрывисто, — пристрелить пришлось — взбесился. Искусала его в Иванове какая-то сволочь.

Я не расспрашиваю, молчу, я знаю, что такое

для них Рыжик. Но Гущин говорит:

— Это что, Рыжик! У нас тогда же сынишка помер. Ты ведь не знаешь, два года ему было. В прошлом году все это случилось, в одно время. Тут Рыжика я пристрелил, а через неделю Вовку скарлатина скрутила. Хороший был парнишка, курносый такой… Остались мы с ней совсем бобылями. После этого и осточертело нам Иваново. Стал я проситься сюда — решили учиться, хотя оба уж не первой молодости. Длинная волынка была, потом все-таки отпустили. Она уж поступила, ты знаешь, а я с той осени собираюсь. Пока вечерами готовлюсь, занимаюсь, вон видишь. — Гущин показывает на книги, горою сложенные на столе. — Жалко, времени мало… Вот, брат, получается так, что жизнь довольно грустно обернулась. Однако никогда не поздно перекраивать.

Ненадолго печальная тишина нависает над нами. Катя, низко наклонившись над столом, пальчиком чертит узоры на скатерти. Потом Гущин встряхивается:

— Ну, ребята, нечего носы вешать. Рыжика-то другого не сыщешь, и заводить не хочу, а ребята дело наживное. Верно, Катюша? — Он подмигивает ей.

Катя слабо улыбается.

— Ну, выпьем еще, что ли?

Снова мы погружаемся в нескончаемые: «а помнишь, а помнишь?» Выпитое уже порядочно растревожило меня. Окутывает теплый, уютный туман; хочется бесконечно сидеть на этом диванчике, слышать просторный гущинский говор, глядеть в катины светлые глаза, за которыми залегла та же, что и у меня огромная полоса жизни — политотдел, теплушки, обозы, снежные степи под дымчатой луной, исчезнувшие и незабываемые лица. В те времена Катюша щеголяла в галифэ и сапогах, в дубленом оранжевом полушубке. Милая троица! Они были неразлучны: Гущин, Катя и большой, косматый Рыжик. Втроем их перебрасывали из дивизии в дивизию, втроем они носились по штабам, странствовали в промерзших скрипучих эшелонах, в обозных фургонах, вместе попадали под обстрел. В этом сумраке тифозных вокзалов, спанья вповалку, ожесточения и бездомности они были особой маленькой и подвижной планетой, крепким мирком, сосредоточившим в себе что-то домашнее, близкое каждому и очень согревавшее. Как-то ухитрялись они во всех передрягах быть умытыми, не таскать вшей, за четверть часа до отступления сварить кашу и накормить десяток

спутников, после чего Рыжик вылизывал ведро. Вся бригада знала эту троицу и любила ее. Замечательно, что, хотя в штабных учреждениях порядочно волочились за женщинами, а Катя была очень хороша — стройная, чистая, пышноволосая, — ни у кого, пожалуй, и мысли не было за ней приударить. Этого бы никто не допустил — все ревностно оберегали гущинский мирок от всяких напастей, желая сохранить его таким, как он есть. Только один раз они расстались, — когда Гущин, уже в двадцать первом году, поехал делегатом на Десятый съезд. Вскоре пришла телеграмма, что он ранен под Кронштадтом. Я принес Кате это известие. Она молча перечитала телеграмму и кинулась собирать вещи. Вдвоем с Рыжиком они уехали в Питер. Там Катя разыскала мужа в психиатрической лечебнице: он помешался. Говорили, что не поправится. Но она привезла его в Майкоп и здесь выходила, вынянчила, почти не покидая маленького, трехоконного домика с закрытыми ставнями. Как она это сделала — никто не знает, но вот он сидит перед нами и распевает: «Уж ты сад, ты мой сад», в такт помахивая рукой. Я смотрю на них обоих сквозь слезы: да здравствует же любовь, никогда не замирающая в мире, да здравствуют наши

ласковые, наши бесстрашные подруги!

Я уже отставил рюмку, Катя не пьет давно, один Гущин не унимается. Махнув на нас рукой, он наливает одному себе, вежливо чокается с бутылкой и опрокидывает в глотку. Катя поглядывает на него, опасливо двигая бровью. Но Гущин хмелеет мало. Вино только усугубляет качества, ему и без того свойственные: голос становится еще более раскатистым, движения — еще размашистей и плавней. Просто все существо его достигло высшей полноты бытия: все сурдинки сняты, жизнь звучит, как оркестр. Он расстегнул френч и быстро расхаживает по комнате — легко, ни за что не задевая. Под белой сеткой — выпуклая грудь, буреют соски. Левая рука в кармане, правая чертит в воздухе сложные линии. Он говорит о товаропроводящих каналах.

— Без параллельного существования государственной розницы твоя кооперация заматереет, разбухнет, заболеет подагрой, как раскормленный помещик. Ты мне, голубь, не возражай, у тебя колокольный взгляд. Частник идет насмарку, но госторговля — на нее вы оглядываетесь, вы с нею деретесь, конкурируете, и это хорошо. Это полирует кровь. Согласен: в деревне вы на своем месте, вы можете проникнуть дальше.

Но в городе — извини. В городах производство, фабричные склады, и на кой же ляд синдикату двигать товар в кооперативный центр, а оттуда — в первичный кооператив? Для накидок, что ли? Так синдикат, он и сам не дурак накинуть да обратить лишнюю монету на расширение производства. Нет, друг, госторговля была, есть и будет, как вы ни рыпайтесь.

Я слушаю его, откинувшись на спинку дивана, изредка вставляю замечания. Мне хорошо от почти физического ощущения их дружбы, оттого, что они уверены во мне, знают меня как партийца, как человека, и все, что я скажу или сделаю, не покажется им плохо: это сказал и сделал Журавлев, которого они знают по армии. С такой дружбой, со многими такими дружбами жить весело, все равно, что на коньках кататься. И однако — пора уходить. Я поднимаюсь, они уговаривают еще посидеть, — можно и ночевать, — потом Гущин яростно трясет мне руку и заверяет, что дело с «Табачником» гроша ломаного не стоит — завтра же будет улажено. Катя отыскивает мою кепку, ласково смотрит на меня. Обещаю ей от всего сердца бывать часто, каждый день, пойти вместе в театр, на концерт, в музей. И вот я за дверью.

Длинный, слабо освещенный коридор влечет меня по своему линолеумному лону, бесчисленные двери с белыми номерками, теснясь, несутся навстречу. Там, за ними, уснувшие жизни, притаившиеся судьбы; рубашки и блузки, беспомощно поникшие рукавами через спинки стульев. Вот это — лестница, которая сейчас втянет меня в свой круговорот и помчит ко дну. Но какое-то странное палевое сияние в тупике коридора привлекает мое внимание. Я иду туда и через распахнутые стеклянные двери вступаю на балкончик, повисший над огромной пустотой. В первое мгновение мне кажется, что я попал в центр колоссального звездного шара, наполненного движением массивов холодного воздуха. Потом я начинаю постигать детали этого шара, разграфленного сухими очертаниями пожарной лестницы. Верхняя половина — это небо, черное небо, кишащее яркими созвездиями. Нижняя половина — это город, опутанный нитями уличных огней. И внизу и вверху все время происходит тихая суета — огни дрожат, переливаются, мерцают. Город не только подо мной — нагромождение отсвечивающих крыш, тусклые щели переулков, — он обстал меня, края его, где огни стеклись в золотые слитки, высоко

загнуты; там город становится узкой черной тучей, опоясавшей горизонт. Лицо мое умыто ветром, дыхание свободно и чисто, небывалый восторг перед этой гигантской сферой сотрясает меня. Последняя ночь сентября! Любимый мой город, надежда мира, устало дышит внизу. Постепенно я различаю купола и башенки знакомых зданий, узнаю созвездия районов; мне кажется, что каждое из них сияет особым светом: вон там — красноватое, там — голубое, а здесь — нежнозеленое. О, конечно, районы великого города стоят небесных созвездий! Замирают шумы на площадях; уже поночному унылый, долетает собачий лай; на окраинах посвистывают вокзалы. Этот город — мужественное сердце страны, необъятной равнины, залегающей меж четырех морей и двух океанов. Страна начинается там, за вокзалами, под черной тучей; оттуда разбегаются во все стороны холодно поблескивающие рельсы; они пролетают мимо пакгаузов, прокопченных депо, под пылающими окнами заводских корпусов и вонзаются в ночные просторы. Там, под этим же звездным небом, спят полустанки, слепые деревни, древние городишки с базарными площадями и кольцами кремлевских валов. А за ними на тысячи верст, до самых морей, леса

и поля, — поля, ощетинившиеся жнивьями, изнуренные хлеборождением, отдавшие людям свою золотистую силу. В этот миг моя страна завершает годичный круг труда. Она сделала все, что могла: сыпучие горы зерна — на элеваторах, мягкий лен и заскорузлые кожи — на складах, душистые яблоки — в соломе, изящные рыбы — под ножом и в консервных банках. Все это уже тронулось с места, закружилось, устремилось в вагонах и в трюмах во все концы. Сюда, к моему городу, прежде всего! Сюда же ползут платформы угля, цистерны нефти; на полках вагонов трясутся студенты, положив под голову связку книжек и мешок домашней антоновки; возвращаются загорелые, сытые курортники с ящиками винограда. Вся страна в движении, все отдано на потребу этому городу — только не обмани, научи, переделай головы и сердца, дай разумную сталь и стальную мысль, перестрой жизнь так, чтобы она стала еще краше, чем сейчас, в тысячу раз милее и краше! И город не обманет. Вот он отдыхает тут, внизу, спокойный и тучный. Я знаю его, знаю каждый его тупичок, все его беды и упования, знаю его мучительное прошлое и его новых, отважных хозяев. Я ручаюсь за него! Он сделает все, что нужно. Немножко бестолково,

с маленьким опозданием, с легким изъянцем, но сделает, — клянусь осенними звездами! Вот я — незаметный человек, но любящий, верный сын его, — я отдам всю свою жизнь на это дело; мне самому будет радостно жить, потому что тысячи моих друзей и товарищей решили поступить так же; двоих из них я только что видел. Можно ли найти лучше их? И, однако, есть еще лучше! Сейчас они легли спать, катина горячая рука обвивает мужнину шею; они отдыхают, для того, чтобы работать. Отдыхай же и ты, мой добрый город! Спокойной ночи!

Когда я выхожу из подъезда, уличные фонари уже гаснут, вереницы их ослепительных шаров точно лопаются мгновенно и беззвучно, погружая улицу в хаос темноты. Лишенный света, я сразу отдаюсь во власть глубокого, счастливого утомления, словно огни были единственной опорой моей твердости. Что-то нужно мне сделать, куда-то пойти, но куда и зачем, лень думать. В безмысленном ликовании быстро шагаю по тротуару, — ноги идут легко, сами по себе.

Пустынная, сумрачная площадь; неподвижная шеренга автомобилей кажется мне стадом чудовищ, — они пришли на водопой к пруду и мордами приникли к воде.

Светящийся опалом круг циферблата показывает пять минут третьего. Ну, что ж, очень рад!

Отчетливо помню, что нужно итти все прямо и потом в третий переулок налево. Но это и не важно — как ни иди, все равно там буду. Косматый тулуп в дверях магазина просит закурить. Ах ты, господи, я же не курю, вот несчастье! Хотя можно купить и подарить ему. Оглядываюсь, но папиросников не видно, они ушли спать. Долго извиняюсь перед тулупом, но он уже ровно посапывает, — скажите, какая невежливость!..

Вот афишный столб на углу, он еще помнит меня с тех пор; следовало бы обнять его, но он такой толстый, рук не хватит…

Угловой дом — раз. Этот высокий с вывеской зубного врача Овечко — два. Потом ограда с обвалившейся штукатуркой. Высокая глухая стена, без окон — три. И вот — ворота. Но калитка не отворяется, сколько я ни кручу железное кольцо: заперто. Что за порядочки! Все равно, пойду через парадное.

Тяну к себе дверь, она поддается с ржавым визгом, с неожиданным грохотом захлопывается за мной, и в эту же секунду сердце мое обрушивается вниз всей своей тяжестью, со всем ужасом и болью, какие я знаю. Придерживая его рукой, чтобы

оно совсем не выпало, я всползаю по лестнице до площадки и здесь осторожно ложусь на спину.

Черная тьма обступает меня, заползает в открытый рот, гасит сознание. Но я даже радуюсь ей: поглоти меня совсем, уничтожь, только унеси вместе со мной это мучение, эту страшную неловкость! Нельзя же жить, когда сердце оторвалось и болтается на ниточке!

Мрак, пустота, мертвая тишина, и только оно одно существует в мире, колыхается, карабкается… Вот, кажется, улеглось… Но только я пытаюсь привстать, приподнявшись на локте, оно опять срывается и летит вниз.

Надо лежать спокойно. И я буду лежать, потому что надо жить, а это все пройдет, можно вылечить. Глупый невроз, который немного запущен. Бояться тут нечего. Только, может быть, это не невроз, а что-нибудь посерьезней? К врачу, к врачу! Или нет, даже к профессору! — пусть посмотрит, просветит рентгеном, и потом буду лечить. Нельзя же быть таким беспечным, этак станешь совсем инвалидом, и в конце концов пострадает работа.

Надо отдохнуть тут, отлежаться, а то слабость какая-то. И еще это самое, поганое беспокойство. Отчего оно? Чистов?.. Иванова?.. Нет, это

ничего, обойдется. Кто же тогда? Ах, да, этот, Синайский… В сущности, он, конечно, не председатель губсоюза, а укротитель тигров. Я это давно подозревал. Круглое бритое барственное лицо, нос с горбинкой, серая немецкая тужурочка. Ему еще нужен цилиндр и длинный бич, чтобы щелкать. Он страшно вежлив. Как он улыбался сегодня, — нежно, отечески! Аносова он похлопал по плечу. Пожалуйста, я очень рад, инициатива мест, критика центра периферией! Пересмотреть, разумеется, можно, но, с другой стороны, есть ли смысл? Хотя, конечно, следует заслушать ваши соображения. Но примите во внимание, что президиум уже взвесил и обстоятельно обсудил. О, да, — аудиатур эт альтэра парс. Однако, есть же предначертания, гибкость системы, близость к массам. Сизый румянец щек; щеки в улыбке; полная предупредительность. По желанию почтеннейшей публики. Хоп! Щелкает бич. Хоп! Бич обжигает сердце, оплетается вокруг него, тянет книзу.

Впадаю в странное забытье. Пошевелиться невозможно. Да я и не хочу — тогда опять все разрушится. Но я не сплю; медленно, на животах ползут хитрые мысли. Между прочим, эта лестница мне отлично знакома. Могу на пари:

если пройти еще один поворот, — направо будет дверь, обитая черной клеенкой. Квартира номер три. Звонок не кнопкой, а такой, чтобы повернуть пальцами, он заскрежещет, звякнет. Засим — большой, зеленый, жестяной ящик — *для писем и газет*. Еще — светлая медная дощечка. Если бы встать, я бы проверил, хотя и без того убежден. Но встать я не могу, я лежу смирно. Сердце все подрагивает, но колотится так, как нужно, со знанием дела.

Потом что-то резко визжит и хлопает. Это дверь внизу.

Кто-то поднимается по лестнице…

Что же делать? Вот положеньице… Встать?

Но он уже наткнулся на меня, вскрикивает:

— Кто тут?

Я хочу ответить, что болен, но почему-то слова не выговариваются. Человек тяжело дышит. Он поспешно громыхает коробком спичек, чиркает; вспыхивает свет. Это Сергей. Ну, что же, и пусть. Я этого ожидал. Наклонившись, он разглядывает меня и вот — узнал.

— Что за чертовщина! Это ты, Журавлев? Как ты сюда попал? — Он с трудом переводит дыхание. — Почему ты лежишь?

Меня охватывает какая-то беспечность:

— Очень извиняюсь, Сережа. Я болен, у меня сердечный припадок.

Он молчит. Спичка гаснет.

— Странная история, — говорит он недоверчиво, — каким же образом ты тут оказался?

Он меня раздражает!

— Ну, что ж тут удивительного: шел мимо, почувствовал себя плохо, пришлось зайти и лечь. Не на улице же мне лежать. Прости, мне трудно говорить.

— Постой, так ведь нужно же что-нибудь предпринять. Я сейчас за доктором сбегаю, тут есть близко. Ты как, очень страдаешь? Можешь потерпеть немного?

Он опять зажигает спичку и наклоняется надо мной; он гладит мне волосы; это неприятно. Я вздрагиваю и говорю ему почти с ненавистью:

— Пожалуйста, оставь. Мне никакой помощи не нужно. Иди себе спать. Я надеюсь, что…

Вдруг он отшатывается. Встает.

— Ах, ты сволочь! — говорит он медленно, с ужасным отвращением. — Да ты, оказывается, просто пьян. От тебя разит, как из бочки. А я-то с ним нежности развожу!

Я хочу перебить его, объяснить, пытаюсь приподняться, но сердце пускается в такую

немыслимую пляску, что я снова падаю: ах, все равно, пусть его думает, что хочет. Только бы не эта мука! А Сергей хохочет, захлебываясь и взвизгивая, невидимый в темноте.

— Так вот, как вы проводите внеслужебное время, милостивый государь! Отдыхаете от трудов праведных? Награбили — и пьянствуете?.. Какой же, однако, из тебя получился законченный мерзавец! Прямо хоть на выставку!.. Признаться, этого я все-таки не ожидал. Даже злобы особенной не было. Ну, что же, отказал в работе, не пожелал разговаривать и ладно: холодный политический расчет — зачем, действительно, пускать к себе в дело подозрительную личность? Наше время не для дружеских симпатий. Думаю, рачительный администратор, государственный муж, где ж ему снизойти до такого ничтожества! А государственные-то мужья вот чем занимаются! Весьма не прочь от милых человеческих слабостей, от зауряднейшего свинства. По кабакам, небось, таскался? На автомобиле, а? С девочками? Красота! Ах, ты, подлец, подлец! — говорит он с какой-то грустью в голосе. — Морду бы тебе набить, да мараться не хочется… Разве за милиционером сбегать? Вот это идея! Надо же и мне раз в жизни гражданский долг выполнить. То-то

будет сенсация: храбрый коммунар товарищ Журавлев по подъездам валяется, назюзюкавшись до положения риз! Может, заодно и растраточка какая-нибудь выплывет, вот и сослужу службу советскому государству. Замечательно!

Он поспешно сбегает по лестнице, но сейчас же возвращается. Опустившись около меня на колени, он говорит изменившимся голосом, глухо и хрипло, почти шепчет:

— А то, если денежки не все профинтил, могу Соньку позвать. Она вон там, по площади, третью ночь шляется. Я сейчас ходил смотреть, очень интересно. Девица, понимаешь, почтенного возраста, ей бы у самоварчика сидеть, закутавшись в пуховый платок, или супругу туфли вышивать. А она, намазанная, по тротуарам шландает. Однако еще не дурна. Только разговаривать с ней не рекомендуется, — сипит. А так вообще можно. Так как же, Александр Михайлович, наверное, вы не прочь? Ведь когда-то весьма и весьма интересовались, были даже некоторые грешки, знаю, знаю. Кстати, и семейству подспорье. Ко всеобщему удовольствию, а?

Он снова зажигает спичку, заглядывает мне в глаза.

— А, сволочь, гадина, гадина, гадина! — затряс-

шись, кричит он и плюет мне в лицо раз и другой. Потом вскакивает и бежит вверх по лестнице.

Я тоже подымаюсь и шатаясь спускаюсь вниз. С трудом отворяю дверь.

На улице светает, звезды истаяли в небе, оно молочно-белое и равнодушное. Переулок пуст, утренний ветер хозяйничает в нем, крутя бумажки и сухие листья.

— В таком городе, — бормочу я, придерживая сердце, — в таком городе!..

VII

Можно ехать. Машина губсоюза подана. Это — своего рода маленькое торжество, Аносов и Бурдовский были на хлебозаводе только вначале стройки. Тут требуется некоторый шик, — не на трамвае же ехать правлению, чорт возьми! Одетые, мы с Бурдовским заходим в орготдел. Аносов распекает инструктора Поплетухина. Он умеет делать это с уничтожающею корректностью.

— Не сочтете ли вы необходимым, товарищ Поплетухин, впредь осведомлять меня о всех претензиях со стороны порученных вам предприятий? Чтобы мне не приходилось делать большие глаза, как в данном случае, когда фабком…

— Хватит, Аносов, пора ехать, машина подана.

В глазах Поплетухина можно прочесть благодарность.

— А Иванова? — говорит Бурдовский. — Иванова, ты была на хлебозаводе? Нет? Так что же ты сидишь? Нам же веселее в дамском обществе.

Иванова смотрит на меня вопросительно.

— Едем, едем, Иванова, — места хватит.

В автомобиле мы с Ивановой усаживаемся рядом, Аносов с Бурдовским на переднем сидении.

Через минуту Аносов вдруг начинает рыться в своем портфеле.

— Да, вот, совсем забыл, я тебе приготовил акт приемки. Обрати внимание на пункт седьмой.

Я просматриваю акт. Вот оно: «После тщательной сверки складских сортовых книг с накладными за период с ноября 1925 года по июль 1926 года, обнаружено…»

— Об этом ты мне уже говорил. Но ведь явных доказательств, что тут фигурирует именно частник, нет. Приэтом кассовая сторона у них в порядке.

— А показания ихнего инструктора?

— В сущности, и инструктор не сказал ничего определенного.

— Ну, уж это только следствие разберет — определенное тут или неопределенное. Я ж тебе

говорю, что вся атмосфера у них чрезвычайно подозрительна. Уж меня мой нюх не обманет… Так как же ты решил — сообщать в прокуратуру или не сообщать?

Я молчу, раздумываю.

— Главная-то фигура у них, конечно, этот Потажицкий, — говорит Аносов. — Птица стреляная. Благородства сколько, осанки, — ух ты! Но и невооруженным глазом видно, что жулик. Скверно то, что он уже успел удрать куда-то, в Крым, что ли. Ищи теперь ветра в поле.

Мне быстро рисуется широкий пляж, накаленный усталым, но еще полетнему могучим солнцем. Густосинее море с белой оторочкой пены. Голые люди, блаженные, впавшие в детство, и яркие черные тени от них. Люди перебирают камни. Если зажать в мокрую ладонь круглый ласковый камешек, он оживет от влаги, расцветет всеми своими красками и полосками, а потом снова быстро растечется по нему, как смертный холод, тусклый, белый налет.

Пожилой счастливый человек в чесуче пьет двухсуточный кефир за столиком приморского кафэ. Рядом с ним великодушная дама с высоким бюстом. Подперев щеку рукой, — так, что один розовый пальчик с длинным ногтем касается

виска, — она мечтательно улыбается. Потом они неспеша возвращаются домой. Дом — белое кремовое пирожное на яркозеленом и синем, — как на открытке. В прохладном вестибюле человек в своем ящичке для писем находит пакет; он вскрывает его находу и вдруг останавливается посреди лестницы. Он тускнеет, как высыхающий камушек. Дама смотрит на него с беспокойством. Все пропало, рухнуло — впереди дождь, слякоть, позор, тоска…

— Адрес он оставил у нас в секретариате, — отвечаю я Аносову. — Завтра сообщи в прокуратуру.

— Так и следует, — добродушно говорит Бурдовский. — Я этого Потажицкого знаю; меньше, чем три года со строгой изоляцией ему самому обидно будет. Человек незаурядный, с масштабами.

Машина упруго потряхивает. В целлулоидном окошке уже мелькают деревянные, почерневшие от дождя дома окраины. Вот и лето прошло, окончательно, обжалованью не подлежит. До праздника уже меньше месяца, а у нас еще ничего не готово. Вот сядем в калошу перед райкомом, тогда прямо хоть вешайся! Ну, уж я жилы из всех повытяну, а будет у нас седьмого ноября открытие… Странно… Мне кажется, что Иванова осторожно прижимается ко мне. Нет, это просто

качает. Все-таки я стараюсь не глядеть на нее…

Вот и приехали.

Под дождем, по грязи, черной и вязкой, как смола, мы пробираемся к конторе. Бурдовский брезгливо морщится. У Ивановой увязает калоша. Рабочие, выгружающие из грузовика ящик с какой-то машиной, смотрят на нас иронически, посмеиваются. Это меня сердит.

— Чудаки, — говорю я им, — вы бы хоть доски от ворот проложили.

Перед правленцами я оправдываюсь:

— Двор, разумеется, будет асфальтирован. Но вы посмотрите, завод-то. Хорош?

Все в один голос признают, что завод выглядит солидно. Солидно! Он выглядит величественно! Три этажа, высокие окна, облицовка гранитной крошкой. Это — сенат, Ватикан, Вестминстерское аббатство, а не солидно!

Сайкин в конторе занят приемкой формовочных машин от агента.

— Ах, это формовочные прибыли? Ну, наконец-то! Сиди, сиди! Я и сам им расскажу не хуже тебя.

Благоговейно мы вступаем в двери завода, подходим к печам. Четыре печи уже затоплены.

— Прогреваем вольным духом для просушки, —

вежливо объясняет монтер Мельстроя.

Худощавый, грустный, очень интеллигентный, он похож на Христа, каким его рисуют в «Безбожнике». Мощные, красно-кирпичные печи уходят вдаль, как кремлевская стена. Я объясняю правленцам устройство дровяного конвейера и потом веду их прямо на третий этаж, чтобы им был яснее весь процесс, с самого начала, с подачи муки и просевания.

Завод еще не замкнулся в себе — двери везде открыты, и потому свободные сквозняки летают по залам, завод еще связан с пространством, со всеми его ветрами. Повсюду стукотня и цокание молотков, груды теса, ящики с цементом. Но уже сияют, как ледяное озеро, изразцовые полы; белизна стен и потолков уже обещает щепетильную, больничную чистоту; все просторно, все залито торжествующим светом.

Я показываю желоба, по которым бесконечный винт будет гнать муку, чтобы она сыпалась во второй этаж, в дежи, хвалюсь специальной машиной для выколачивания остатков муки из мешков.

— У нас ничего не пропадет!

— Вот это механизация! — восхищается Бурдовский. — Это Америка! Вот это я понимаю!

Возле бродильных камер Пузырьков с артелью навешивают двери. Их взяли сюда по моему настоянию для разных поделок. Пузырьков здоровается с нами, поздравляет.

— Ничего, махину порядочную соорудили, Александр Михалыч. Я таких заведений еще не видывал. Это не то, что в подвале, в грязи да в поту, с волосьями и тараканами. Тут уж хлебушек будет аккуратный, душистый.

Я смеюсь, торжествуя.

— Так что же вы скажете, Пузырьков, разве мы не оптики? Самого Филиппова обставили и кому хочешь нос утрем!

— Это все действительный факт, — щурится он, — только вот к праздничку расчетом не обидьте. Есть еще за вами должок, поря-ядочный должок…

— Ладно, не обидим. Кончайте только скорее отделку.

Мы осматриваем тестомесилки. Двурогие рычаги их скоро оживут для сложного месильного движения, и под ними яркожелтые, веселые дежи закрутятся, как разудалые толстухи на вечеринке. Проходим помещения для администрации, для завкома, для раздевальни, для душей и умывальников. Все предусмотрено, все на широкую

ногу — на зависть всем Европам.

— Ну, извини, — вставляет Аносов, — в Европе-то, конечно, есть и почище.

Бурдовский на него накидывается.

— Не подзуживайте, Василий Степаныч, душей-то для рабочих, во всяком случае, там не сыщете.

— И не только душей, — подхватываю я, — вообще таких заводов на Западе немного. Оборудование, может, и получше нашего, мельстроевского, но по размаху, по масштабу производства мы — одни из первых. Ведь три тысячи пудов суточной выпечки, три тысячи пудов! Весь район накормим.

В пекарном зале, облокотившись на выдвижной под, мы вступаем в жаркий спор с Аносовым. Оказывается, он еще не доволен, ему чего-то не хватает, он настроен скептически!

О, этот неисправимый Аносов! Раззадоренный, я еще раз принимаюсь рисовать им великолепную картину производства. Конвейер, подхватывающий мешки с мукой прямо у вагонов и влекущий их наверх, как прекрасных сабинянок (сабинянок я, конечно, оставляю про себя)! Автоматическая отвеска муки! Таинственное томление деж, которые герметически закупорены в камерах, как пленницы гарема, чтобы

ни один взгляд неверного… (это тоже про себя). Опрокидыватели, тестоделители, формовочные машины! А после печения — подвижные этажерки с хлебом, выезжающие в соседний зал! Грузовики, нетерпеливо пофыркивающие у подъезда, чтобы ринуться в город с этим теплым, пухлым, сладкодышащим грузом! При всем том — меньше сотни рабочих, снижение себестоимости, максимум чистоты и вкусовых качеств!

Аносов стоит потупившись и руки за спину, Бурдовский восторженно кивает, а Иванова — та не спускает с меня влажных, сияющих глаз. Ага, я очень рад, что ее так волнуют проблемы хлебопечения…

К нам подбегает мальчишка с мокрыми от дождя волосами, в огромных, как ведра, сапогах:

— Кто здесь Журавлев? В контору, к телефону…

Мы все идем в контору.

— Кто? Кулябин? Ну, в чем дело?.. Да что ты говоришь?!. Превосходно!.. Значит, подействовало… Ладно, ладно, обязательно… Завтра, с утра, на собрании уполномоченных… Всего…

Обрадованный, я оборачиваюсь к правленцам:

— Ну-с, поздравляю. Губсоюз согласен пересмотреть вопрос о «Табачнике», получена телефонограмма. Завтра в три заседание президиума.

Вася, приготовь все материалы. Едем, товарищи!

Сегодня роскошный день. Все идет, как по маслу. Ну, разумеется! — Аносов каркает, что из пересмотра ничего не выйдет. Уж такая его должность.

— Мрачный пессимист! — говорю я ему. — Завтра ты будешь посрамлен. «Табачник» исчезнет с лица земли, яко исчезает дым… Конечно, на президиуме мы не должны ударить лицом в грязь. Вася, будь во всеоружии своей логики!.. Кстати, с утра у нас собрание уполномоченных, и там мы поставим этот вопрос. Решение совета еще больше укрепит нашу позицию. Итак, вперед, без страха и сомненья!..

У остановки трамвая мы прощаемся. Им — по домам, а мне — на пленум шефбюро. И я опять опаздываю. Чорт знает, что! Я становлюсь ужасно распущенным.

Пулей влетаю в райком, ищу заседание.

Вот так фунт, пленум не состоялся! Серьезнейший пленум, где должен был обсуждаться план октябрьских торжеств в подшефных волостях! И я — один из виновников. Нет, решительно необходимо подтянуться. Из-за меня срывается работа важнейших организаций. Это же — политическое преступление…

Обескураженный, шагаю по улице. И вдруг останавливаюсь. Собственно, куда же мне итти? К завтрашнему докладу на совете я давно подготовился; «Красный табачник» — вся аргументация в голове, больше ничего не прибавишь; кружки — материала для бесед хватит на три занятия… Вот странно! Свободный вечер, и некуда итти… Разве к Гущиным? Но их, наверняка, не застанешь — рано. Дома тоже, наверное, никого. У Нади — конференция.

Я испытываю непривычное беспокойство — от того, что не о чем беспокоиться. Все сделано, все улажено. Даже с Толоконцевыми устроилось. Проклятый Палкин, наконец, двинул дело. Если бы я не наскандалил тогда в райсовете, оно бы стояло до сих пор. Отвратительная манера — наобещать с три короба и потом — невинные глаза: какие Толоконцевы? Ах, эти самые… Люди могут подохнуть с голоду, сойти с ума, сгнить от какой-нибудь мерзости, и тогда подоспеет помощь…

Теперь-то все в порядке — знаю достоверно: было обследование, дали временное пособие и возбудили ходатайство о пенсии… Все-таки лучше, чем то, что было…

Но куда же, однако, мне податься?.. И все этот несостоявшийся пленум! Если бы он состоялся,

вечер прошел бы, как всегда, незаметно, и не было бы этой пустоты…

Дождь перестал, но воздух насыщен сыростью. Мутное небо освещено лиловатым заревом, — город уже пытается отблагодарить небо за свет, ниспосланный втечение дня. В такие вечера этот город лучше, чем всегда. Он создан для осени, для того, чтобы заявлять ее ненастьям и туманам о своей независимости: пусть в пространствах тьма, хляби, промозглые, бесприютные ветры — у него свой свет, своя теплота, надежные крыши, зонтики и калоши. Лужи только прибавляют ему яркости; мокрые трамваи, тротуары, кожаные верхи пролеток сверкают; туман, пронизанный автомобильными лучами, как бы извещает о приближении сияющего божества; кино стало дворцом, ледяным домом, в котором происходит торжественная свадьба.

Разве зайти в кино? Как раз эту вещь очень хвалят в газетах. Первая работа молодого русского режиссера. Кто-то советовал мне непременно посмотреть… Сколько лет я не был в кино? С незапамятных времен. Последний раз — это было что-то с Мери Пикфорд. Очень недурно, увлекательно, но с этакой американской слащавостью. Надо же мне познакомиться с *нашим* кино!.. И вот

меня уже толкает и влечет толпа в этом царстве света, теплой духоты, запахов мокрой одежды и женских духов.

Я выхожу на улицу, под дождь. Волнение, нежность и восторженная ненависть, рожденные виденным, сливают сетку дождя в сплошную золотистую, колыхающуюся завесу. Может быть, это оттого, что я так долго жил без искусства, и сейчас оно утолило давнишнюю, безысходную жажду? Нет! То, что я видел, действительно прекрасно. Я — зритель — тут непричем. Эта артистка! Я же ее знаю давно, — превосходная артистка. Но как это она, столичная интеллигентка, женщина тончайшего и замкнутого круга, могла так переродиться?! Она играет эту забитую и кроткую старушонку, будто сама родилась на заводской окраине. Будто для нее самой вся надежда в этом знамени, которое раньше беспомощно распластывалось на мостовой, а теперь вьется над куполом дворца... Значит, и вы стали другими, старые мои друзья? Значит, и вы работаете для нашего дела?

Я даже выпячиваю грудь слегка, — так мне гордо и весело, что я человек и такого времени. Подметки у меня немножко худые, носки отсырели и холодят, но я легко и отчетливо ставлю ногу,

шагая по темным, с отливом, камням.

Незаметно для себя, захожу в магазин. Вспоминаю, что мне нужно купить что-нибудь к ужину. Здесь много народу. С восторгом, от которого слегка качает, убеждаюсь, что люди моего века — прекрасны: вот этот худой человек с длинным, посиневшим носом и стареньким шарфом вокруг шеи, и даже вот эта дама в шляпке, с неумело подкрашенными губами.

— Прелести мои, милые мои! — шепчу я им и не решаюсь протискаться к прилавку, чтобы кого-нибудь не обидеть, — современники мои!

Класс… Победитель… Страна меж четырех морей… Необъятная жизнь… Обрывки мыслей проносятся в голове, как дождь, мелькающий в свете фонаря. И когда вежливый, усталый продавец, круглолицый старик, в белом фартуке, спрашивает у меня «вам что угодно?..» — я теряюсь от боязни требовать чего-то от этого доброго, точнейшего работника (имею ли я право?).

— Пожалуйста, будьте добры… Четыреста граммов голландского сыра…

И продавец — милый, серьезный, опытный (служит революции!) — ласково, как человек человеку, отвечает мне:

— Пожалуйста.

Стоя в очереди у кассы, я думаю о даме с неестественными губами, — нет, не думаю, просто летят во мне стремительные радости. Губы!.. Но она же в нашей стране, те, будущие, потомки, не различат ее губ, — она жила в это великое время, она мучилась, она бедна, ведь, как все мы, не как те, на Западе, чопорные и трусливые… Она современница моя, читает наши слова, видит наши знамена…

Тут подходит моя очередь. Но сбоку притиснулся человек, на руках маленькая девочка в капоре. Изогнувшись, он сует деньги в окошечко. Я отступаю почтительно и радостно (с ребенком!), хотя задние заворчали. Стекло кассы плывет в сиянии. Кассирша уже смотрит на меня, ожидая. Поспешно кладу свои монеты на стеклянный кружок, с которого человек с ребенком неловко, левой рукой собирает сдачу. Мои монеты смешиваются со сдачей. Человек оторопело оглядывается. Все это происходит в одно мгновение.

Кассирша вскрикивает раздраженно:

— Ну, что еще такое!.. Вы сколько дали?..

А я не помню, сколько я дал:

— Пятьдесят пять… семьдесят пять…

Касса и стены дрогнули, сияющая паутина пошла от ламп, смущение, смущение до слез душит

меня, кровь хлынула к щекам.

Кассирша презрительно выбирает из грудки денег копейки на сумму сдачи.

— Простите! — выдавливаю я и оглядываюсь на сердитых, которые напирают. Злые лица… И сердце срывается, затрепыхавшись совсем бессмысленно, потеряв все границы обычного, с какой-то новой, незнакомой и ужасающей болью. Согнувшись, стыдясь, что заметят, я беру чек, иду к прилавку. Но понимаю, что сейчас упаду, и прислоняюсь к колонне. Народ, не понимая, смотрит на меня.

Потом кто-то берет меня под руку и ведет к выходу. В руку мне суют сверток. Спрашивают, где я живу, подзывают извозчика. Широкая спина заслоняет весь мир.

Я быстро прихожу в себя. Все та же спина колыхается впереди. Сердце бьется спокойно и твердо. Выглядываю из-за поднятого верха — подъезжаем к дому. Как скоро все кончилось, не пришлось даже ложиться! Возможно, что дело идет на поправку. Как бы это было хорошо! Жизнь у меня такая удачная, такая широкая, и только одна эта болезнь начинает ей мешать.

Поспешно расплачиваюсь с извозчиком и тороплюсь нырнуть в ворота — дождь все идет. Но

у ворот стоит Сморчок; он кивает мне и манит пальцем. Это его обычный пост, тут он просит милостыню. Приготовив пятачок, подхожу к нему.

Каким-то образом Сморчок очень часто меняет свои одеяния: сейчас на нем суконный красноармейский шлем без звезды и кожаная куртка, протертая добела. Я сую ему монету и хочу уходить, но он берет меня за плечо, наклоняет к себе и быстро шепчет на ухо, обдавая сивушным перегаром:

— Ваше благородие, господин комиссар, добренькие глазки, прибавь гривенничек на упокой души. Там тебе хозяин язык показывает, ты его не бойся. Дунь, плюнь, разотри, его черти слопают. А твоей душеньке на салазочках кататься, все прямо, потом налево, в кривом переулочке, по белому снежку…

— Что ты болтаешь, Сморчок! Пусти! — Я вырываюсь и бегу во двор.

Совсем пропадает человек! — помешался окончательно…

Раньше, чем я успеваю позвонить, мне отпирает Агафья Васильевна, дворничиха. Вероятно, она увидала меня в окно.

— Александр Михалыч, — говорит она возбужденно и радостно, — грехи-то какие, хозяин наш

повесился нынче. — И широко крестится.

— Что, что, какой хозяин?! — восклицаю я, леденея, и уже знаю все.

— Известно какой, Чистов, Захар Матвеич, домовладелец. — И начинает тараторить: — Утром им из суда бумагу принесли, они куда-то сходили на полчасика и к себе вернулись. Потом к ним Птицын пришел — узнать, когда они выселяться будут. Стучался, стучался, а дверь-то заперта. Он тогда пошел со двора заглянуть, в окно и увидал…

Не слушая ее, бегу в комнату Чистова.

— Да их уж нету! — кричит мне вслед Агафья Васильевна, не поспевая за мной. — Тут в обед милиция была с дохтуром, и увезли… на вскрытие, что ли, уж я не знаю… Хотели помещение опечатать, да увидали, что тут и опечатывать-то нечего, и правление упросило. Сюда Зубцовых из подвала хотят вселить, у них из-под пола вода течет. Завтра въезжают, — рады-то как, прямо сказать невозможно…

Дверь открыта; темно. Агафья Васильевна услужливо забегает вперед и повертывает выключатель.

В комнате пусто, только у стены железная кровать с полосатым, продранным матрасом, рваное

лоскутное одеяло — на полу; у другой стены стол, на котором куски фанеры, картонная палитра красок, осколок стакана с мутной жидкостью и лобзик с лопнувшей пилкой. Кончики пилки дрожат. В углу киот красного дерева, черные лики икон. Опрокинутый стул, повсюду обрывки тряпья, скомканная бумага, всякий хлам. Драные обои свисают клочьями. А где же?.. Вот оно: под темным потолком, на крюке для люстры, болтается обрывок веревки…

Я стою неподвижно и с каким-то диким любопытством всматриваюсь в каждую мелочь: вот на полу туфля, отороченная мехом, рядом — грязный, крахмальный воротничок, круглая коробочка из-под гуталину… И следы, следы, мокрые следы по всему полу… Три готовых паяца на стене вытянулись рядом, руки по швам. Окно почему-то распахнуто настежь, сырой ветер порывами залетает в комнату, и, как будто бы, паяцы начинают шевелиться, двигают ручками, выкидывают коленца…

Агафья Васильевна подходит ко мне и с ужимкой сует в руки кусочек картона. Я смотрю на него с недоумением. Коренастая женщина с большими грудями, совсем голая, в черном, монашеском платке. Она снята боком, но лицо ее обращено

ко мне — широкое и светлое, с крутыми дугами бровей; оно улыбается мне застенчиво и вызывающе…

— Ихняя милашка, — поясняет Агафья Васильевна, — из Скорбященского монастыря… Дольше всего с нею прожили Захар Матвеич, крепко она за него уцепилась. А уж такой завсегда козел были, не приведи, господи…

Я бросаю карточку на стол и бегу из комнаты. Наша дверь заперта. Не отпирая, я кидаюсь через кухню во двор, к Птицыну.

Он сидит у себя в углу перед верстаком, согнувшись над ботинком. При моем появлении сразу вскакивает и кидает ботинок на пол.

— Вот ведь несчастье какое, Александр Михалыч!..

— Кто его выселил?! — ору я на него. — Кто вам позволил выселять?! Идиоты, мерзавцы!..

Губы Птицына начинают дрожать, машинально он вытирает руки о передник и смотрит на меня с испугом, непонимающими глазами.

— Вы же сами, Александр Михалыч, — шепчет он боязливо…

— Что такое, я сам? Как вы смеете! Что вы этим хотите сказать?

— От вас же бумажку… Вы же сами бумажку

тогда прислали. Мы хотели вас спросить, да вас никак застать нельзя. Ну, мы копию сняли, послали в суд, и выписку, потому как все согласны… Самсонова на суд вызывали, он там показание давал…

— Что вы врете, какая бумажка? Когда я вам присылал? Покажите сейчас же, что такое?!

Птицын поспешно лезет к себе под верстак. Пока он роется там, я мечусь по комнате. Погубили человека! Казнили, повесили! Несчастные тупицы, палачи!

И вот, он протягивает мне крупно исписанную четвертушку. Я гляжу на нее и не могу читать. И вижу подпись: *Ю. Журавлев*.

Комната валится набок.

— Ведь это сын мой написал, — кричу я в отчаяньи, — пионер, мальчишка!.. Ведь вы же видите: Ю, Ю, Ю!..

VIII.

Передо мной — Кулябин.

— Ну, идем, что ли, все собрались, — говорит он оживленно, как никогда. — Ты что это нынче какой квелый?..

— Так. Дома неприятности большие. Пойдем.

Захватываю материалы, и мы направляемся в

зал собраний. Какое темное, мокрое утро! Какая тоска! Как же жить на свете?..

Я усаживаюсь за столом президиума и оглядываю собравшихся.

Понемногу я начинаю светлеть. Кругом все знакомые, славные лица. Наш актив — наша гордость! Поищите-ка в другом кооперативе такой состав уполномоченных! Каждый из них на своем предприятии — это наш неутомимый полпред, агитпроп, защитник. Это все Аносов, честь ему и слава! Талант у него работать над людьми! Собрать, каждого взять на учет, под свою опеку, ни одного не упустить из виду, терпеливо натаскивать, жучить, продвигать вперед. Не работник, а золото! С такими помощниками все свои беды позабудешь…

Сейчас я буду говорить им о самом для меня важном, заветном — об общественности. Мы не лавочка, не заурядные торгаши, мы — кооператив! Нам нужно добиться, чтобы наши пайщики были не ворчливыми покупателями, а заботливыми хозяевами дела, чтобы домохозяйки не судачили у плиты о наших непорядках, а исправляли их сами, своей рукой, работая в наших организациях. И вот что мы должны сделать для этого…

Аносов открывает собрание.

— Слово для доклада предоставляется товарищу Журавлеву.

В зале легкий шорох, откладывают газеты, усаживаются поудобней, двигают стульями. Я встаю.

— Дорогие товарищи! — говорю я, стараясь вложить в это великолепное, неувядаемое слово как можно больше ласки и гордости. И замолкаю. Я слышу резкий, повелительный толчок изнутри.

Стены, лица собравшихся — весь зал озаряется вдруг алым светом, грохот раскалывает его. Зеленое сукно стола, чернильница, пресспапье летят мне навстречу.

* * *

Аносов просматривает список почетного караула. Почти все налицо. Вообще, кажется все в порядке, все сделано. Объявление было в трех газетах, райком обещал назавтра дать от себя, райсовет тоже. На кладбище все готово; венок будет завтра к двенадцати. Хватило ли траурных повязок? Да, вон еще сколько их на подоконнике. Булавки тоже еще остались…

Можно и отдохнуть. Аносов прислоняется к стене, закрывает глаза.

В зале тихо, слышен только осторожный шопот, шарканье ног, да немолчно гудит вентилятор.

Аносова одолевают усталые, трудные мысли. Так захлопотался, что до сих пор некогда было даже подумать. Все это стряслось так неожиданно. Ведь он никогда не жаловался на болезнь, да и на вид был довольно крепок. Еще накануне был такой веселый, в приподнятом настроении, на хлебозаводе восторгался каждой мелочью. Правда, утром лицо у него было нехорошее, очень бледное, под глазами круги. Кулябин говорит, что дома у него случилась неприятность, повесился какой-то жилец. Но для него-то в сущности, какое ж это горе?

Эх, не следовало выпускать его на доклад! Может, если бы не нервное напряжение, все и обошлось бы… Да кто же мог предвидеть? И потом порок сердца, все равно…

Как это было?

Вот он встает, проводит ладонью по лбу — как всегда, будто смахивает что-то. Оглядывает собрание, начинает говорить. И вдруг замолкает, хватается за сердце, секунду смотрит перед собой остановившимися глазами. Все вскакивают с мест, а он качнулся и падает, падает ничком на стол. Лбом ударился об ручку, ручка полетела со

стола и вонзилась в пол, трепеща. Кинулись к нему, подняли, положили на пол, расстегивают ворот. Он уже не дышит…

Эх, Журавлев, Журавлев!.. Отдохнуть бы тебе, как следует, полечиться бы, может, и пожил бы еще, поработал…

Аносов открывает глаза.

Длинный красный гроб стоит на помосте; в изголовьи — темные бархатные знамена; тяжелые золотые кисти почти касаются русых зачесанных назад волос. В зале очень светло, зажжены все люстры, и от знамен на запрокинутое лицо покойника падает алый отсвет; высокий лоб с дорожками облысевших висков поблескивает, как кость. Широкий нос с крупными ноздрями заострился, стал тоньше, изящней. Лицо спокойно и строго, только щетинка небритых щек и подбородка придает ему живую обыденность.

«Сильно изменился, — думает Аносов. — Это оттого, что улыбка пропала, — он ведь все улыбался… А теперь суше стало лицо».

На цыпочках подходит Трофим Егорыч. Он кивает на гроб, разводит руками:

— Несчастье-то какое, Василий Степаныч. Кто бы мог подумать и как все сожалеют! Светлая личность были Александр Михайлович,

благороднейшей жизни человек. И какой снисходительный начальник!.. Я уж, Василий Степаныч, в Нашу газету послал небольшой некролог, обещали завтра напечатать. Отметим также и в стенной газете эту скорбную утрату… Как вы полагаете, Василий Степаныч, кого же теперь назначат председателем? Из числа членов правления или кого-либо со стороны?

— Да отвяжитесь вы, Трофим Егорыч, — отмахивается Аносов, — ну вам-то какое дело? Кого изберет собрание уполномоченных, того и назначат…

Трофим Егорыч испуганно качает головой и отходит на цыпочках, слегка балансируя руками.

Пора сменять караул.

Брух, Иванова и двое завмагов отходят от гроба. Иванова идет к окну, садится с ногами на подоконник и кулаками подпирает щеки; веки у нее красны, губы распухли. Голова ее постепенно никнет в колени.

Аносов ставит в караул Пузырькова, по другую сторону гроба — высокого человека во френче защитного цвета и светловолосую женщину, его жену. Кажется, это армейские приятели Журавлева. Четвертое место у изголовья должна занять вдова. Она неподвижно сидит у стены,

уставившись на покойника. Глаза ее остры и сухи. Рядом с ней сынишка Журавлева, пионер. Аносов подходит к ней и говорит шопотом:

— Ваша очередь, товарищ Журавлева. Будете стоять? или, может быть, не стоит, посидите?

Молча, не отрывая глаз от гроба, она встает. Аносов помогает ей снять пальто, передает его пионеру.

Вот она встала у изголовья.

Аносов размышляет над списком караула. Бурдовский, вероятно, не придет. Говорил, что не здоров. Шляпа! Просто боится покойников, знаем мы его!.. Гиндин приходил, повертелся и ушел. Сказал, что вернется, но надежды мало: у этого жена молодая, не любит, чтобы отлучался по вечерам — ревнует, видите ли… Райкомщики тоже все не идут, у них сегодня собрание секретарей. Хотя и обещали, но навряд ли явятся… Аппаратчики! — кривится Аносов, — можно бы, кажется, отложить собрание, — не каждый день умирают Журавлевы…

Заботливо он оглядывает зал. Караул выстаивает исправно. Пузырьков вытянулся, руки по швам, смотрит прямо перед собой, не мигая. На нем сегодня аккуратный пиджачок и новая черная косоворотка. Светловолосая женщина с той

стороны гроба упорно глядит на лицо покойника, потом переводит взгляд на мужа; по щеке у нее медленно ползет слеза. Муж ее повоенному браво выставил грудь вперед, подбородок приподнят, но глаза опущены, брови нахмурены. Вдова, невысокая, полная женщина с волосами, остриженными в кружок, застыла неподвижно, — так сначала кажется Аносову, но, приглядевшись, он замечает, что женщина тихонько покачивается, вперед и назад, вперед и назад; тогда он подзывает Кулябина, который до сих пор сидел в углу, с растерянным и жалким лицом. Знаками Аносов показывает Кулябину, чтобы тот, на всякий случай, встал позади вдовы. Кулябин становится там, неуклюже расставив ноги и руки, как будто бы собирается что-то ловить; рот его слегка открыт от напряжения.

Пионер, худенький, коротко остриженный мальчуган, сидит на стуле, держит пальто матери на коленях; он всем корпусом подался к гробу, тонкая шея у него вытянута.

К Ивановой подходит Мотя; лицо ее замерло в каком-то изумлении, брови приподняты; она осторожно трогает за плечо Иванову, та поднимает голову. Мотя подсаживается на подоконник, и они начинают тихо говорить о чем-то.

В толпе, сгрудившейся у двери, происходит легкое движение. От дверей пробираются двое — высокий человек в пальто с протертым бархатным воротничком, и позади женщина в яркозеленой шляпке. Они приближаются к гробу и останавливаются. Аносов глядит на них с недоумением, — кто такие?..

Женщина, слегка наклонившись вперед, пристально смотрит на лицо покойника. Она напудрена так сильно, что, кажется, если постучать, щеки ее зазвенят, как гипс. Из-под шляпы, возле ушей, выпущены завитые колечки черных волос. Спутник ее сначала тоже смотрит на гроб, прищурившись, затем начинает беспокойно оглядываться по сторонам. Пробегает глазами полотнища и бумажные лозунги, развешанные по стенам, едва заметно усмехается. Он наклоняется к женщине, что-то шепчет ей. Та отрицательно качает головой. Тогда он пожимает плечами, поворачивается и, сутулясь, уходит в толпу. Женщина остается. Темные глаза ее широко раскрыты.

Тишина в зале достигает высшей чистоты. Никто не шелохнется. Только вдова раскачивается все заметней. Она смотрит теперь на грудь покойника, где сложены его руки с худыми, длинными

пальцами. Она все качается, все качается, но не сходит с места, не падает. Аносов и Кулябин не спускают с нее глаз.

Напряженно гудит вентилятор.

IX

НОВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

23 000 пайщиков. Новые магазины и столовая. Накануне открытия хлебозавода.

12 декабря с.г. состоялось торжественное открытие N-ского районного рабочего общества потребителей. Кооператив организован из трех объединившихся обществ потребителей. После проведенной перерегистрации и вербовки пайщиков количество его членов достигает 23 000 человек. Обороты кооператива в текущем хозяйственном году достигнут внушительной цифры — около миллиона рублей.

Многолюдное собрание было открыто председателем райсовета *т. Палкиным*, который предложил почтить вставанием память недавно скончавшегося председа-

теля правления к-ва *т. Журавлева*. Затем с большим докладом о деятельности и ближайших задачах кооператива выступил новый его председатель *т. Симаков*, который сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о присоединении к N-скому кооперативу кооператива «Красный табачник», после чего N-ский кооператив станет единственной мощной кооперативной организацией в районе. Докладчик осведомил собрание, что в этот же день состоялось открытие трех новых магазинов кооператива, большой столовой при заводе «Путь к победе», трех уголков матери и ребенка и пр. В ближайшее время будет открыт заканчивающийся постройкой хлебозавод с производительностью 3000 пудов хлеба в сутки, две столовых и т. п.

По окончании доклада состоялся концерт.

Мих. Голодный
У дверей твоих брожу я...

У дверей твоих брожу я,
У дверей твоих хожу я;
За окном и мрак и тишь.
Спишь ли ты или не спишь?

Спит он, спит он, город гулкий.
Перекрестки. Переулки.
Реки темные. Мосты.
Всюду — ты и ты, и ты.

Чем, скажи, тебя обидел.
Не знавал других, не видел.
Сколько знала ты других,
Сколько отдала для них?

Ветер. Холод. Мостовые.
Люди. Тени неживые.
В небе месяц, как бельмо,
Что ж она — любовь, ярмо?

Братцы! я любил девчонку;

Пел ей песни, звал ребенком,
А она меня, смеясь,
Обманула двадцать раз.

Осенняя Москва

Все бело: человек,
Дома над головой.
Осенний первый снег
В Москве и над Москвой.

Снежинкам падать лень,
Кружат они, кружат.
Опять авто гудят,
Встречая новый день.

Довольное лицо,
Спокойный резкий взгляд,
Выходит на крыльцо
Товарищ бюрократ.

Ой, ой забавно как!
Он щурится на свет!
А хорошо бы вслед

Спустить ему собак!..

Темно. Темней. Сухой
Все сыпет, сыпет снег.
Спешит к жене домой
Печальный человек.

Чудаки

Поэтов много собралось,
Мне видеть всех их довелось,
Я слушал их и думал: всяк
Из них посвоему чудак.

Один из них, безбожно пьян,
Забавно целовал стакан
И говорил: «Меня здесь нет.
Я опоздал на сорок лет».

Старик со шрамами на лбу
Сказал: «Друзья, я пел борьбу,
Я звал на битву, битвы сын,
И вот взгляните — я один».

Вон белокурый. Спит — не спит?

Нет, горько плачет он навзрыд:
«Поля мои, знакомый дом,
Висеть мне ночью над окном».

А самый толстый и тупой
Сказал, качая головой:
«На вас глядеть — повесишь нос,
Нет хлеба — мы найдем овес».

Из тех, что были, многих нет,
А скоро ли придет рассвет?
Быть может, по дороге к нам
Он весь достался чудакам?

Евсей Эркин
О, щебет рассветной дороги!

О, щебет рассветной дороги!
По пояс клубится туман.
А из лесу, как из берлоги, —
Растущее солнце. И дроги
Грохочут под говор крестьян.

Догонит меня лошаденка,
Окинут глаза старика.
В сиреневый дым бороденка.
Копыто визгливо и звонко
Ударит в кремень бугорка.

И мимо, — с кустарником вровень.
И влево, — где ельник и дуб
Так зелено-полнокровен,
Где много распиленных бревен
И птиц, и грибов, и халуп.

Как плещется летнее небо,
В нем синь одичалых гвоздик!

Туман догорает, но где бы —
Он ищет — от рыжего хлеба
Укрыться в тенистый тупик:

В лесу еще сыро, роса там...
И тянется к чащам лесным...
Колеса сухим перекатом
Гремят по полям полосатым,
Картофельным и аржаным.

Иду. Про себя напеваю.
И столб телеграфный поет.
Дорога прямая, кривая,
С ромашковой россыпью с края,
С мечтою, летящей вперед!

Амир Саргиджан
Напевы

1.

Как опустив кувшин свой в водоем зеленый,
Ты вынешь воду, чистую, как воздух,
Так в глубине окраин и предместий
Черпает жизнь дыхание событий.

2.

Когда, очнувшись по́утру у милой,
Замечу я
На ней цветок измятый,
Мне кажется,
Что это смято сердце…
И я встаю и ухожу скитаться.

3.

Если бы песнями сделать
Выкрик казнимых,

Если бы жизни соткать,
Как ковры, из сказки, —
Много было б на свете
Песен прекрасней жизни,
Много было бы жизней,
Больших, как замысл…

4.

Бледный мальчик глядит на звезды:
«Говорят, там такие ж люди»…
Мы ж любовно проходим землю,
Ведь и звезды, верно, такие ж!

5.

Когда-нибудь стихи машиной станут делать.
Но и тогда, поэтом будет тот,
Кто во-время машину остановит.

Ковры

Горами проходят стада,

На пастбищах пыльных пасутся.
Под тяжестью меха, всегда,
Им лень от земли отогнуться.

Но лето бока их нажжет,
Хвосты ожиревшие шаром,
И шерсть с них под солнечным жаром
Красавица с песней стрижет.

Расчешет руно и расправит;
Промоет, просушит, и вот
Красильщик, скрутивши его,
В сияние красок оправит.

Не чудо ль, недавняя шерсть
Шелками ложится на персть,
Цветет на руке лепестками, —
Ни взять ни ощупать руками!

Не чудо ль, туранская пыль,
Шершавый туранский ковыль,
Вдруг стали не шерстью, а пеной
Под песней красавицы пленной!

А голые овцы орут
И пыльные пастбища мнут.

Но если жилище прохладно,
И муж принесет ей цветок,
Ткать будет легко и отрадно,
Послушней забьется челнок.

Нить синяя — грусть означает,
Нить красная — значит любовь,

А желтая нить молочая
Таит долголетнюю боль.

Узор расцветает, как роза,
Над розой кувшин и луна,

И черною ниткой — угроза —
Очерчена тень кувшина.

Но самая жгучая мука
Лиловая нитка — разлука.

Из нитей сплетая узоры,
Из дней месяца и года,
Все ткет и, потупивши взоры,
Мечтает: «Возьмет города,

Врагов распугает, и снова
Вернется супруг дорогой...»

И тихо вплетает в основу
Нить белую — ревность — к другой.

И вот, доведя до предела
Кайму по ковру, по тонам,
Свой локон, чуть-чуть поседелый,
В узоры вплетает она…

Читай эти хитросплетенья
Нежданных фигур и тонов,
Где легкие пальцы в смятеньи
Вписали мерцание снов.

Узор завершен до вершины.
Но брезжит сквозь радость ковра
Под хлесткою плеткой мужчины
Родная, как сердце, сестра.

Н. Огнев
Девочки

(ИЗ 2-Й ЧАСТИ РОМАНА «ВЕЛИКАЯ КРИВАЯ»)[1]

Москва пылала ядовитыми лиловыми огнями, гробы домов вертелись прыгали, неслись в вечность на пламенных колесах реклам; Тверская вставала от Трухмальных до Охотного неизбываемой, незабываемой во все времена, пространства и сроки мученической, крестной, женской голгофой, огненно-желтым билетом капитала, — клейменым билетом, сифилитическим билетом, прожженным гноем на три аршина под камни мостовой.

---

[1] Примечания: 1

Кривая исключительных мировых, страшных и величайших в своей красоте событий, потрясших мир и перевернувших шестую его часть для того, чтобы в недалеком будущем перевернуть и остальные пять шестых, и вместе с тем кривая мысли, переживаний, чувств, чувствишек, резиньяций не очень даже мелкого российского человека, прихлопнутого событиями, и вместе с тем выбарахтывающегося из-под них, чтобы хоть одним легким вздохнуть — пусть не в настоящее, а в прошлое, в будущее — куда-нибудь, куда ни попало.

Вот — в самых кратких чертах основное романа.

Сюжетно — так: из смерча девятнадцатого года бывший экспроприатор Борис Кондратьев попадает в прошлое самым наичудеснейшим, конечно, образом. Попадает по своему желанию, с целью отыскать в этом прошлом следы любимой своей девушки Аги. В прошлом переживает вновь уже однажды пережитое, но сквозь двойное зрение, сквозь

призму пережитого в девятнадцатом. Не выдерживает того страшного, что таилось в прошлом, и тем же чудесным порядком переносится в будущее — в последнюю грандиозную схватку народов и классов. В схватке этой погибает, так и не разыскав свою невесту.

В предлагаемом отрывке Кондратьев накануне своей первой экспроприации встречается с руководителем «экса» капитаном.

Н.О.

В ресторане Козлова, наверху, размашисто шагая, в белых подштанниках под Тестова, услужали официанты. Гремел орган, но и оркестр. В ресторане было, как всегда к вечеру, после странно-сонного утра с клопами на залитых скатертях, после тяжелого трудового дня с обедами а ля карт и похмельной руготней метрдотеля, как всегда к ресторанному вечеру, с перетертыми в тысячный раз рюмками на стойках, с барабанным оркестром автомобилей за окнами, с виолончельным аккомпанементом вентиляторов под потолком.

Капитану кланялись, на Борьку косились. Вентиляторы не только виолончелили, но и услужливо — наравне с подштанниками — подносили в зал второй и третьей свежести уличный воздух, порциями, навстречу чадным котлетным запахам кухонь. Коньяки с лимоном и сахарной пудрой иных уже разогрели: оглядывались победоносно, искали девочек. Подштанники подбегали, услужали. Девочки — тут же — на лестнице в третий и четвертый этажи, там, где взлет на крышу — вполне соответствовали, обмана быть не могло, это тебе не биржа на углу Тверской и Нарышкинского — электричество-с, культурное освещение с ног до головы. Электрический свет проверяет, обнаруживая недостатки:

так улыбка удостоверяет наличность зубов.

Эжен Этьенович Грандье, русский женевец, брат знаменитого часовщика, сидел в общей зале, дожидался, скучал. Вскинул навстречу глаза: черные, глянцевитые, даже с огоньком, но казалось, что и огонек был ресторанный, поддельный: словно вставные были глаза — так отделялись они ото всего остального, так выделялись они на притертой румянами с фиолетинкой изможденной, страдальческой маске лица. Маска была тоже отдельная, святочная, не из тех, что для детского испуга, а из тех, что для смеху; и даже кок, словно сливочным маслом на масках обычно приглаженный, — и он был тут, налицо, и тоже отдельный. Потом руки — не руки, а куски, концы рук, брошенные на скатерть, довершали рисунок подвижничества: такими Серафимы и Зосимы кормят медведей; жилы синие и багровые, с чернейшими прорезями земли. Да, да, страдалец, подвижник, аскет, уже при жизни разложившийся на составные части, на готовые мощи. Руки, скажем, в Чернигов, в раку, в монастырь. Маску, то есть лицо, предположим, в Кашин. Глаза — ведь, бывают мощевые глаза? — в город Петербург, услаждать царей и цариц. Кабы не запонки в синих манжетах с голыми раскарячившимися

бабами на них; но, нет, и запонки не мешали: тоже в мощи, в подмосковные монастыри, монахам на услажденье, рассматривать после вечерней выпивки и хвастаться с гыканьем перед купчихами с Балчуга. Святость она святость и есть, она везде святость.

— Нет, знакомься, Борька, — запыхался капитан. Капитан почти каждую фразу начинал словом нет. — Вот, ты спрашивал, где самые верхи удовольствия, вот, они тут и есть, у самого этого чортушки. Приехал ругаться. Что ж ты, в самом деле, Женька?! Нет, свинья ты после этого, а не друг!

— Сла-а-ава тебе, тетереву, мохнатые ножки, — проскрипел худой, тоже землистый, тоже отдельный от лица рот, а большой палец с блестящим порошком поднялся к носу. — Я же еще и свинья, порк на Нью-Йорк! Тебе стараешься, как другу, как, можно сказать, товарищу, а ты же еще и ругаться! Это никакой сифилитической возможности нет. Ты что: шутишь или смеешься? Человек, дай ему коньяку, да-да, Мартеля четвертинку, чтоб он не ругался. Свинья! Какие ты, Антоша, слова выговариваешь! Абер, Володя, ви коммен зи дацу?

— Нет, ты, когда обещался прислать свежую

девочку?

— Как когда? Вчера, — скрипнуло из черного рта.

— Я зря прождал, кипятился — и ничего. Нет, так не делают!

— Ну-ну, не сердись, Юпитер. Девочка здесь, идем в кабинет.

— Коньяк туда прикажете? — моментально подштанники.

В кабинете на диване сидела Маня. Борька замер у двери. Ну да, конечно, Маня, сестра Пальца, работница парфюмерии Дралле. Да, сидела, сияла печально, как всегда, как закат.

— Маня… вы?

— Нет, знакомая твоя? — тревожно капитан.

— Пустяки: знакомая — незнакомая, один чорт, все там будем, — запрыгало веселым скрипом по кабинету. — Человеки, давайте коньяки и шампаньяки, будем играть в забияки…

— Погоди, Женька. — Шопотом: — Нет, Борис, ты может любишь ее?

— Да он меня и не знает совсем! Он с братом все ходит, — успокоила Маня. — Я замужняя.

Вот, такая же она ходила каждый день в обед мимо борькиных окон — разве шляпа прибавилась. Всегда казалось: гордая, заговорить боялся.

Был на вечеринке как-то: шутили, смеялись, танцовали в тесной сторожке, и Борьке выпало в игре целовать… эти губы. Потом она пела… звонким, сильным и чистым голосом. Замужняя? Ну да, конечно, замужняя — мужа знает Палец, кажется, муж наборщик.

Коньяк обжег пищевод и нутро, стало легко, приятно, свободно; только вот запахи стали резче и неприятней: запах маниных духов преобладал: это был уже не тот аромат, что оставляла после себя на улице, уходя на обед с парфюмерии Дралле. Тот был общий, едкой волной присущий всем работницам. Этот был порочный, волнующий, пронизанный пудрой и всем тем, чем влечет доступная за деньги женщина. Другой запах выбивался из-под двери — котлетный, ресторанно-уборный, с гарью. И еще были запахи: — капитанского шипра и запах трупа, шедший от подвижника Грандье. Все это вместе составляло аккорд запахов, а когда на столе появились живые цветы, то получилась симфония, плававшая и игравшая над скатертями и красными лицами людей.

Капитан присосался к Мане; Грандье без умолку болтал, и его слова, колтыхаясь, ассоциировались с его запахом. Но у Борьки, как всегда после ко-

ньяку, явилось желание разговаривать с собой, добиваться от себя главного, единственного.

— Чего тебе здесь нужно? — спросили запахи, взявшись под руки и танцуя. — Здесь не твое место, здесь все чужое.

— Хочу быть героем, — ответил борькин мозг. — Завтра иду на экс.

— Тогда нужно молиться и поститься.

— Я и молюсь и пощусь — здесь.

— Не лучше ли пойти к Аге? Она любит человечество.

— Или любовь или борьба. Я выбрал борьбу.

Запахи затанцовали и скрылись; люди, сидевшие рядом, стали на мгновение милыми, дорогими, незабываемыми. Может, в последний раз…

— Девочки-то?! Специальность моя, душечка, — прыгал по кабинету голос такой же отдельный от подвижника, как голос чревовещателя. — Вот уже двадцать пять лет по этому делу хожу, сла-ва тебе, тетереву, мохнатые ножки! Должность, можно сказать, официальная: в хоры поставляю по ресторанам. Все через меня проходят! Мимо Грандье ни одна не пройдет… Летите вы, пташечки, на призыв мамашечки. И француженки! И негритянки! И аргентинки! И бразильянки! И-их

у нас есть — тысяча шесть! Это из Дон-Жуана. Все сорта перепробовал — могу похвалиться. Выпьем коньяку? Пролили? Пустяки! Где пьют, там и льют. Негритянки в работе хороши. Страстные очень! Как же, как же! Орденов сколько получил — у персидского шаха столько нет…

— Надо бы дать ему в рожу, — внезапно сообразил борькин мозг. — Девочки, про которых он говорит, ведь это Маня и другие такие же. И про ордена понимаю. Но я, конечно, не могу. Я раб. И поскольку я раб — за рабыню вступиться не могу. Получу удар бичом.

— Получу удар бичом. — Конец мысли борькин язык выпалил вслух.

— Нет, ты что, Борька, влюблен, что ли? — обеспокоился капитан. — Чего в одну точку установился, как ишак тыфлысский?! Пей коньяк!

— Пол-лучу удар бичом, — запинаясь, Борька.

— Это вы про что, жантильом? Шутите или смеетесь? Плюньте, пустяки! Хотите, девочку приведу? Я у них на положении отца, брата, хозяина, подрядчика, дедушки, бабушки и всех прочих родственников. Придет, первым долгом — раздевайся! В постель! В работу! Показывай, какова ты есть. Эти разные фигли-мигли навешаны, этому я не верю. Мне давай в натуре! Как же,

как же, все сорта перепробовал.

«Вот он отчего такой худой, — про себя Борька. — Постельный подвижник». И вслух:

— А вот, по Тверской ходят? Этих — тоже вы?

— То есть, что я? Эти нам не подходят. Безголосые! Почти все сифилитички. Это уж, знаете, конец, Тверская-то. С Тверской не в хор, а под забор! С Тверской…

Так вот почему Маня попала к нему в руки: голос у нее! Уже давно борькин мозг стал жарким, не своим, настороженным. Потом пламя из тела запыхало все выше и выше, и мозг вспыхнул багровым пожаром, опрокидывая все расчеты, построения и рабскую гнусь. Борька встал, кабинет качнулся:

— Маня! Мммманя! Уйдите отсюда!

— Это куда же? — удивилась Маня.

— Вон! Вввон! Шшштобы духу твоего не было! Вввон!

— Боррька! — Это капитан откуда-то из глубины, из маниных юбок.

— Да что вы, шутите, или смеетесь, жантильом? — схватил сзади, подмышки, Грандье. — Сидел-сидел цирлихь-манирлихь и вдруг — слаава тебе, тетереву, мохнатые ножки…

— Пррочь, ги… гиена!

— Гигиена? Абер, Володя, ви коммен зи дацу? Идем-ка в уборную, там нашатырь найдется. Идем, идем, мой жантильом…

Сунули в нос белое, мокрое, едкое; Борька задохнулся колючим, пронзающим запахом, проглотил, закашлялся, зачихал; а стены неслись кругом каруселью; под самый рот выхватился откуда-то стакан; пришлось еще глотать, давиться чихать; голову схватили, стали мять, тискать; отрадный лед лег на темя, на виски, к затылку…

И в отрезвевшую голову Борьки внезапно вошел образ девятнадцатого года: очереди, общность карточек и душ; Борьке стало жалко себя *теперешнего*…

Потом… потом по обеим сторонам распрошироченайших саней закрутились желтые, красные, синие, зеленые огни реклам; темные гробы домов засвистали вместе со снежинками в бесконечность; а рекламы вертелись, кричали, крутились, завывали, бешенели, бешенели и вдруг лопнули, ухнули, нырнули с размаху в бездонный какой-то провал вместе с гробами домов. Над Борькой, взгрозив мгновенным падением, встала мрачная Трухмальная арка; но вот уже нет ее, засвистала ровная аллея, смутный снег рельсами проносился под ковром саней, больно швыряясь

комьями. Впереди в мутных деревьях мглело смутное, серое, синее небо; сзади заревом уносилось вдаль лживое сияние Тверской, ресторанов, электротеатров… Борька внезапно полез в карман: браунинг был на месте — тяжеловатый, ласково-холодный…

— Капитан, ты куда меня везешь?

— В Яр, душенька.

— Зачем?

— Ты же сам просил показать тебе верхи. Вот мы и порхаем по верхам. — Нагнулся к самому уху: — Тебе может оказаться полезно: скрыться, например…

— Их у нас есть тысяча шесть… — скрипуче пропело сзади.

Борька оглянулся: в санях темнели еще фигуры: ну, конечно, постельный подвижник, а с ним… с ним Маня. И браунинг в кармане. И завтра — экс.

Но сани уже ворвались в голубое сияние, в ослепляющее озарение, в молочный, но нестерпимо яркий свет фонарей, ламп, лампионов, рефлекторов; подбежали люди в синих поддевках с белыми полосками у шей, подхватили Маню, подвижника.

— Капище Молоха, вылезай, Борька, — сказал

капитанов голос, — приехали.

Мелькнул на мгновение ослепительный зал — музыка вошла в уши ласково и вкрадчиво, как будто не пьяные, а чинные люди — такие маленькие в величавости потолка, словно червяки, налипшие к золотисто-красной мишуре стен, потом монументальные, солидные лестницы, и все это в сопровождении лордов-лакеев, в мгновение — налету — перестающих быть лордами и сгибающихся чуть не до пола — стоит только спросить что-нибудь; и вот наконец кабинет — большой и строгий, с камином, с цветами, с тяжелыми занавесами, с дверью на балкон, а оттуда — все та же ласковая и вкрадчивая музыка.

В кабинете были капитан, Маня и Борька. Подвижник куда-то исчез. Но появился метрдотель — стриженный Петр Великий, слабым манием руки указал на план битвы — карточку вин и закусок; потом ловкие фрачные лакеи уставили стол бутылками в серебряных ведрах — исчезли; все это время Маня стояла у тяжелой партьеры, слушала музыку. Маня не была уже закатно-вечерней, она насторожилась, тонкие ее ноздри раздувались, она втягивала новый, словно сладкий и особенный воздух, словно дышала вот этой, в ее представлении высшей жизнью.

«Все это завтра останется, останется… — думал Борька. — И Маня останется, а мне, может, придется погибнуть. Но все-таки я не поддамся — ни роскоши не поддамся ни капитану не поддамся, я ведь хорошо понимаю, что он не наш… Или уж он дураком меня считает? Возит по кабакам, швыряется деньгами, водится с подвижником, заказывает девочек… Никогда он меня не уверит, что это нужно организации!»

Борька раздвинул портьеру, заглянул вниз, в зал. Там было едва уловимое движение голов, рук, плеч — черных и розовых плеч на ярко белых скатертях; нежно блистал, переливаясь в тысяче огней, хрусталь. Музыка замирала только затем, чтобы сейчас же вспыхнуть каскадами наигранной чувственности, притворной страсти, лживой, угарной тоски. И тут же вошла в Борьку *второе зрение*: как в тумане, увидел он в этом же яровском зале *детский праздник*, красные знамена, радость, подъем, восторг… Борькина рука сама собой нащупала в кармане гашетку браунинга; пистолет был закрыт. «Поставить разве на feu? — с ненавистью подумал Борька, — да начать полыхать отсюда по залу. Да нет, дела не сделаешь, и сам ни за что ни про что на вешалку попадешь. Но пить больше не буду. И так насилу

отдышался. Интересно: что сказала бы Ага? Какие слова в этом вертепе принадлежат христианской моральке?»

— Цип-цип-цип-цип, — заскрипело сзади.

Борька оглянулся, увидел подвижника; Грандье пятился задом в кабинет, дверь в коридор была открыта, и в эту дверь входили женщины. Одна смеялась и закрывала муфтой лицо; другая была необычайно толста. Капитан вскочил стал усаживать, изображая любезного хозяина. Смеявшаяся была в глухом черном платье, с единственным украшением — золотым браслетом на руке. Толстая — в обычном ресторанно-бордельном декольте, в блестках, бриллиантах, позументах, мишуре. Белый жир ее плеч назойливо пер из тугого голубого корсажа; белыми же удавами свисали по сторонам руки; грудь горой лезла в тройной, четверной подбородок; лживо блистающая диадема сидела на неестественных темнорыжих волосах.

— Представляю, — указывая на нее, величественно проскрипел Грандье, и большой его палец с порошком предательски приблизился к носу. — Королева лапландская, главная командирша, старая, извините за выражение, ветеранка. В постели, можно сказать, не-за-ме-

ни-ма. Это — фэн дю сьекль! Этто… это что-нибудь особенное… божественное! Участвовала в оччень многих сражениях. Двадцать лет практики…

— По-шел, — неожиданно пискляво ответила королева лапландская. — Угостил бы, чем трепаться! Только я этих помоев пить не стану. Мне давай водки!

Бесшумно появился лорд-лакей, захлопали пробки, зазвенели бокалы, а подвижников голос продолжал тарахтеть, словно он только один и существовал в кабинете, словно не было от него спасения никому и никогда.

— Здесь вы видите перед собой, можно сказать, сливки общества, прекрасный ассортимент, джентльмены. Заметьте, что они приглашены сюда не из интереса, они не собираются от вас поживиться, а это мно-о-ого значит! Жантильом, а вы почему не пьете? Без возражений, без всяких возражений! Не желаете? Абер, Володя, ви коммен зи дацу?! Ну, не хотите, чорт с вами! Муська, алле!

Грандье неожиданно схватил подмышки женщину в черном платье она оттолкнулась от пола и вскочила на стол — один из бокалов зазвенел, падая.

— Позвольте представить, — скрипуче-га-

лантно шаркнул Грандье. — Муська-Брильянт, десятилетняя практика, специалистка по французскому способу, спала с сиамским королем и наследным принцем германским. Муська, монтре во жамб!

— И-и-иххх, — взвизгнула Муська-Брильянт, размашистым пьяным жестом взвила юбки кверху, прищелкивая рукой на отлете, прошлась по столу и спрыгнула вниз.

— А слыхал, Женька, — наливая себе водки в бокал, спросила королева лапландская, — фифишка-то наша так от сифона и померла.

— Да нууу? — удивился Грандье. — Ну, царство ей небесное! Хорошая была девочка! И ведь, кажется совсем молодая?.. Ну, ничего, ничего… Вон уж и молодое поколение растет. — Кивком указал на Маню.

— Это лохмушка-то? — презрительно королева. — Мы всех новеньких лохмушками называем… А голос есть?

— Голос есть, остальные статьи — в порядке. Да она сегодня покажет. Знаешь что, ваше величество? Будь другом, можно сказать — товарищем: покажи нам данс а-ла-труа.

— Да ну тебя к чортовой матери, Женька! — пискляво крикнула королева лапландская. — Что,

на экзамент ты нас, что ли, притащил? Выпьем вот лучше.

Женщины быстро пьянели. Маня подсела к столу — вся горела и сияла, вся была с ними. Капитан любезно подливал, и подливал, подвижник тарахтел свои прибаутки, музыка уже не ласково, а тоскливо извивалась где-то там, внизу в зале, за портьерой, а Борька в стороне, в кресле, сжимал рукоятку браунинга и хмуро думал, думал… Давешний хмель прошел, и осталось, чуть слышное, медленное горение мозга и сердца.

— А что же студэнт не пиет? — пискнула королева и направилась к Борьке покачиваясь, с шампанским в руке. — Студэнт что вы не пиете? Здесь не думать надо, а пить! Хотите, барышню приведу?

— К чорту! — хмуро ответил Борька, не глядя на противный хмельной белый жир, горой нависший над ним.

— Нет, что, правда, Борька, не пьешь? Пей! Не ломай компании! — крикнул из-за стола капитан.

— Они в мерехлюндии, — вертя исполинским задом, отвернулась от Борьки королева лапландская. — Муська, хошь? — И мигнула.

И вот уже рядом с Борькой села… какая-то. Борь-

ка знал, что если сейчас подастся — погибнет, ухнет во власть капитана, запутает его паутина, не будет возврата — поэтому глядел в сторону.

— Ну, студентик, ну миленький, — ласковый-ласковый голос и прикосновение мягкой и горячей женской руки. — Ну, чего вы? Идите за стол! Пейте с нами! — И шопотом: — А ночевать — ко мне поедем? Хотите? Хотите? Мне денег не надо. Мы сегодня гуляем!

Борька глянул — к нему вплотную прижалось женское лицо. Брови были густо намазаны карандашом, а из-под слоя пудры виделась несомненно красная, бледнокирпичного цвета кожа; над губой, пудрой и помадой была тщательно замазана не то родинка, не то прыщик, не то язвочка. Нагая рука легла на борькин рукав, вот уже и ноги, шелково шурша, придвинулись к борькиным коленам… Дыхание резко пахнуло водкой.

— Уйдите, вы пьяны, — двинул локтем Борька. — Я здесь не за тем.

— А зачем же, миленький… студентик?

— Уйдите, говорю! — рассвирепел сам на себя Борька. — Еще немного — и…

Рука в кармане судорожно, до боли, стиснула браунинг, ногти впились в ладонь. Вспомнилась Ага, любовь к ближнему… хха!

Женщина встала, качнулась, пошла к столу:

— Ну его к чертям, блаженный какой-то. Водки налейте!

— Что корчишь Иосифа прекрасного? — крикнул капитан.

— Святой он у нас, Анкундин беспятый, — заломался Грандье, крестясь и сюсюкая. — Помилуй мя, боже, помилуй мя! Слава тебе, те-те-ре-ву мохна-а-атые но-о-ожки! Что же, девочки, давайте танцовать?! Музыку, музыку!!

И в углу внезапно, словно из-под пола, возник скрипач. Прижав подбородком скрипку, он вызвал резкий и чистый звук, все замолкли, звук длился несколько мгновений, замирая, и вдруг сорвался вниз, запрыгал, заскакал, заплясал, безудержное веселье прыснуло из скрипки, комната закружилась, тоже запрыгала, пьяный пляс взвихрился по углам, по столу, заскакали, падая, бутылки и ведра.

— Канкан! — скрипуче крикнул Грандье.

И вот уже плясали, взявшись за руки, все вместе, ноги взлетали, падали, скрипка рвалась, пьяная бешеная скрипка ускоряла темп… В комнате ураганил дикий ведьмовской шабаш — полуголый, растрепанный. Резко запахло потом, водкой, трупом, пудрой, кожей, чем-то еще невы-

разимо противным, похожим на запах трудно больного человека…

— Ииййега! Ииййега! — заорал ни с того ни с сего капитан. — Ай, дух! Ай бог-бог-бог! Ай дух-дух-дух!

Борька нагнулся над Маней. Она сидела на диване, широко раскрыв восторженные, совсем детские глаза.

— Маня, уходите отсюда! Вам здесь не место.

— Да что вы всамделе, господин Кондратьев? Что это такое? Вы мне не учитель, я вам не ученица.

— Говорю уходите. Не то…

— Не боюсь я вас, вот и все! Муж, скажете?! Тьфу мне муж! Он что, меня одевает?! Брат? И на брата плевать хотела! И на вас плевать хотела! И на всех плевать хотела. Тьфу!

Возбужденное лицо горело. Глаза сияли под стиснутыми бровями. Но Борька шагнул к капитану, схватил его налету за рукав:

— Слушай капитан… Если Маня сейчас же не уйдет отсюда, то я… я за себя не ручаюсь…

Плотное капитаново лицо пыхнуло жаром; глаза уставились на Борьку.

— Знаешь что, Борис Андреич?.. Нет, ступай-ка ты сам отсюда ко всем чертям! А то надоел ты

мне, как… Нет, здесь веселятся! Понимаешь, веселятся?! А проповедывать ступай в церковь!

Капитан качнулся и перевел дух. Язык его заплетался. Кругом буйными парами взвивалось и неслось в стремительной пляске пьяное безумие. Потные тела вились и извивались с хрипом с визгом, со стенаниями вдогонку бешеной, немыслимой скрипке.

«Теперь или никогда», — решил Борька.

— Если сейчас же Маня не уйдет отсюда, то, капитан… все будет известно организации.

— Ааа, Дон-Кихот проклятый! — Капитан, покачиваясь, подошел к Мане, что-то ей сказал, она покорно наклонила голову, мельком глянула на Борьку и ушла.

Перед Борькой возник Грандье:

— Вы что же это, жжжантильом?! Д-девочек разгонять?! Абер, Володя, ви коммен зи дацу?! Порк на Нью-Йорк вы после этого! Его позвали, как джентльмена, а он… он… слава тебе тетереву… — И высыпал себе на ноготь горку блестящего порошка.

Борька отпихнул подвижника локтем, налил в бокал шампанского, выпил залпом, потом двинулся к капитану:

— Завтра вечером, на квартире.

Капитан молчал. Борька открыл дверь в коридор. Затворяя ее, услышал визгливый смех пьяной королевы лапландской:

— Девочки, лохмушку-то выставили! Ох, умру! Она пришла, сидит, как дура, а ее выставили!..

Разыскав шинель, Борька, вышел наружу. У освещенного подъезда пустынно жалась темная фигурка. Борька прошел мимо, к Башиловке. Но фигурка двинулась за ним, и вдруг обиженным тоскливым криком, оскорбленным женским самолюбием, едкой фабричной руганью — ему в спину:

— А еще студент! А еще образованный! А еще ученый! Сволочь какая! Просили тебя?.. Дрянь ты эдакая! Студент прогорелый!.. — В голосе послышались жалкие слезы. — Да я, может, давно гуляю… Куда ж мне теперь? На бульвар?!

— Хотите — домой провожу? — спросил Борька, не оборачиваясь.

— Да что я там делать-то буду? Они от меня отказались совсем! Они думают зараженная я… Насилу-то, думала, выбилась в люди… А он незванно-непрошенно, пришел… Сволочь проклятая!..

«Зачем я это сделал? — внезапно подумал Борька. — Во имя какой-то кисло-сладкой любви к

ближнему? Капитан прав: дон-кихотство».

Обернулся к Мане.

— Перестаньте, Маня. Меня, может, завтра на свете не будет.

— Никто не заплачет.

Тогда новый Борька — старый поступил бы поиному — взял ее под руку, ввел в вестибюль «Яра», сказал швейцарам строго:

— Проводите эту даму в кабинет господина Грандье. — И ушел.

Аллеи Петровского парка были темны, смутнели снегом. Голова горела, холод был ласков и приятен.

«Нет, борьба, борьба… — неслись в голове мысли. — К чорту христианские моральки Аги… Все, все взорвать нужно, до самого конца… Только с оружием в руках, только через трупы, через кровь — к победе!»

Борька зажег спичку, глянул на часы: была половина третьего, артельщик выезжал из банка в десять утра; до экса оставалось семь с половиной часов жизни.

И. Бабель
Три рассказа

I

СТАРАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Три махновца — Гнилошкуров и еще двое — условились с женщиной об любовных услугах. За два фунта сахару она согласилась принять троих, но на третьем не выдержала и закружилась по комнате. Женщина выбежала во двор и повстречалась во дворе с Махно. Он перетянул ее арапником и рассек верхнюю губу, досталось и Гнилошкурову.

Это случилось утром в девятом часу, потом прошел день в хлопотах, и вот ночь и идет дождь, мелкий дождь, шепчущий, неодолимый. Он шуршит за стеной, передо мной в окне висит единственная звезда. Каменка потонула во мгле; живое гетто налито живой тьмой, и в нем идет неумолимая возня махновцев. Чей-то конь ржет тонко, как тоскующая женщина, за околицей скрипят бессонные тачанки, и канонада затихая укладывается спать на черной, на мокрой земле.

И только на далекой улице пылает окно атамана. Ликующим прожектором взрезывает оно нищету осенней ночи и трепещет, залитое дождем. Там, в штабе батько, играет духовой оркестр в честь Антонины Васильевны, сестры милосердия, ночующей у Махно в первый раз. Меланхолические густые трубы гудят все сильнее, и партизаны, сбившись под моим окном, слушают громовой напев старинных маршей. Их трое сидит под моим окном — Гнилошкуров с товарищами, потом Кикин подкатывается к ним, бесноватый казаченок. Он мечет ноги в воздух, становится на руки, поет и верещит и затихает с трудом, как после припадка.

— Овсяница, — шепчет вдруг Гнилошкуров, — овсяница, — говорит он с тоской, — отчего этому быть возможно, когда она после меня двоих свезла и вполне благополучно… И тем более подпоясуюсь я, она мне такое закидает, пожилой, говорит, мерси за компанию, вы мне приятный… Анелей, говорит, звать меня, такое у меня имя Анеля… И вот, Овсяница, я так раскладаю, что она с утра гадкой зелени наелась, она наелась, и тут Петька наскочил на наше горе…

— Тут Петька наскочил, — сказал пятнадцатилетний Кикин, усаживаясь и закурил папи-

росу. — Мужчина, она Петьке говорит, будьте настолько любезны, у меня последняя сила уходит, и как вскочит, завинтилась винтом, а ребята руки расставили, не выпущают ее из дверей, а она сыпит и сыпит… — Кикин встал, засиял глазами и захохотал. — Бежит она, а в дверях батько… Стоп, говорит, вы, без сомнения, венерическая, на этом же месте вас подрубаю, и как вытянет ее, и она, видать, хотит ему свое сказать.

— И то сказать, — вступает тут, перебивая Кикина, задумчивый и нежный голос Петьки Орлова, — и то сказать, что есть жады между людьми, есть безжалостные жады… Я сказывал ей — нас трое, Анеля, возьми себе подругу, поделись сахаром, она тебе подсобит… Нет, говорит, я на себя надеюсь, что выдержу, мне троих детей прокормить, неужели я девица какая-нибудь…

— Старательная женщина — уверил Петьку Гнилошкуров, все еще сидевший под моим окном, — старательная до последнего…

И он умолк. Я услышал снова шум воды. Дождь попрежнему лепечет и ноет и стенает по крышам. Ветер подхватывает его и гнет на бок. Торжественное гудение труб замолкает на дворе Махно. Свет в его комнате уменьшился наполовину. Тогда встал с лавочки Гнилошкуров и переломил

своим телом мутное мерещание луны. Он зевнул, заворотил рубаху, почесал живот, необыкновенно белый, и пошел в сарай спать. Нежный голос Петьки Орлова поплыл за ним по следам.

— Был в Гуляй-Поле пришлый мужик Иван Голубь, — сказал Петька, — был тихий мужик, непьющий, веселый в работе, много на себя ставил и подорвался на смерть… Жалели его люди в Гуляй-Поле и всем селом за гробом пошли, чужой был, а пошли…

И подойдя к самой двери сарая, Петька забормотал об умершем Иване, он бормотал все тише, душевнее.

— Есть безжалостные между людей, — ответил ему Гнилошкуров, засыпая, — есть, это верное слово…

Гнилошкуров заснул, с ним еще двое, и только я остался у окна. Глаза мои испытывают безгласную тьму, зверь воспоминаний скребет меня, и сон нейдет.

…Она сидела с утра на главной улице и продавала ягоды. Махновцы платили ей отменными бумажками. У нее было пухлое легкое тело блондинки. Гнилошкуров, выставив живот, грелся на лавочке. Он дремал, ждал, и женщина, спеша расторговаться, устремляла на него синие глаза

и покрывалась медленным нежным румянцем.

Анеля, — шепчу я ее имя, — Анеля...

II

В ЩЕЛОЧКУ

Есть у меня знакомая — мадам Кебчик. В свое время, уверяет мадам Кебчик, она меньше пяти рублей «ни за какие благи» не брала. Теперь у нее семейная квартира, и в семейной квартире две девицы — Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару.

Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое — отдушина под потолком, в ванную. Я увидел это и сказал Фанни Осиповне Кебчик:

— По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это пять рублей.

Фанни Осиповна сказала:

— Ах, какой балованный мужчина! — И согласилась.

По пяти рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Все шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие.

Я стоял на лестнице. Электричества Маруся, к счастью, не погасила. Гость был в этот раз приятный, непритязательный и веселый малый, с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно: снимет воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует — нет ли в подошве изъяну.

Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался слезать. И в это мгновение я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мною. Я цепляюсь за окошко и вышибаю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком. Во всей квартире гремит тревога. Сбегаются Фанни Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме министерства финансов. Меня снимают. Положение мое жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый гость. Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит тихо:

— Мерзавец, ах какой мерзавец…

Она замолкает, обводит всех нас бессмысленным взглядом, подходит к долговязому, целует отчего-то его руку и плачет. Плачет и говорит, целуя:

— Милый, боже мой, милый…

Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фанни Осиповне.

Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю: отчего девушка целовала долговязого?

— Мадам Кебчик, — говорю я, — приставьте лестницу в последний раз. Я дам вам десять рублей.

— Вы слетели с ума, как ваша лестница, — отвечает хозяйка и соглашается.

И вот я снова стою у отдушины заглядываю снова и вижу — Маруся обвила гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями и из глаз у нее текут слезы.

— Милый мой, — шепчет она, — боже мой, милый мой, — и отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник — долговязый.

И долговязый деловито блаженствует.

III

ХОДЯ

Неумолимая ночь. Разящий ветер. Пальцы

мертвеца перебирают обледенелые кишки Петербурга. Багровые аптеки стынут на углах. Фармацевт уронил набок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце, и сердце аптеки издохло.

Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе. Два часа ночи. Неумолимая ночь.

Девка и личность сидят на перилах кафэ «Бристоль». Две скулящие спины. Две иззябшие вороны на голом кусте.

— …Ежели волей сатаны вы наследуете усопшему императору, то ведите за собой народные массы, матереубийцы… Но, шалишь… Они держатся на латышах, а латыши — это монголы, Глафира.

У личности по обеим сторонам лица висят щеки, как мешки старьевщика. У личности в порыжелых зрачках бродят раненые коты.

— …Христом молю вас, Аристарх Терентьич, отойдите на Надеждинскую. Когда я с мужчиной — кто же познакомится?..

Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. Фунт. Глафира поднимает два пальца. Два фунта.

Тысяча пил стонет в окостенелом снегу переул-

ков. Звезда блестит в чернильной тверди.

Китаец остановившись бормочет сквозь стиснутые зубы:

— Ты грязный, э?

— Я чистенькая, товарищ.

— Фунт.

На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха.

— Милый, — хрипло говорит девка, — со мной папаша крестный… Ты разрешишь ему поспать у стенки?..

Китаец медлительно кивает головой. О мудрая важность Востока!

— Аристарх Терентьич, — прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кличет девка небрежно, — мой знакомый просют вас до себе в компанию…

Личность полна оживления.

— По причинам от дирекции не зависящим — не у дел, — шепчет она, играя плечами, — а было прошлое с кое-какой начинкой. Именно. Весьма лестно познакомиться — Шереметев.

В гостинице им дали ханжи и не потребовали денег.

Поздно ночью китаец слез с кровати и пошел во тьму.

— Куда? — просипела Глафира, суча ногами.

Китаец подошел к Аристарху, всхрапывавшему на полу у рукомойника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру.

— Отчего же, Васюк, — пролепетал с полу Аристарх, — ты обязательный, право. — И мелким шажком побежал к кровати.

— Уйди, пес, — сказала Глафира, — убил меня твой китаец.

— Она не слушается, Васюк, — прокричал Аристарх поспешно, — ты приказал, а она не слушается.

— Ми, друг, — сказал китаец. — Он можно. Э, стерфь…

— Вы пожилые, Аристарх Терентьич, — прошептала девушка, укладывая к себе старика, — а какое у вас понятие?

Точка.

А. Хованская
Авантюристка

I

Вечерами, когда туман гуще, когда душней испаренья большого города, когда отгорает полоска зари над грифельными кровлями окраин и рыночные торговки подводят итоги дня, прячут выручку под фартук, — толстый папа Гробст зажигает фонари над входом в балаганчик.

Извилистые ручейки красного глянца до поздней ночи будут блестеть на асфальте, мокром от недавнего дождя. До поздней ночи чудовищная рожа, намалеванная на холсте, будет хохотать своим беззвучным хохотом. Глаза любопытствующих прохожих, с выражением ничем не утолимого голода, будут разглядывать маленькие груди канатной плясуньи, улыбающейся с афиши. И до глубокой ночи на этом освещенном куске тротуара, под фонарями, под голой красавицей, под оранжевой дразнящейся рожей и пестрыми лоскутьями афиш будут шмыгать проститутки, пускать дым слюнявой папироски в нос зазевавшемуся простаку, ссориться, азартно

выслеживать добычу. Судачат о погоде и о правительственных кризисах продавщицы дешевых папирос. Фрау Марта, хозяйка уличного притончика, стоит в дверях своего заведенья, щурит узкие глаза ханжи, скопидомки и сплетницы. В зубах она держит красную розу, кофта продрана, на грязной жилистой шее в два раза накручены желтые тусклые янтари, в волосах веером торчит огромный гребень. Пора, пора… фонари уже горят над балаганчиком папы Гробста.

Торопятся и артисты довершить свой несложный туалет. Жалкая мишура блестит на фоне убогих стен, жидких дощатых перегородок, в щели которых несет безнадежной сыростью, грязных зеркал, лучистых от множества трещин.

Два клоуна — Клумпэ и Думпэ — в одинаковых цветных балахонах, с мучнистыми рожами, в морщинах, наскоро замазанными краской, с готовыми улыбками до ушей (у Думпэ при этом дыбом стоит рыжая грива), ожидая своей очереди, говорят о том, что вот жить трудно, что папа Гробст жирная скотина, бесчувственная свинья…

Черноволосый куплетист играет в карты с дурачком Пумперпикелем. Пумперпикель, одряхлевший клоун, заполняет промежутки между чужими выходами, адски кривляясь и ковы-

ляя на вывернутых ногах. Товарищи по работе изощряют на нем дешевое остроумие, заставляя его падать носом в песок или щедро награждая пощечинами. Пумперпикель идиотски хохочет, хохочет визгливо, со слезами, с икотой, хохочет, как дурак, как одержимый, мучительно и исступленно. Других талантов у него нет. Его амплуа этот идиотский хохот.

Поставив огарок свечи на пустой боченок, они бросают истрепанные карты на колени друг другу или просто на пол. Куплетисту не везет. Ударом ноги он опрокидывает боченок (свеча гаснет) и уходит, насвистывая. Медяки Пумперпикеля звенят у него в кармане. Ограбленный клоун, ругаясь, догоняет его, путаясь и спотыкаясь в своем шутовском балахоне.

— Отдай деньги!

— Дурак! Идиот! Старая кляча!

— Вор! Ты вор!

И неслышно вырастает в дверях папа Гробст, лоснящийся и жирный, с отвисшими щеками, с узкими щелочками свирепых глаз. «Что за шум? В чем дело?» Как две булавки, эти холодно-свирепые зрачки вонзаются в Пумперпикеля.

— Я репетирую, — объясняет клоун. — Это мой новый номер… — Он выпрямляется, закидывает

голову и разражается своим идиотским и трагическим смехом: — Ха-ха-ха-ха!..

Дрессировщик жалуется на сквозняки и сырость. Его собака может простудиться, чорт возьми! Ждет, дрожа всем тельцем, со слезами в кротких глазах, черненький, щеголеватый тойтеррьер, аристократ в труппе, видавший лучшие виды и непривычный к холоду гнусного балагана. Он, повизгивая, в длительном зевке высовывает и сворачивает трубочкой розовый, влажный язычок. Папа Гробст пожимает плечами: хе! Собака? Можно сказать, примадонна труппы, и та не жалуется.

Зрительный зал похож на стойло, покатый пол усыпан опилками и истоптан сотнями ног, в щели дует, лампы мигают бессильно в чаду кухонных запахов, слишком явственно доносящихся из кухни мамаши Гробст. В правом углу, за решеткой, сидят музыканты. Их трое. Один из них — маленький горбатый еврей, чахоточный, с птичьим профилем, с обиженными глазами. Он играет сносно. Его товарищи отвратительно фальшивят, играют не в такт, как будто на зло друг другу, с презрительными, скучающими лицами они ухитряются извлекать из своих инструментов такие царапающие, воющие, мя-

укающие звуки, которые вгоняют в дрожь даже неприхотливых слушателей.

Зрительный зал почти полон. Это — сброд. Это — завсегдатаи кабачков, типичные профессионалы-шарлатаны, с испитыми лицами и папиросками в зубах. Они привели своих подружек, жалких, с щечками, посиневшими от холода, с цыплячьими лапками, лихорадочно сжимающими палочки горького шоколада. Между скамейками шныряют старички. Кожа их источена, как кора одряхлевших деревьев, веки изъедены гноем, трясущиеся пальцы искривлены ревматизмом. Послушайте их — они говорят о девочках, не о женщинах даже, а о девочках, совсем молоденьких, совсем невинных… Первые ряды занимают собственники дрянных лавчонок, мелкие торговцы и владельцы мастерских, тучные, как фараоновы коровы, равнодушные ко всему на свете, кроме своей выручки. Они пришли не одни. Рука об руку с ними — достойные их половины, в шалях, с лицами, не выражающими ничего, кроме полного права пользоваться воскресным отдыхом. С достоинством поджимая жабьи губки, скрестив на животе толстые пальцы в вязанных перчатках, они невозмутимо оглядывают стены балагана, раскрашенные зеленой краской, с

обычной Евой и змеем на первом плане, убогой Евой, Евой двадцатого века, отравленной испареньями гнусных танцулек, с плоской грудью, с узкими бедрами и беззубым ртом.

Сезон в этом году начался сносно. Но в общем вся труппа — шваль. Балаганчик держится кой-как только на двух артистах: тойтеррьере Джеке и гимнастке Грете Цвинге. Когда она выходит, гибкая, с опущенными глазами, зрители напряженно вытягивают шеи. Какое тело! Чорт возьми, какие глаза! Тучные фараоновы коровы истекают слюной. Супруги их ревниво косятся… «Пф! стоит только девчонке выйти голой…» «Фрау Мета, я вся горю от стыда»… Глазами, зелеными от ненависти, они смотрят на Грету.

Музыканты наигрывают веселенький марш. Та-рам-пам-пам! Бумм! — ударяет барабан… Вот она уж наверху. Гибкая, как змея, она проскальзывает в обруч. Она дышит хрипло, капельки пота бисером выступают на лбу, но когда она висит, держась кончиками пальцев, кажется, что она легка, как ласточка. Не правда ли, она как из резины? Необыкновенная девушка. Везет же этому Гробсту, она, говорят, живет с ним, хи-хи… Еще бы, такая красавица! Гробст, старая свинья, и вот подите ж… Ну, а мамаша что? Мамаша? Эге! Да на

постели мамаши Гробст переспал весь квартал. Хорошая семейка… Та-рам-пам-пам! Бумм!

Грета кончает. Она уходит, раскрасневшаяся и усталая, с измученными глазами, с жалкой, остановившейся улыбкой. Под рев толпы ее заставляют повторять одни и те же номера, и она боится, что свалится наконец, как издыхающая кляча. Впрочем — наплевать! Она набрасывает на голые плечи платок, садится у зеркала, подпирает кулачком подбородок и, дрожа от холода, мрачно смотрит. Не оборачиваясь, она говорит в зеркало:

— Принесите рюмку коньяку…

Мамаша Гробст злобно встряхивает кудряшками. Они у ней, как у пуделя, и сожжены завивкой.

— Ты с ума сошла! Коньяк. Ха! А сбор какой, знаешь? Артисты ленивы, как лошади. Скоро они будут кривляться перед пустым залом. Всех вас надо выгнать коленом в зад, начиная с этого идиота Пумперпикеля!

Грета, не оборачиваясь, повторяет равнодушно:

— Если вы не дадите коньяк, я завтра брошусь с трапеции, и на Гробста составят протокол.

— Фу, да ты тоже идиотка! — возмущается ма-

маша Гробст, шлепая ночными туфлями.

Грета смотрит в зеркало и думает. Сегодня артисты сговорились устроить папе Гробсту бенефис: требовать денег. Ни черта они не получат. Грета поднимает глаза и, хмуро глядя, еще крепче стискивает маленький упрямый рот.

Толстый папа Гробст старается пополнить дефицит в кассе. Он стоит в дверях своего балаганчика и, потрясая скипетром шута, зазывает посетителей, уговаривает их, понукает, как погонщик свиней понукает свое стадо:

— Многоуважаемые господа! Зайдите посмотреть новую программу! Лучшие артисты! Масса веселья и смеха! Дешевые цены, господа!

Несколько силуэтов неуверенно направляются к окошечку кассы. Папа Гробст ожесточенно трясет своими бубенцами и вдохновенно вопиет в туман осеннего вечера:

— Многоуважаемые господа! Неужели вам не наскучили чад вашей папироски, запах скверного кофе с жидким молоком, папильотки вашей подруги сердца, ворчащей по поводу дневных расходов! Жизнь коротка, господа, честное слово старого клоуна. Торопитесь жить! Ловите случай! Спешите посмотреть лучшую из цирковых трупп. Клоуны Клумпэ и Думпэ, остроумие,

юмор. Трио Берлов, господа, три сестры Берлов, премированные красотки, и к тому же почти раздетые, честное слово! Собака, танцующая все новейшие танцы: Чарльстон, блекбом и другие. Итак торопитесь, господа! Берите билеты. Жизнь чудовищно коротка, вы рискуете остаться перед пустой кружкой. Торопитесь!..

II

Папа Гробст получил Грету в наследство от ее матери, гимнастки Эвелины, старой женщины, больной пороком сердца.

В один из дождливых осенних вечеров Эвелина привела дочь к Гробсту. У Гробста был час отдыха. На вязаной скатерти уютно лежал круг от лампы. Папа Гробст, необыкновенно благодушный, в домашней фуфайке розового цвета, держа газету кверху ногами, перекатывал сигару из правого в левый угол рта. В ответ на мольбы Эвелины он сделал гримасу. Ему не улыбалось кормить лишний рот, хотя бы и обещавший в будущем принадлежать первоклассной гимнастке. Он поднялся, подошел к Грете, грубо обдавая ее дымом сигары и не торопясь, сверху вниз, глянул.

Холод подрал его по спине. Грета стояла в дверях, бледная, с гневно сдвинутыми бровями, со

стиснутым ртом, безмолвная, чем-то похожая на ежа, в защиту от врага выставившего все свои колючки. Кисти ее смуглых рук были подвернуты и сжаты. Она встрепенулась только раз, когда вмешалась мамаша Гробст, но взгляд ее из-под опущенных ресниц с сумрачной ненавистью коснулся этой женщины. Гробста взорвало. Он встал, сказал «довольно» и распахнул ногою дверь.

Эвелина вскоре умерла в больнице. Сердце так и ныло у папы Гробста, когда он вспоминал презрительно сжатый рот и великолепные ресницы. Но он выжидал. Опыт показывал ему, что молоко не следует пить слишком горячим. Пускай перемучается месяца два, это научит ее быть вежливой. Наконец, он решил, что время настало, и велел Грете притти.

Она пришла плохо одетая, осунувшаяся, в стоптанных ботинках. Гробст сказал, что только в память ее покойной матери он дает ей приют. Грета посмотрела на него одичавшими глазами и ничего не ответила. Вечером мамаша Гробст швырнула ей тюфячок и велела ложиться на кухне.

Полгода спустя Грета выступала на всех случайных подмостках, неутомимых в странствовании, как Вечный Жид. Ее партнерами были

опустившиеся акробаты, полупьяные, одышливые, оглядывавшие ее собачьими, мутными от вожделения глазами, делавшие ей гнусные предложения во время работы, в минуту короткой передышки, когда музыка бешено отщелкивала галоп. Она задыхалась в этой атмосфере балаганного разврата, распущенности и нищеты, среди этих подлых запахов помады, фиксатуара, дешевой пудры и пота, испарений мужских тел, гнусных прикосновений и взглядов, отчаянного хвастовства, притворной удали, зависти и бесконечных, мелочных интриг… Случайно ее партнером оказался порядочный человек. Он похвалил ее работу и дал ей записку к Маллори, известному акробату и великому чудаку.

Она пошла. У Маллори ее поразили зеркала, запах хороших духов, большая ваза с виноградом. Маллори вежливо выслушал ее. Ему было лет под сорок, темные волосы заметно седели на висках. Он согласился заниматься с нею и, засунув руки в карманы, стал ждать, когда она уйдет.

Но Грета стояла, ошеломленная. Этот человек обошелся с ней с сухостью, оскорбительной даже по отношению к животному. Он не сказал ни одного лишнего слова. Взгляд его ощупывал, обнажал, испытывал ее. Она чувствовала себя

беспомощной, униженной до последнего предела. Выслушав Маллори, она резко отвернулась и ушла, не простившись. Но в конце концов она робко звонила у знакомой двери.

Мамаша Гробст называла Грету дармоедкой. Она заставляла ее стряпать обед, стирать белье и нянчить ребенка. Маллори бил Грету по пальцам, когда у ней дрожали руки, но ни за что в мире она не призналась бы ему, что стирала до полуночи, согнувшись над лоханкой, полной мыльной пены. Она начала уже проходить школу высшей акробатики, когда папа Гробст счел себя вправе распорядиться ее судьбой.

Приятель Гробста, мясник Папуш, уже давно дарил Грету благосклонными взглядами, когда она приходила к нему в лавку за мясом. Но Грета стояла столб столбом. Краснощекий, волосатый Папуш, с бычьей шеей и кривыми ногами, в фартуке, залитом кровью, был ей до жути противен. Папуш, искоса следя за строптивой девчонкой, чувствовал, что карты плохи. Тогда он принялся за Гробста.

Встретив папу однажды на лестнице, он сказал, что не прочь распить кружку пива в его обществе. Гробст надул щеки и понюхал воздух — от Папуша пахло, как всегда, сырым мясом, и это ничего

не объяснило толстяку. Он задумчиво посмотрел на Папуша, пошевелил губами и грузно спустился с лестницы, что-то обдумывая про себя.

За пивом у Папуша развязался язык. Он был бы красноречив, как Демосфен, если бы держал во рту камешек. К сожалению, камешка не было. Похоже было, что человек запутался окончательно и уже сам не знает, что мямлит его суконный язык. Гробст спокойно созерцал Папуша, это жалкое зрелище ничуть не растрогало его. Наконец Папуш произнес имя Греты.

У Гробста глаза стали колючими от жадности. Он пригнулся к уху Папуша и, взволнованно сопя, спросил, мгновенно схватив суть дела:

— Сколько?

Папуш подумал и показал два пальца. Гробст поджал губы и стал смотреть в другую сторону, равнодушно прихлебывая из кружки.

— Хе! Не свинину покупаете, любезнейший Папуш, не свинину.

Папуш, перекашивая рот и жалостно глядя на Гробста, нерешительно прибавил еще палец. Гробст, безмолвствуя, пожал плечами. Товар был не из таких, чтобы навязываться. Он заказал еще по кружке и благодушно омочил усы в пивной пене. Тогда Папуш, вспотевший, испуганный,

почти жалкий, растопырил все пять пальцев в воздухе.

Гробст глядел на эти пухлые пальцы, потом шумно вздохнул, поднялся, опираясь на стол, вжав голову в плечи, похожий на огромную черепаху, потянулся и понюхал пальцы Папуша. Пальцы добросовестно пахли свежатинкой. Он сел и, вытирая платком лоб, сказал хрипло:

— Идет…

Приятели чокнулись. Вечером мамаша Гробст сама одела Грету, напялила на нее собственную шляпу с розами и потащила за собой. В воротах произошла бурная сцена. Грета упиралась, мамаша визжала, не переставая изумляться. Вот и жди благодарности от людей. Они-то ее поили, кормили, разорялись, дали ей приют, облагодетельствовали и вот!.. В ресторанчике к женщинам подсел Папуш. Он был одет в торжественную черную пару, припомажен и, кажется, завит.

Может быть, он даже надушился одеколоном. Не поднимая глаз, Грета жадно пила вино. На утро ее тошнило. Папа и мама Гробст были предупредительны и милы: мама сбегала за лимоном, а папа, наступая на мотающиеся завязки (он только что встал) кричал, что лучше бы коньяк.

Неделю спустя Грета наскочила на Маллори, и это была очень неловкая встреча, так как она шла под руку с Папушем и была пьяна. Маллори остолбенел, потом закатил своей ученице пощечину и запретил ей показываться к нему на глаза. Она не заплакала, только стиснула зубы. У ней хватило силы, чтобы и на этот раз скрыть от Маллори истинную причину зла.

Вернувшись домой, акробат бушевал. Он сам увлекался ею, как мальчишка, но честность профессионала останавливала его. Он-то знал, что профессия акробатки обязывает быть целомудренной. Всю ночь в бессильном гневе он скрипел зубами. На утро он позвал Грету к себе, запер двери, изругал ее, назвал распутницей, проституткой, кобылой и верблюдом, затопал на нее ногами, плюнул ей в лицо, когда она попыталась остановить поток этого площадного красноречия, и в конце концов объявил, что он получил приглашенье в большой провинциальный цирк и берет ее с собою. Грета не бросилась к нему на шею, не поблагодарила и не расплакалась. Она только сказала: «Хорошо, я согласна». Маллори заревел: «Тебя никто не спрашивает, чортова кукла!» Он не отпустил ее домой, чтобы взять вещи, откровенно заявив, что он не верит ей ни

на грош, и что она только и ждет, чтобы сбежать в кабак и целоваться там с волосатыми мордами, на которые ему мерзко плюнуть. Грета пожала плечами и, играя на равнодушии, ответила: «Хорошо». Она была бы счастлива, если бы он истоптал ее ногами.

Был послан мальчишка к мамаше Гробст. Он принес проклятие и ничего больше. Вещи Греты мамаша оставила у себя, заявив при этом: «С паршивой собаки хоть шерсти клок». И Грета уехала с акробатом.

Маллори не умел нежничать. Но он дал отставку фрау Мици, несмотря на то, что она, по ее словам, была «смертельно влюблена». Он заботился о Грете с трогательностью, заставлявшей прозревать многое. Однажды Грета застала его в то время, как он рылся в ее шкапу, стоя на коленях. На утро он пошел с ней в магазин, заказал ей пальто, купил ботинки, зонтик, кофточку. Сумрачные глаза Греты просияли, она робко положила ему на рукав свою смуглую ручку и шепнула: «Спасибо». Акробат дернулся, как одержимый, и тут же, в магазине, разразился потоком брани. Она неряха, лентяйка, дура, ей доставляет удовольствие ходить в рваной юбчонке и дырявых чулках, чтобы компрометировать

его, честного акробата. Иметь такую партнершу — срам. Он сыт по горло и так далее и так далее… Продавщицы, отворачиваясь, фыркали в кулак, покупатели весело оглядывали странную парочку. Грета убежала домой. Акробат вернулся час спустя, нагруженный свертками. Она запустила в него тарелкой и объявила, что уйдет, что чаша ее терпенья переполнилась. Маллори миролюбиво ответил: «Ты жаба». Но когда она заперлась в своей комнате, он чутко прислушивался всю ночь.

Его корчило, когда она работала на трапеции, — это девичье тело сводило его с ума, он бледнел, видя, как она запрокидывается назад, держась на зубах и отбросив руки, показывая смуглую грудь, выскальзывающую из-под туго натянутого трико. Но он скорей бы дал отрубить себе руки, чем прикоснулся к ней. Еще больше чем женщину, он любил в ней артистку. Она переняла его приемы, точность и ритм, его бесстрашие, ту холодную игру с опасностью, которая заставляла бледнеть зрителей. Он ценил в ней легкость и грацию, высокое изящество работы, врожденное, как талант, которого нельзя добиться никакой выучкой, если оно само не поет в крови. Когда она с тихим вскриком срывалась с укрепленного под куполом табурета и, как большая сияющая птица, летела

в головокружительную, смертельную пустоту, чтобы там, в пустоте, поймать брошенную им трапецию, он не мог сдержать улыбки гордости. «Эта маленькая далеко пойдет», — одобрительно думал он, следя за ее движениями.

Работая с нею, Маллори надеялся на большой успех. Но в середине сезона, прыгая с трамплина во время репетиции, он упал и сломал себе обе ноги. Его увезли в больницу. Очнувшись и побеседовав с врачом, акробат задумался. Он понял, что в будущем он калека и нищий. Денег у него никогда не было, семьи тоже. Хладнокровно подведя итоги, он отравился.

Когда сообщили Грете, она похолодела от ужаса. Она не помнила ни больничной койки, ни коридора, по которому бежала, задыхаясь. Голова акробата неестественно глубоко ушла в подушку, плечи приподнялись. Лицо его было неподвижным, почти мертвым. Но голос, живой, прерывающийся, нежный, тихо сказал навстречу ей:

— А ведь я горжусь тобой, Грета.

Этот бесстрашный человек, циник, сквернослов и великий упрямец и на этот раз не захотел сказать «люблю».

III

Акробат умер. Грета вернулась домой, заперла дверь, села у стола и уронила голову на сложенные руки. На утро хозяйка меблированных комнат, встревоженная, постучала в дверь. Никто не ответил. Стали стучать сильней, послали за полицией, но дверь вдруг распахнулась: на пороге стояла Грета. Глаза ее слепо смотрели вперед, губы шевелились, как будто спрашивая: «Что нужно?» Хозяйка, смущенная этим невидящим взглядом, пробормотала извинение. Грета тихо закрыла дверь.

Кто-то из ее знакомых написал Гробсту письмо. Гробсты решили, что в воздухе запахло жареным. Гробст приехал. Он слезливо уверял Грету, что они с мамашей всегда ее любили, как родную дочь. К тому же он открыл балаганчик. Ее встретят с распростертыми объятиями. Но Грета наотрез отказалась вернуться в лоно почтенной семьи.

Папа Гробст ушел ни с чем. Он долго шатался по улицам, продрог и отправился под первую приютную кровлю, чтобы заказать себе пиво и яичницу с ветчиной. Случайно он очутился в одном из тех злачных мест, где наспех заключаются

всевозможные сделки — от продажи контрабандных товаров до товарищеской доли в задуманном грабеже.

Слушая гул многих голосов, ссоры и звон посуды, папа Гробст пальцем, смоченным в пиве, грустно вывел на грязной доске стола знак вопроса. Неожиданно чья-то рука протянулась через его плечо и превратила тощий вопрос в жирный знак восклицательный. Гробст обернулся. Три волосатых морды смеялись, глядя на него. Он хотел уж итти, но вдруг передумал и велел подать еще кружку пива. Он хихикал, уткнув в кружку нос. Восклицательный знак навел его на одну идею, аппетитную и кругленькую, как булочка, вынутая из печи.

Утром он опять звонил к Грете. Горничная с белым мотыльком на голове, презрительно глядя ему в переносицу, сказала, что барышни нет дома. Но Гробст, оттянув воротнички, сухо и с достоинством кашлянул, он был не такой человек, чтобы обращать внимание на пустяки. Он отстранил горничную и сам постучал в дверь.

Грета вышла к нему в рубашке. Пока он говорил, она кончала одеваться. Папа Гробст начал с Адама. Он деликатно намекнул, что вот, мол, дело прошлое, но они с мамашей ее, Грету, поили, кор-

мили, одевали, разорялись, пуще глаза берегли, а ведь это чего-нибудь да стоит. Его на секунду смутили широко раскрытые глаза Греты, с выражением сосредоточенной ненависти смотревшие на него в упор. Папа Гробст даже поперхнулся словом, но скоро оправился и журчал, как ни в чем не бывало. Услыхав, что он требует какой-то уплаты, Грета усмехнулась. Не думает ли он, что ей дарят бриллианты? Она швырнула на стол небольшой футляр, где лежала единственная драгоценность — дешевенький медальон с портретом покойной матери.

Папа Гробст с достоинством, кончиком пальцев, отодвинул футляр. Зачем такое? Помилуй бог, разве он зарится на ее побрякушки? Она ведь зарабатывает, пускай подпишет вексель. И он с торжеством выложил заранее заготовленную бумагу.

Грета улыбнулась. Неужели он считает ее такой беспросветной дурой? Она протянула голую руку, взяла папиросу и, закурив, пустила ему в лицо струю дыма. Папа Гробст вскочил в бешенстве. Она подпишет, чорт возьми, или он сейчас же пойдет к хозяину цирка и расскажет ему кое-что. Ого!.. Его примадонна была уличной девкой… вспомнить хотя бы Папуша, тоже и о Маллори

есть что рассказать. Хе! Он, папа Гробст, тоже не дурак.

Грета побледнела. При упоминании о Папуше она содрогнулась, как будто ее ужалила змея. Она поднялась, прикусив губы, шатаясь подошла к столу, взяла ручку и подписала, не читая. Папа Гробст, настороженно следивший за ней, встрепенулся, заулыбался, заговорил о погоде. Грета, не отвечая, не двигаясь, смотрела на него огромными пустыми глазами. Потом усмехнулась подавленно и брезгливо, инстинктивно отерла руку о платье и ушла.

На радостях папа Гробст распил бутылочку. Что ж, не плохо получилось с вопросительным-то знаком. Он уехал очень довольный.

Грета никому не жаловалась. Ей становилось страшно при одной мысли, что раскроется и выплывет старый позор — то время, когда она ходила с распухшими от щелока пальцами в лавку мясника Папуша. Она предпочитала терпеть. Но одна беда привела за собой другую — Грета повредила себе руку. Работу пришлось бросить, руку надо было лечить, она потеряла все связи. Не оставалось ничего другого, как вернуться к Гробстам. Эта семья засасывала ее, как болото.

IV

Семь месяцев работы в балаганчике измотали Грету, она твердо решила бежать. Она лихорадочно искала и чувствовала, что у ней руки опускаются. Приемная Раупаха была седьмой или восьмой из тех, куда она обращалась в поисках работы.

У господина Раупаха, ответственного распорядителя и хозяина цирковой труппы, была рыжая жена. Это обстоятельство оказалось роковым при выборе цвета приемной: комната была вся выдержана в ярко-зеленых тонах, была чертовски стильной, с коврами, вазами, изумрудным попугаем, ухватившимся лапкой за золоченое кольцо среди тропических пальм в китайских плошках.

Раупах был неопрятен, темен кожей, как мулат, и чудовищно неуклюж, сверх того болел астмой. Задыхаясь, отрезывая кончик сигары, он рассеянно выслушал Грету и повалился на диван. Он хрипел. Грета отскочила в испуге.

— Дайте же воды! — раздражительно приказал Раупах, отпил глоток, отдышался и протянул руку за сигарой.

— Уф! А рекомендации у вас есть? — спросил он грубо. — Так чего же лезете? Матильда, где ты

наконец?

Из маленькой двери выбежала рыженькая женщина, отвела прядку волос от щеки и с гримасой оглядела Грету. Горничная, отворяя дверь, явно ожидала подачки и, не дождавшись, прошипела что-то вслед. Даже швейцар, сидевший внизу у стеклянной вертушки, презрительно вздернул очки на лоб и независимо отвернулся.

В тот же вечер Грета рассказала о своей неудаче фокуснику Фоссу. Фосс держал руки под скатертью и равнодушно вынимал оттуда живого голубя, дамскую перчатку, резиновый тазик для бритья, веер, складное зеркальце, куклу… Скуластое лицо его было неподвижно и брезгливо, умные глаза смотрели сосредоточенно. Потом он начал вытягивать из-под скатерти (Грета еще раньше убедилась, что под скатертью ничего нет) нескончаемые вороха бумажных лент, которые послушно следовали движениям его ловких пальцев, превращаясь в цветы, веера, абажуры, звенья длинной цепи, похожей на бумажную змею. Фосс сказал:

— Раупах, может быть, и болен астмой, но она ему доставляет столько же беспокойств, сколько нам с вами. Просто разыграл комедию.

Фокусник поморщился, тронул пальцем бу-

мажный завиток и добавил устало:

— Вы слишком прямолинейны, Грета. Нельзя к Раупаху итти с парадной лестницы. Я попробую вас устроить иначе. Во всяком случае используем черный ход.

Грета только вздохнула. Она вспомнила изумрудного попугая с его забавным шелковым хохолком, ярко-зеленые гардины окна, по стеклам которого струились мутные дождевые потоки. Фоссу она тоже не верила. И все-таки к концу месяца она уже работала у Раупаха.

Гробсты выпроводили Грету с проклятиями. Папе было гораздо удобней держать ее у себя и не платить ей жалованья, чем вытягивать из нее деньги, следить и клянчить, шатаясь для этого к Раупаху. Он горько жаловался, поверяя свои обиды клоунам:

— Когда у ней рука болела, она, небось, пришла к нам. Теперь мы ей не нужны, вот как…

— Не делают так порядочные люди, — поддакивал Думпэ, который уже вторую неделю выпрашивал у Гробста прибавку и потому соглашался с ним во всем.

Клумпэ презрительно молчал.

— И вы думаете Раупах ее взял *просто так*? Глазками ее прельстился? Хе! — папа Гробст

негодующе сплюнул. — Вот какими она делами занимается.

— Скажите! — удивился Думпэ.

Подошел и Пумперпикель, перекосив свою дурацкую рожу, ковыляя и выпятив фальшиво утолщенный живот, на котором была нашита большая летучая мышь из коленкора. Решив, что клоуны толкуют о смешном, он широко открыл рот и приготовился смеяться. Но Клумпэ во-время одернул его.

— Глэзер ее устроил к Раупаху, — откровенничал папа Гробст, набивая трубку. — Вот вам и Руди, лев сезона, кумир молодежи! Руди Глэзер, сын Глэзера, тут не одному Раупаху станет жарко. Тьфу, какие дела!

Думпэ неумеренно возмущался. Ну, и нравы! Бедный папа Гробст всегда терпит по своей доброте. Но когда он заикнулся о прибавке, Гробст остался глух и нем. Кстати он вспомнил, что у него дел по горло.

— Какая скотина! — сказал Клумпэ, глядя вслед папе. — Какая жирная, стопроцентная скотина! И все врет.

Пумперпикель задумался. Потом он вздернул повыше свои дурацкие полосатые штаны, хмыкнул и кувырнулся через голову.

— Нет, насчет Глэзера это верно, — печально сказал он, поднимаясь и отряхивая опилки. — Ее Глэзер устроил к Раупаху, уж я знаю. Что-ж… когда дверь заперта, полезешь в окно.

— Старайся, старайся! — язвительно дразнил Клумпэ приятеля. — Получишь прибавку…

Руди или не Руди, а Грета под куполом раупаховского цирка, играя с опасностью, показывала свое искусство. Никаких предохранительных сеток у Раупаха не полагалось. Зрителям надоели конфетки, им нужен индийский перец, им нужно, чтобы кровью пахло, вот что им нужно! Бинокли, направленные на Грету, не опускались. Раз, два, три… Обрывал на полтакте и замолкал прекрасный оркестр. И Грета летела в пустоту, сверкая юбочкой из трепещущей золотой канители.

Руди Глэзер, сын крупного книгоиздателя, стоявшего во главе издательского концерна Глэзер-Блау, как раз в этот сезон перестал увлекаться балетом. Кулисы цирков — вот что его занимало. Он жадно вдыхал смешанные запахи газа, сырых опилок, помета животных и испарений человеческих тел, уверяя, что в такой атмосфере пульс быстрее бьется и приходит аппетит к жизни, именно там, где жизнью не дорожат, подвергая ее опасностям циркового ремесла.

Он поил артистов шампанским, закармливал фигуранток шоколадом, щедро раздавал «на чаи» и Раупаха, самого Раупаха, покровительственно похлопывал по плечу, называя «нашим дорогим папашей». Труппа готова была носить Руди на руках, все, за исключением фокусника Фосса и конюха Грета.

Фосс, человек умный, относился к Руди, как к беззаботному, веселящемуся щенку. Он мрачно курил его сигары, поедал оплачиваемые им ужины и приэтом равнодушно и бесповоротно, раз навсегда, презирал его узкий лоб дегенерата, его внешность выхоленного и изнеженного барчонка.

Конюх Герт когда-то был блестящим наездником. Падение с лошади сделало его калекой. Это был конец, бесславный и унизительный. Теперь он работал простым конюхом или, как говорили в цирке, «перестал быть человеком». Он сдержанно ненавидел Руди, не заботясь о том, чтобы эта ненависть не бросалась в глаза. После какой-то товарищеской попойки Руди, необычайно благодушный, сунул конюху «на чай». Герт, не вынимая рук из карманов, презрительно сказал:

— Я не кормлюсь подачками.

Руди, как обжегся, отскочил. Утром он по теле-

фону нажаловался Раупаху, который пришел в ужас и трогательно просил Руди не беспокоиться. В подтверждение своих слов Раупах отправился в конюшни, выпятил живот, безнадежно скривился и сказал своим влажным басом:

— У меня цирк, любезнейший, а не богадельня. Если не хотите служить, в два счета убирайтесь к чорту!

Герт вышел из сумрака теплого стойла. Рукава у него были засучены, рубашка раскрыта на смуглой груди. Слегка ковыляя, он подошел к хозяину и уставился на него своим единственным глазом.

— Вы забываетесь, Герт! — задыхался Раупах. — Вы работаете простым конюхом, ну и должны знать свое место. Слышите?

Единственный глаз Грета наливался кровью.

— Хорошо. Я — конюх. А ты кто?

Раупах, думая, что ослышался, вытащил сигару изо рта.

— Да, да! Кто ты? — наступал Герт. — Теперь я конюх. Я был честным наездником. А ты? Кем ты был? Лакеем в гостинице, потом — любовником фрау Пих, владелицы ресторана-кабарэ, потом — хозяином публичного дома…

— Убирайся вон! — багровея, заорал Раупах.

С ним едва не случился удар. В тот же день Герт получил расчет. Выходя из конторы, он столкнулся с Гретой. Девушка протянула ему руку, которую он пожал с благодарной нежностью: в цирке никто не подавал ему руки.

— Я слышала вы уходите, Герт?

— То есть меня выгнал Раупах, — поправил конюх. Лицо его было землисто-серым, сжатые губы чуть вздрагивали. Он притворно засмеялся.

Позади них, за портьерой двери, подслушивала Матильда Раупах, затаив дыханье, у ней даже ушки разгорелись от любопытства.

— Скажите, Герт, вы имеете что-нибудь в виду, — заторопилась Грета, краснея. — Я хочу сказать, рассчитываете ли вы скоро получить работу?

Конюх перестал улыбаться.

— Рассчитываю ли? О, я рассчитываю. Но получу ли — это вопрос другой. Знаете я ведь не тот, что был раньше. К тому же — калека.

Грета, краснея, открыла сумочку. Но конюх задержал ее руку.

— Нет, этого не надо, — сказал он твердо. — Ни от вас, ни от кого другого. И знаете что, позвольте вам на прощанье дать один дружеский совет…

— Что такое? — спросила Грета глухо.

— Постарайтесь не иметь дела с Глэзером. Я говорю от души, я вам добра желаю…

Грета смутилась еще больше. Совет конюха опоздал на два месяца. Как-то вечером Руди заехал за Гретой на автомобиле. Сначала она отказывалась, потом поддалась маленькому искушению, — так хорош был автомобиль, мощный, красивый, умный, похожий на какого-то милого ручного зверя, так хрустально свеж был воздух за городом, под липами старого шоссе. Руди привез ее домой и, провожая, поднимаясь по лестнице, вдруг отогнул ей голову назад, целуя так нагло и властно, что у Греты дыханье захватило. Она хотела закрыть дверь комнаты, но Руди ворвался следом. Она твердила: «Нет, нет!» В отчаяньи она схватила большую коробку с пудрой и бросила ему в грудь. Исказившееся, точно распухшее лицо Руди стало белым, как через облако. Он выругался, стиснув зубы. Расставя руки, он шел слепо. Тогда Грета рванула шнур, лампа погасла, стало темно, только свет уличных фонарей, слабый и мутнозеленый, западал в окна. Грете казалось, что Руди, как зверь, не идет, а подползает к ней по ковру, с сумасшедшим ужасом она думала, что он сейчас схватит ее за ноги. И, нащупав на столике восковые спички, к которым

уже давно приковался ее обезумевший взгляд, она выхватила одну и поднесла к тюлевой занавеси кровати. Извилистый горячий ручеек весело и проворно побежал кверху и с треском охватил весь тюль, ажурный, золотой, прозрачный, как стекло, на фоне дымящейся постели. Вбежали люди. Кое-как потушили огонь. В суматохе Руди благополучно исчез, наскоро уничтожив следы пудры, запятнавшей его костюм и волосы.

Героика этого вечера пропала даром. Три дня спустя Грета уступила, чувствуя, что узкие звериные глаза и властно сомкнутые губы кружат ее, делают слабой, беспомощной, сумасшедшей. Кровать была та же самая, но под новой занавесью. Комнату вычистили и убрали. И только маленький пухлый амур на фарфоровом медальоне, как воспоминанье о том, чего могло не быть, презрительно отворачивал от кровати свою круглую, почерневшую от сажи щечку.

Всевидящий Раупах был почтителен с Гретой, и даже Матильда при нем не смела гримасничать. И все же он был хозяином. «Публике надоедает одно и то же, — сказал он однажды. — Надо придумать что-нибудь новенькое». Они сидели друг против друга — дымящий сигарой Раупах и Грета, опиравшая подбородок на маленькую руку.

Прыжок с завязанными глазами, обруч, лестница смерти, мертвые петли?

— Все это старо, как мир… — вздохнул Раупах. Он скреб пальцем лысину, что делал всегда, когда забывал о хороших манерах. — Решено. Я придумал. И стал объяснять: — Завязаны глаза, свободны руки. Труднее, когда руки связаны. Остается хвататься зубами, — крошечные глазки Раупаха сладостно замаслились. — Понимаете?

— Понимаю, — со вздохом сказала Грета.

Уже несколько дней она чувствовала недомогание. У ней появилось ощущение «высоты», когда она работала на трапеции, и первый раз в жизни было страшновато смотреть вниз. По утрам ее тошнило. Она не могла есть, садясь за стол, она вспоминала окровавленный фартук Папуша и вскакивала бледная, с расширенными глазами. Временами это проходило, и она чувствовала себя хорошо, потом, всегда неожиданно, недомогание возвращалось. В конце концов, измученная борьбой с призраками, она пошла к доктору.

Цирковой врач Гримперле был невоспитанным, грязным существом, бесповоротно презиравшим свое ремесло. Выслушав Грету, он насмешливо поглядел на нее и сказал, кусая ногти:

— Вам бы следовало пойти к акушеру.

Грета побледнела. Не понимая, она смотрела на врача испуганными глазами.

— Вы… вы ошиблись, — пробормотала она.

— Ах, вы не замужем, — ухмыльнулся Гримперле, вытирая руки грязным полотенцем. — Но, милая барышня, это бывает и не замужем. Ничего не поделаешь…

Грета вышла от него ошеломленная. Ей казалось, что все кружится, вертится перед глазами, она ухватилась рукой за перила лестницы и перчаткой вытерла лоб, покрывшийся потом. Что же это такое? Выбежав на улицу, она развернула номер газеты и лихорадочно стала перечитывать адреса частных лечебниц. Ага! Вот.

В лечебнице ее направили на осмотр, она получила номерок с цифрой 9. За стеклянной дверью приемной была строгая тишина. Она сидела у окна, как каменная. Она видела зеленое перо на шляпке одной дамы, это зеленое перо ее мучило, мысль послушно возвращалась к зеленой приемной Раупаха и к попугаю с шелковым хохолком. Прошла сиделка в кокетливом кружевном чепчике. Этот чепчик остался в комнате и после того, как девушка уже ушла. Грета задыхалась — это зеленое перо и чепчик… что ж, издеваются они

над ней, что ли? Белокурая дамочка входя сделала книксен. Она все пыталась разговориться и несколько раз обращалась к Грете, но Грета ничего не понимала. Блондиночка наконец оставила ее в покое, решив, что она глухая. Вдруг пробили часы. Грета не могла понять, отчего они не били прежде и где они были вообще.

Врач спросил: «Ваша профессия?» Грета пробормотала: «Работаю в цирке». «Эта работа сопряжена с опасностью? Ну, тогда вам придется ее на время оставить...» — добродушно сказал доктор. Он подтвердил предположения Гримперле и подмигнул: «Все в порядке, все в порядке, фрау...» Она машинально шепнула: «Благодарю вас», поднимаясь с кресла и оправляя юбки. Она ничего не видела. Кажется, она пыталась выйти в зеркало, так что доктору пришлось взять ее за руку и открыть дверь. Чепчик и зеленое перо! Выбежав на улицу, Грета прислонилась к стене дома. Все — дома, улицы, автомобили, окна — стремительно неслось мимо нее. Она глубоко втянула в себя воздух, точно просыпаясь. «Все в порядке, все в порядке, фрау...»

Вечером она должна была выступать. Только теперь она оценила блестящий замысел Раупаха. Ее партнер, рыжий акробат с припомаженными

над тупым лбом волосами, медленно изгибался, вертясь на трапеции. Стоя на обитом желтым бархатом табурете, укрепленном под куполом цирка, она притворно улыбалась, почти нагая под направленными на нее биноклями (отовсюду, точно дула револьверов).

Грета кусала губы выжидая. Перед началом представления она требовала у Раупаха, чтобы он дал сетку. Раупах изумился.

— Сетку? Дать сетку? Испортить, изгадить такой блестящий номер! Но вы с ума сошли?

Грета стиснула зубы.

— Вы не имеете права отказывать. Номер очень опасен.

— Я дам сетку? — завопил Раупах. — Я только этим и заманил публику, а вы предлагаете мне разыграть какого-то дурака! Никаких сеток! Вы прекрасно работаете. Я сказал.

Грета притворно улыбалась, глядя вниз. О, скоты, скоты! Их всех опьяняет запах крови. Они будут реветь и рычать от восторга, если она разобьется насмерть. Бинокли, свет, море света, море голов. Какие жадные глаза! Какая безумная музыка! Не полет ли это валькирий? В цирке — Вагнер, в концертной зале — джаз-банд. Конечно, это Вагнер. Скорей, безумней, короче! Она

задыхается. Они летят, летят! Девы валькирии. Волосы их бешено разметаны по ветру, вихри у них в волосах, какие чудовищные, львиные головы, какие кровавые губы, какие прекрасные, взволнованные глаза! Еще скорей! Еще безумней! Еще короче!

— Цвинге, пора.

Бинокли следят, не отрываясь. Она пробует улыбнуться, и вдруг уже испытанное ощущение «высоты», шаткости, бездны под ногами заставляет ее вздрогнуть. Желтые с золотом ложи глубоко внизу плывут и колыхаются, как корабли в тумане. И ощущение надвигающегося смутного ужаса вдруг потрясло ее.

— Цвинге, пора, — повторяет акробат.

Она спохватывается. «Все в порядке, все в порядке, фрау…» Надо начинать. Раз-два… оркестр смолкает. Грета выпрямляется и с секунду ищет глазами качающуюся глубоко внизу трапецию. Мимо? Тем лучше. Не будет ни утреннего отчаянья, ни Раупаха, ничего…

Бинокли, не поспев за молниеносным движением гимнастки, несколько секунд раскачиваются, схватывая пустоту, и наконец находят — напряженно вытянутое, гибкое тело, остановив взмах, медленно плавает в воздухе. Держась на зубах,

артистка осторожно закидывает колено, ставит на трапецию узкую ножку и выпрямляется, неуверенно улыбаясь, кивая своей растрепанной головкой. Окончив номер, она убегает, набрасывает на плечи меховую пелерину, идет к телефону и тихо вызывает Руди.

— Глэзера нет? Он не сказал, когда он будет? Это я, я, Цвинге. Просил не беспокоить?

Она медленно кладет трубку на рычаг, бледнея под слоем румян, смотрит на нее пустыми глазами и повторяет равнодушно, тускло, как автомат: «Просил не беспокоить».

V

Зигфрид Грау, издатель и редактор бульварной газетки «Полдень» был в восторге.

Его секретарь только что рассказал ему пикантную историю, близко касавшуюся Руди Глэзера. А «Глэзер-Блау-Концерн» уже давно был бревном в глазу неутомимого редактора Грау. «Огненная мельница» — дневная газетка, скользившая под валами глэзеровских ротационок, забивала «Полдень», тираж которого катастрофически падал.

— Это надо прочувствовать, — задумчиво сказал Зигфрид Грау, отпуская секретаря. — Во всяком случае, очень благодарен вам за достав-

ленные сведения.

Он сел в свое редакторское кресло, вытянул ноги и принялся размышлять. Потом, осененный вдохновением, энергически взмахнул желтой гривой, вытащил из бокового кармана крошечный серебряный карандашик и в несколько минут набросал убийственный план.

Секретарь раза два просовывал голову в дверь кабинета, но Зигфрид не оборачивался, только брыкал ногой, показывая, что по горло занят. Секретарь удалялся на ципочках. Зигфрид насвистывал, одной рукой ероша желтые волосы, а другой мелькая по страничке, исписанной уже наполовину. Кончив, он закурил папироску и жизнерадостно прочел все сначала; на лицо его набежали приятные морщинки, губы раздвинулись, и глаза скрылись, похожие на щелочки, которые кто-то оставил в тесте, ткнув туда лезвием ножа.

Заметка называлась «Авантюристка из мюзик-холла». Резвое перо Зигфрида Грау в тоне легкой послеобеденной шутки доводило до сведения «уважаемых читателей» случившееся недавно событие. Некая дама в мюзик-холле, во время исполнения оперетты, обратилась к господину Г., обвиняя его в легкомысленной связи. Дама эта бы-

ла закутана в апельсиновое домино (тут Зигфрид для пущего эффекта напустил таинственности, ибо апельсиновое домино существовало только в редакторском воображении). Господин Г., наш молодой друг, темноволосый кумир молодежи (и так далее, и так далее — младенцу было ясно, что речь идет о Руди), с возмущением отверг упреки загадочной дамы. Словом, выходило нечто вроде покушения с негодными средствами на невинность господина Г. Несмотря на то, что заметка называлась «Авантюристка из мюзик-холла» и что по адресу дамы милейший Зигфрид то и дело отпускал фривольные намеки, роль господина Г. тоже была не из благородных, и это обстоятельство оттенялось очень тонко.

Секретарь просмотрел заметку, молча осклабился и отправил ее в типографию. Наборщик, пожилой человек, больной чахоткой, со свинцовым цветом лица и белыми губами, напрягая зрение и морщась, набрал заметку с привычной аккуратностью. Ротационки оттиснули ее в соответственно отведенных рамках. Выпускающий взял контрольный номер, еще свежий, пахнущий типографской краской, и молча отнес его в редакторский кабинет.

Зигфрид Грау бегло просмотрел газету. Глазки

у него сузились и исчезли, он потер пухлые руки и благодушно сказал:

— Милейший Глэзер поперхнется за завтраком. Хорошенький сюрприз к свадьбе сына.

Секретарь осклабился вторично, смеяться он разрешал себе только в самых исключительных случаях. Зигфрид грелся у камина и курил. А газетчики, рассыпавшись по улицам, площадям и бульварам, вскакивая на подножки автобусов, гоняясь за такси, преследуя прохожих, оглушительно кричали:

— «Полдень»! «Полдень»! Крушение западного экспресса! Происшествие в мюзик-холле! Тайна дамы в апельсиновом домино! Самая распространенная, популярная, злободневная газета «Полдень»!

VI

Глэзеровская «Огненная мельница», в лице своего сотрудника Пильца, нанесла разболтавшейся конкурентке решительный удар.

Не было никакого мюзик-холла. Не было никакого апельсинового домино. Но дама, несомненно, была.

«К сожалению, — спешило трещавшее перо уважаемого Пильца, — никто из нас не ограж-

ден от посягательств уличных шантажистов, которые часто ускользают от вмешательства полиции. Эти люди могут ворваться к вам в дом, в ваш деловой кабинет и даже в вашу святая-святых — спальню. Такому шантажу подвергся сын нашего уважаемого и почтенного господина Г. Неизвестная дама задержала его на улице, причем возмущенный господин Г. обратился к близстоявшему полицейскому. Незнакомка поторопилась скрыться. К сожалению, достоверно известно, что эта дама работает в одном из крупнейших цирков, и авантюрные эти похождения являются ее второй профессией».

Перестрелка была открыта. «Полдень» разъяснял, что вышеупомянутая дама имела кой-какие основания обратиться к господину Г., хотя бы и на улице. У Зигфрида Грау его желтая грива стояла дыбом. «Полдень» выходил повышенным тиражом. «Огненную мельницу» обыватели рвали из рук газетчиков.

На первой странице «Полдня» красовался портрет молодого человека, закрывшего лицо рукой в перстнях. Под портретом низвергался каскад крупных заголовков.

ДАМА В АПЕЛЬСИНОВОМ ДОМИНО.

Авантюра на Грюнштрассе.
Еще о наших цирковых нравах.
Как веселится наша молодежь.

Заметки в хихикающем и фривольном стиле намекали, что шантаж — шантажом, но увлечения Руди не составляют большой тайны. Мета Петцольд, маленькая белокурая балерина из театра «Оперы и балета», на страницах «Полдня» жеманно сообщила, что, по ее мнению, под псевдонимом «Дамы в апельсиновом домино» скрывается одна известная публике особа, гастролирующая в театре «Оперы». Этим откровением белокурая Мета Петцольд мстила своей бывшей сопернице, балерине Лауре Арнд, получившей от Руди в букете цветов великолепное кольцо в гранатом-кабошоном.

Лаура Арнд, прочитав заметку, пришла в бешенство. Она позвонила по телефону в редакцию «Полдня» и заявила, что станет жаловаться в полицию. Зигфрид Грау с необыкновенной любезностью принял Лауру Арнд, целовал ей ручки, проводил до автомобиля, поместил заметку в газете и даже с портретом этой изящнейшей из балерин, которой на утро любовался весь город.

Во всяком случае, каша заварилась. «Полдень»

раздувался в размерах, как воздушный шар. «Огненная мельница» была не прочь предать всю эту гнусненькую историю забвению, но смолчать — значило признать себя побежденной. Тоже и сенсацию не хотелось упустить. Милейший Пильц носился, как вихрь, по комнатам Глэзер-Блау. Он оставлял на своем пути клочки разлетающихся бумаг, опрокинутые чернильницы, номера газет, которыми были набиты его карманы. Чтобы бороться с врагом, надо изучить его недостатки. Поневоле Пильц был одним из самых внимательных читателей «Полдня».

В конце концов в дело вмешался полицейский советник Вурст.

— Пожалуй, вся эта история принимает неприличные размеры, — сказал он, закладывая карандаш за ухо. — Бог мой, какая шумиха! Из-за чего?

Он достал чистый листок, сел, скрючился и написал письмо своему начальнику господину Краммериху. В письме он честно и бестолково излагал все свои соображения, главным образом сводящиеся к тому, что он находит неприличным подвергать газетному обстрелу почтенную фамилию, стоящую к тому же во главе крупного издательского концерна.

Господин Краммерих, получив письмо, не торо-

пясь прочел адрес, понюхал конверт, надел очки, еще раз понюхал и только затем воткнул свой длинный рябой нос в извлеченный из конверта листок бумаги. Окончив чтение, он чихнул, отвалился на спинку стула и закрыл глаза.

— Вурст, несомненно, прав, — сказал он своему помощнику. — Но он не открыл Америки. Я сам об этом думал.

Помощник вопросительно приподнял левую бровь.

— Но у меня свои соображения, — Краммерих помахал конвертом в воздухе. — Я бы прекратил всю эту болтовню, если бы газеты косвенно не содействовали моим планам. В городе у нас, как вам известно, не все благополучно. Эта забастовка на заводе, эти столкновения рабочих с полицией… Ну и так далее… Газетная же шумиха отвлекает внимание обывателей и, так сказать, парализует его…

Помощник значительно кивнул. Краммерих вытащил из кармана платок, лукаво ухмыльнулся и вонзил туда свой рябоватый нос. Он был очень доволен собой.

Зигфрид Грау тоже держал ухо востро. Он рвал все заметки о забастовке, которые проскакивали к нему в кабинет вместе с другим материалом.

«Я, слава богу, социал-демократ и учитываю интересы своих читателей, — приговаривал он, уничтожая крамолу. — Мы не отрываемся от масс. Читателей совсем не интересует забастовка и какие-то там рабочие митинги. Им нужны сенсации вроде апельсинового домино...» И он старался больше насчет сенсации. Он даже похудел за эти дни от волнений, мука сыпалась из его желтой гривы на воротник, а по жилету можно было ознакомиться с недельным меню его обедов, ибо Грау отличался неряшливостью и обжорством. Поглощая сосиски с капустой, он упоенно думал:

«Я то уж их дойму!»

Впродолжение нескольких дней «Полдень» глухо говорил о каком-то разоблачении. Зигфрид Грау не торопился, приберегая удар напоследок. «Огненная мельница», не выдержав, напечатала, что почтенные издатели «Полдня» (не на обертку ли, мол, идет эта, с позволения сказать, газета?) «предаются буколическим забавам, разводя уток». Прочитав эту строчку, Зигфрид Грау вожделенно облизнулся. Он подумал:

«Пора».

Уже с утра газетчики орали:

— Сегодня увеличенный номер «Полдня». Се-

годня номер «Полдень» выходит в увеличенном размере!

Продавщицы шоколада, барышни из будочек с содовой водой, кассирши конфекционов, парикмахеры и маникюрши, приказчики из универсальных магазинов, кельнерши из баров и пивных, влюбленные «в красавчика Руди», лихорадочно ждали появления газеты.

В час дня на Мармор плац появился автомобиль, представлявший подобие трибуны. На трибуне стояли большие картонные фигуры — светского дэнди и женщины, закутанной в апельсиновое домино. Под ними чернела крупная надпись: «ШАНТАЖ ЛИ ЭТО?»

Только на бульваре принца Иосифа полицейские спохватились, что картонный дэнди как две капли воды похож на Руди Глэзера. Автомобиль был остановлен полицией и торжественно арестован. Все это еще больше наэлектризовало обывателей.

В два часа дня появилась армия газетчиков, оравших:

— «Полдень»! «Полдень»! «Полдень»!

Газетку читали на ходу, в автобусах, в вагонах подземной железной дороги, в ресторанах, на вокзалах, в поездах, на улицах, за прилавками, в

парикмахерских, в барах.

Разоблачения «Полдня» начинались пародией на ответ «Огненной мельницы». Не было никакого мюзик-холла. Не было никакого апельсинового домино. И… даже не было никакого шантажа. Господин Г. (что извинительно, принимая во внимание его высокое общественное положение и юность), действительно, вел себя не безупречно по отношению к некой цирковой артистке Ц., о чем эта дама и заявила. Итак: никакого шантажа не было.

С Пильцем из «Огненной мельницы» едва не случился удар. На шее у него висел и плакал Руди. Старый Глэзер в своем кабинете ударом кулака разбил мраморную доску чернильницы. Дело принимало скверный оборот, но у Пильца энергии хватило бы на десять человек. Он пригладил три рыжих волоска, поднявшихся дыбом на лысине, успокоил Руди и помчался к лифту. Спускаясь в кабине красного дерева, он под матовой грушей электрической лампы еще раз пробежал глазами только что полученный адрес, сунул блокнот в боковой карман, бодро вышел из лифта и сел в глэзеровский автомобиль. Великолепная машина дрогнула, мягко снялась с места и бесшумно, как по ковру, по зеркальному

асфальту парадных улиц, понеслась на окраину, в трущобы.

VII

Был час обеда. Папа Гробст кончал свою тарелку горохового супа, когда под окном длительно и певуче пропела сирена, — по гудку было слышно, что проехал шикарный автомобиль.

Папа Гробст не обратил на это обстоятельство никакого внимания. Такие машины не останавливались у дверей его дома. Но любопытная мамаша Гробст, утирая рот полосатым фартуком, высунулась в окно, потом откинулась и взволнованно шепнула:

— Фридрих, это к тебе.

Тотчас же захлебывающееся дребезжание жестяного колокольчика возвестило, что его дернула рука, не терпящая промедления. Папа Гробст вскочил, накинул пиджак и, просовывая руки, не попадая ими в рукава, сдавленно спросил:

— Кого нужно?

— Если не ошибаюсь, Гробст?

— Он самый.

— В таком случае потрудитесь одеться и занять место в автомобиле, — повелительно сказал вошедший.

Папа выронил трубку, нагнулся, поднял ее, обтер рукавом и попросил объяснений.

— Не задерживайте. Я — Пильц, сотрудник газеты «Огненная мельница». Мне необходимо проинтервьюировать вас. Едемте тотчас.

— Про… про… как это? — растерялся папа Гробст. — Что вы, собственно говоря, собираетесь со мною делать? Налоги я плачу аккуратно, а что касается долгов…

Пильц наскоро объяснил. Польщенный Гробст засуетился, решив, что наступила одна из серьезнейших минут его жизни.

— Луиза, где мой новый галстук? Ботинки? Скорее. Вы, господин Пильц, присели бы… а? Луиза, обмахни стул господину. Я сию минуту. Так и знал, что из-за этой девчонки всю жизнь буду терпеть неприятности. Где же одеколон? Как это — нет одеколону? Хорошенькие у вас порядки.

Папа Гробст с достоинством взял котелок, единственную пару перчаток, поправил воротничок, кашлянул и сказал, сдержанно сияя любопытством:

— Я готов.

К автомобилю он прошествовал с таким видом, как будто всю жизнь только и делал, что разъезжал на рольс-ройсах. Необыкновенно прямо

сидя на подушках, откинув голову, он отдувал багровые щеки. Пильц, который был когда-то репортером киногазеты, думал, глядя на его короткую шею, на пухлый и точно смятый профиль, на толстые руки в трескающихся по швам голубых бутафорских перчатках:

«Ну и типаж…»

Гробст, не долго думая, показал, что Грета Цвинге, можно сказать, выросла на улице. Не жалея красок, он описал ее родителей. Отец спился, а мать умерла, простите, под забором. Все это он выпалил не переводя духа. Что касается самой Греты, то… Он надеется в комнате нет женщин? Она тоже уличная, больше ничего. Факты? Сколько угодно. Всем известно, что она тайком подлавливала мужчин и прирабатывала этим. Она жила с мясником Папушем и сбежала от него к прохвосту Маллори. Даже ребенка она от него имела, от акробата. Где ребенок? Ну, уж это не его дело, спросите у нее самой. Потом она сидела на его шее, да, да вот здесь (Гробст хлопнул рукой по затылку), а теперь, говорят, связалась с конюхом. Вообще вся эта история пахнет прокурором. Кстати, когда она уходила из его дома, у жены пропала брошка, он, конечно, ни-ни, нем, как могила, но всяко бывает на свете, почему бы девчонке и не

соблазниться брошкой, пусть он, Гробст, трижды лопнет, если не так…

Исчерпав все доводы, папа Гробст вздохнул, прослезился и утер глаза голубой перчаткой.

— Змею, господа, змею пригрел на своей груди…

Пильц был доволен. Взяв адрес Папуша, он покатил к нему, закурив в авто крепкую черную сигару. Он застал мясника в лавке. Поставив фонарь на грязный прилавок, Папуш, в фартуке, залитом кровью, разрубал топором мясную тушу. На вопросы Папуш отвечал охотно, но так заикался, тянул, мямлил, так беспомощно мигал и ухмылялся невпопад, моргая своими белесыми ресницами, что Пильц тридцать раз терял терпение. В конце концов Папушу удалось объяснить, что Гробст скотина: взял за девчонку деньги, а девчонка (дело прошлое, но говорить, так говорить) сбежала от него к акробату, которому он бы ноги переломал, если бы тот не догадался уехать.

Мамаша Гробст, вызванная в комнату N 3, явилась туда в шляпке с зеленой птицей и в кружевной пелерине со стеклярусом (пелерина к случаю была вынута из сундука и пахла камфарой). Величественно поклонившись, она поплыла к предложенному ей креслу, сложила руки на

животе и поджала губы. Она предупредила, что она — женщина честная и не позволит мешать себя с грязью, а что касается до просьбы показать правду, то и без этого у ней накипело в груди.

— Слишком он добрый, мой муженек! — хрипло кричала мамаша Гробст, потрясая зеленой птицей. — Я бы ее, тварь этакую, на порог не пустила! Она уличная, добрые господа, вот что она такое! Я удивилась, когда Папуш начал за ней приударять, думаю себе — лучше бы свинью из грязи взял и съел ее живьем…

При этих словах брезгливый Пильц болезненно содрогнулся.

Вслед за мамашей Гробст прибыла разряженная Матильда Раупах. Свистя шелком короткой юбки, улыбаясь, стреляя глазками направо и налево, она протянула Пильцу свою надушенную маленькую ручку и, закинув ногу на ногу, закурила папиросу. Мило пощебетав о погоде, она извинилась: муж не мог приехать — дела, но она лично не откажется пролить свет на всю эту историю, в которой замешан милый, ни в чем не повинный Руди. Получив согласие, Матильда села так, чтобы показать свое округлое колено, обтянутое серебристым шелком чулка, оперла подбородок на ладонь левой руки и, презритель-

но скривив ротик, сказала, что, по ее мнению, Грета Цвинге — опасная авантюристка.

— Еще тогда, когда она ворвалась к мужу, — рассказывала Матильда, таинственно понижая голос. — У меня сердце екнуло. А потом… Что она только выделывала! Говорили (и я этому вполне верю), что она была в связи с нашим конюхом. Я сама застала их однажды в коридоре…

Матильда остановилась, покачала в воздухе замшевой туфелькой и добавила, с ужасом раскрывая глаза:

— Я думаю она нимфоманка…

Матильда сидела минут двадцать, шепотом, при закрытых дверях, поверяя свои подозрения Пильцу. Потом она поднялась, поворковала о концерте модной англичанки, пианистки Алисы Айлэн и упорхнула, на ходу запахивая свое шелковое манто, подбитое горностаем.

Утренний номер «Огненной мельницы» распух от всех этих интервью. Фотографии Гробста и его супруги, Матильды Раупах, Папуша, так и мелькали. Все эти интервью свидетельствовали, что Грета Цвинге — шантажистка, опасная женщина, женщина уличной авантюры, под скромной маской цирковой артистки скрывавшая чудовищный разврат. Что касается Руди, было

очевидно, что он попался в хитро расставленные сети, будучи невинным, как святой Иосиф.

Гнусная уличная газетка «Курьер», прихлебатель и лизоблюд, из угодливости напечатала «показания» некой Эммы Францлау, прачки из отеля «Манифик», клятвенно заверившей, что, живя с Маллори, Грета ухитрялась обманывать «престарелого акробата» (так и напечатали) с его же товарищами по ремеслу. Откуда прачка Эмма Францлау могла знать такие интимные подробности, об этом газетка умалчивала. Даже дряхлая «Маленькая кофейница», жалкое приложение к «Глэзер-Блау», журналу, прошамкала что-то о Грете Цвинге и попыталась лягнуть ее своим литературным копытом. Зато иллюстрированный еженедельник «Глэзер-Блау-Шпигель» расщедрился на целых девять фотографий: балаганчик папы Гробста, мамаша Гробст варит на примусе суп, мясная фура у дверей лавки Папуша, Маллори и — венец всего — большая, во всю страницу, фотография Греты, сидящей у туалетного трюмо с зеркалом в одной руке и карминовым карандашиком в другой, увеличенная с карточки, которую ухитрился достать энергический репортер, подкупив горничную артистки.

Номер «Глэзер-Блау-Шпигель» обыватели рас-

хватали в каких-нибудь полчаса. Находили, что у Греты дегенеративный лоб и «патологические черты лица». «И что в ней хорошего? Не понимаю. Худощавая, глаза, как тарелки», — возмущались фрау. Мужья запускали глаза на портрет с осторожностью, через плечики жен, и находили, что «авантюристка-то чертовски соблазнительна». Психопаты, разузнав адрес Греты, строчили ей письма: «Очаровательница, если вы находитесь в затруднительном положении, рассчитывайте на меня. Мысленно целую ваши пальчики…» Или: «Крошка, у вас дивный ротик…» и предлагали звонить по телефону. В парикмахерских кокотки требовали причесать их «a la Грета».

«Огненная мельница» трубила в фанфары. Знакомые поздравляли Руди, как будто он выздоровел после тяжелой болезни. Ему звонили по телефону, присылали цветы, поздравительные открытки, записочки, телеграммы. Руди томно прочитывал их, валяясь в постели. С некоторым опасением он ждал, как отзовется «Полдень». Но «Полдень» не отозвался никак, как будто Руди и на свете-то никогда не бывало. Зигфрид Грау уже гонялся, высунув язык, за новой сенсацией: «Убийство на улице Королевы». Газетчики надрывались:

— Убийство на улице Королевы! Таинственное убийство! Найдено окровавленное письмо! Читайте газету «Полдень», самую популярную, злободневную, веселую газету «Полдень»!

VIII

В разгар новой сенсации с убийством Зигфрид Грау был оторван от работы курьером, с значительным видом положившим к нему на стол визитную карточку:

ПЕТЕР ФОСС
Знаменитый мимист, иллюзионист, чревовещатель, фокусник, творец эффектных необыкновенностей.

Зигфрид Грау повертел карточку, пожал плечами и велел просить. Фосс вежливо снял шляпу, опустился в кресло, закурил и сказал, глядя в потолок:

— Я пришел по делу Греты Цвинге.

Зигфрид был разочарован. Кивком головы он показал, что принял заявление к сведению, протянул по привычке ноги, плюнул себе на башмак и, побарабанив пальцами по столу, зевнув, спросил небрежно:

— Ну и что же?

— К сожалению я был в отъезде. Вся эта гнусная история разыгралась без меня. Я решительно настаиваю, чтобы ваша газета поместила опровержение, поскольку она первая подняла крик. Я заявляю, что все это чудовищная ложь, показания этих прохвостов Гробстов, Матильды Раупах и прочей компании…

— Мы их не печатали эти показания, — равнодушно вставил Зигфрид Грау, выстукивая пальцами марш амазонок «Все мы в бой идем, спешим, тра-та-та», модный в этом сезоне и пущенный опереткой «Голубая девственница».

— Да, но вы подливали масла в огонь, — нетерпеливо сорвалось у фокусника. — И согласитесь, что не Глэзер станет печатать опровержения.

— Совершенно верно изволили заметить.

— Тогда?

Зигфрид Грау безнадежно скривил рот. Он барабанил рефрен: «Мы красотки, мы красотки, мы малютки-амазонки…» и, жмурясь, облизываясь, вспоминал гибких фигуранток из кордебалета, обнаженные груди которых сверкали со сцены заманчиво, как райские плоды.

— Позвольте вам заметить, господин редактор, что вы имели дело не с куклой, но с живым чело-

веком, которого нельзя безнаказанно обливать грязью и травить собаками. Связь была и отнюдь не мифическая. Глэзер сошелся с девушкой, а потом бросил ее. Она беременна. Она нищая, Раупах не замедлил вышвырнуть ее из цирка, вам это, надеюсь, известно?

«Все мы любим и любимы…» Как это? Ах, да: «не теряем дней впустую…» «Какие, однако, шельмы эти маленькие плясуньи!» Тут Зигфрид Грау опять остановился, погладил рукою доску стола и сказал лениво:

— Охотно верю. Все Глэзеры — скоты.

Фокусник яростно затушил папироску, притиснув ее к краю грязной бронзовой пепельницы.

— Тем лучше. Девушку надо оправдать.

— Ничего не имею против. Только делайте это помимо «Полдня».

Наступило короткое молчанье. Фосс пригнувшись тяжелым взглядом смотрел на редактора в упор. Зигфрид Грау, протянув ноги мало не до средины комнаты, постукивал по столу серебряным карандашиком. Это было аллегро из четвертого акта: «Сегодня здесь, а завтра там, в жизни много нужно нам», кульминационное аллегро при заполненной сцене, в ослепительном сверкании ламп, с голыми хористками на втором

плане и согрешившей девой на первом. Согрешившая дева с райской простотой была одета в диадему из перьев, кроме того она держала в руке японский зонтик. Она пела: «Сегодня здесь, а завтра там, ему любовь свою отдам, себя отдам, та-рам-пам-пам…» Редакторский карандашик прыгал, как одержимый, отбивая шестнадцатые дьявольского аллегро.

— Вы слышите, чорт вас возьми! — вспылил фокусник. — Мне остается обратиться в суд.

— Сделайте одолжение, — пожал плечами Зигфрид.

Фосс поднялся, комкая шляпу.

— Так вы отказываетесь? — спросил он глухо.

— Вот именно, — подтвердил редактор. — Я не стану печатать какие-то там опровержения, мой друг, потому что вся эта история надоела читателям и набила оскомину. Сразу видно, что вы ничего не смыслите в тонкостях газетного материала. Мне надо было поднять тираж моей газеты, и я поднял его, да, я, Зигфрид Грау. А там хоть трава не расти… Карл, проводи господина!

Оставшись один, энергический редактор победно встряхнул желтой гривой, прошелся по кабинету, подтянул брюки и фальшиво запел: «Сегодня здесь, а завтра там…» «Ах, чорт возь-

ми, ну и бесенок же эта лупоглазая певичка!..» Оркестр объят судорогами, скрипки, как по лестнице, все выше, все быстрей, этими задыхающимися пиччикато, палочка дирижера мигает, как молния, японский зонтик так и порхает по сцене. «Сегодня здесь, а завтра там, по долам и по горам, поищи-ка больше счастья и участья и любви, огонь — в крови, пожар — в крови, люблю — лови, твоя — лови, та-рам-ти-ри...» Протянув покозлиному последнюю нотку, милейший Зигфрид опять поправил сползающие брюки, сел за стол и, как ни в чем не бывало, со следующей буквы, принялся строчить прерванную статью об убийстве на улице Королевы.

Тем временем Фосс звонил в подъезде дома, где жил Краммерих.

Почтенный администратор не без колебания принял фокусника в своем стильном кабинете темного дуба. Не прерывая, он выслушал все до последнего слова, помолчал, потом обратил на Фосса тусклые глаза и сказал бесповоротно равнодушным голосом:

— Если я не ошибаюсь, вы желаете начать процесс, обвиняя орган «Глэзер-Блау-Концерна» «Огненную мельницу» в напечатании непроверенных сведений, порочащих репутацию девицы

Греты Цвинге?

— Именно, — подтвердил Фосс раздраженным голосом.

Краммерих задумчиво поглядел на ручку-автомат, пожевал губами, взял ее, понюхал и положил на стол.

— А у вас есть доказательства? — проскрипел он.

— Да, могу доказать.

Краммерих улыбнулся этой наивности.

— Вы можете доказать? — презрительно переспросил он, понюхав пресспапье и аккуратно укладывая его на место (у Краммериха был нос ищейки). — Вы можете доказать? Вы ничего не можете! — заключил он, ударяя на слове «ничего».

Фосс вскочил, едва сдерживаясь. Краммерих тоже поднялся, тяжело оперся о край стола своими старческими руками и смерил посетителя с головы до ног.

— А как вы думаете, господин фокусник, — с презрением оттенил он, — мы сидим здесь и тактаки ничего не знаем? Вы являетесь и начинаете нас учить? Позвольте вам заявить, что моя голова работает не хуже вашей, и для меня совершенно ясно, что если такое почтенное издательство,

как «Глэзер-Блау-Концерн» печатает что-либо, то сведения эти строжайше проверены. Не заставляйте меня терять время, внушая вам подобные истины. И не пытайтесь бороться с Глэзерами, ибо вы — ничто, а Глэзеры — сила.

Фокусник закусил губы, чувствуя себя оплеванным, униженным этим равнодушным человеком. Он уже дошел до дверей кабинета, тупо разглядывая строгие ромбы полированного дерева, блестящие под тяжелыми складками портьер, но в дверях остановился (все так и кипело в нем), заложил два пальца в рот и, срывая злобу, дико, попетушьи, загорланил:

— Ку-ка-ре-ку!..

Краммерих вскочил, как ужаленный. Из приемной высунулись посетители, ожидающие очереди, торопливо, с испуганным лицом, пробежал по коридору лакей. Фосс вынул пальцы изо рта, надвинул шляпу и, не оглянувшись, величественно вышел.

IX

Грета получила счет из конторы гостиницы. К вечеру она должна была освободить номер. Она села у зеркала и со смутным чувством ужаса и боли причесала волосы, провела пуховкой по ли-

цу. Она видела в зеркале свои широко раскрытые безумные глаза. Ей стало страшно, она содрогнулась и отошла.

Раздвинув гардину окна, она смотрела вниз, на Мармор плац, сумрачную и призрачную в тумане. Снег шел с утра и тотчас же таял, летели, налипали на стекло крупные белеющие хлопья. Блестел глубоко внизу грифельный асфальт площади. По запотевшему стеклу медленно скатывались капельки влаги, оставляя светлую полоску, извилистую и узкую, похожую на серебряную нить.

Грета задумалась, сдвинув брови. Перед ней неотступно стояло лицо Руди с его низким лбом и красивыми глазами зверя. Он хохотал: «Меня не проведешь, нет, не проведешь. Почем я знаю, от кого ты беременна!..» Она задыхалась от ненависти. И Раупах, жирный Раупах, похожий на мулата своей темной кожей. Он бесновался, багровея, выкатывая близорукие глаза. «У меня цирк, а не публичный дом! — орал он так, что слышно было на улице. — Благодаря вам мое честное имя треплют все газеты!»

Грета, протянув руки, отталкивала их — Раупаха, Матильду, Руди, Гробстов, все кошмары, которые терзали ее во сне и наяву. Она топала ногами и кричала, кусая пальцы: «Оставьте ме-

ня!» Но они не уходили. Они свистели, плевали, выли, улюлюкали, заливались мерзким смехом. Тогда она бросалась лицом в подушки и лежала неподвижно, как мертвая. Она пряталась даже от девушки, входившей убрать номер. Она боялась выходить на улицу и только вечером, торопливо, как вор, с руками влажными от страха и с блуждающим взглядом, спускалась, минуя залитый светом вестибюль. Ей казалось, что за ее спиной на нее показывают пальцами, раздевают взглядом, цинично смеются: «Смотрите, смотрите, это Грета Цвинге!» Она не могла заставить себя войти в магазин или пойти пообедать. Девушка приносила ей в номер кружку молока и хлебец. Этим она жила. Как-то на улице она столкнулась с Матильдой Раупах, выходившей из автомобиля. Она бросилась бежать и бежала так, точно за ней гнались с револьвером, потом остановилась, ухватившись рукой за выступ какой-то стены, и затряслась в припадке мучительного страха. У ней колени подгибались… Дом на нее падал… В конце концов она разрыдалась, как безумная. В сумерках раннего вечера она шла, всхлипывая глубоко, со слезами, без удержу катившимися по щекам, растрепанная и жалкая, с бессмысленным, тусклым взглядом и ртом, подергивавшимся

судорогами неслышного, страдальческого смеха — так смеялся в балаганчике папы Гробст бедняга Пумперпикель.

Она пробовала защищаться. С отчаяньем в душе она протестовала, спорила, сопротивлялась, не зная, как уберечься от потоков грязи, которыми ее обливали с головы до пят. Но всюду она натыкалась на стену, ледяное равнодушие, презрение или любопытство. Люди, к которым она обращалась, разговаривая с ней, смотрели на нее, как на вещь. Они были вежливы, но Грете казалось, что они готовы рассмеяться ей в глаза, заплевать ее, истоптать ногами. «Смотрите, смотрите, это Грета Цвинге!» Потом она покорилась. Но Гробсты, Гробсты, как они должны были ликовать! Ее пальцы сжимались до боли в суставах, ногти входили в кожу. Если бы можно было вцепиться в живое мясо, терзать, рвать!.. Она не знала, куда броситься. У ней не было ни денег ни работы — ничего. Фосс, единственный человек, который был ее другом, сам лежал больной в больнице. Раупах, выгнав ее, не доплатил за месяц. С отчаянья она пошла в бюро наемного труда, основанного одной дамой-благотворительницей, развратницей и ханжой, о которой восторженно писали: «Ангельское сердечко из-

вестной красавицы госпожи Н.». К ней вышла заведующая, седая дама с ниткой фальшивого жемчуга на голой напудренной шее. Выслушав ее, дама покраснела от негодования. «Уж не хотите ли вы поступить бонной в приличную семью? — прошипела она, стискивая зубы. — У вас такая блестящая рекомендация, что ни одна мать не затруднится доверить вам воспитание своих детей...» Грета побледнела. Пришлось с позором уйти. На лестнице она остановилась и закрыла глаза — она боялась упасть в обморок. Хозяин гостиницы, кругленький буржуа с непогрешимыми сединами патриарха, выведенный из терпения телефонными звонками, толпой зевак и натиском репортеров (кстати, в одного из репортеров влюбилась его дочка, а это уж было из рук вон), попросил Грету освободить номер.

Чтобы погасить счет гостиницы, Грете пришлось приложить к деньгам, которые у ней нашлись, свою единственную дорогую вещь — меховую пелерину. Тонкое белье из незапертого шкафа, раскрала горничная, не пожелавшая с ней даже объясниться. Ее избегали все, от нее брезгливо сторонились, как от больной, опаршивевшей собаки...

На Мармор плац, когда она вышла, зажигались

крупные редкие огни, одинокие в тумане. Было сыро и холодно, в безветреной тьме ненастной зимней ночи снег продолжал падать. В кольце фонарей, слепо и панически волнуясь, кружились редкие большие хлопья. Высоко вверху, над этажами огромных зданий, из сверкающего горлышка бутылки падала в стакан огненная струя рекламного шампанского. Трепетали, жемчужно сияли сквозь туман, огни освещенных витрин и подъездов.

Грета инстинктивно сворачивала туда, где было безлюднее, темнее, тише. Она шла теперь по каким-то незнакомым улицам, мимо угрюмых громад, подслеповато мигающих рядами окон, мимо уходящих в туман высоких казарменных зданий с каменными оградами, с львиными мордами и чугунными гербами решоток, за которыми чернела ночь, окружавшая все эти дремлющие особняки.

Начинались окраины, безлюдные и глухие. Она шла замерзшая, голодная, одержимая бредом, стиснув до боли зубы и отворачивая от ветра лицо. На углу улицы она остановилась, чувствуя, что не может отвести глаза от какого-то предмета. Это был продолговатый шафранный пирог в окне маленькой булочной. Видно было в стекло двери,

как дремлет, уронив клубок на колени, старушка булочница в чепце. Грету тошнило от голода. С трудом она заставила себя оторваться и уйти, но не могла не чувствовать вкуса шафранного хлеба у себя во рту. Руки у ней дрожали, когда она поправляла волосы.

Перед ней расстилался пустынный сквер с осенними клумбами, с одиноким фонарем и свинцовыми лужами, чуть запорошенными снегом. На мокрой скамейке темнела человеческая фигура. Плохо одетый мужчина, скрючившись и выставляя драные локти, быстро, с сосредоточенной жадностью, пособачьи ляская зубами, пожирал что-то, что держал в кусочке промасленной бумаги. Грету поразила эта поза, эти локти, расставленные так, как будто изо всех сил защищал он кусок, который пожирал с урчаньем изголодавшегося животного, эта нищенская одежда, вжатая в плечи шея, точно ожидавшая удара сверху, стоптанные башмаки, которые он прятал под скамейку. Со страдальческим любопытством разглядывая незнакомца, Грета отшатнулась вдруг, как от призрака: на скамейке сидел Пумперпикель.

Он поднял голову и, прожевывая, тупо уставился на нее. Вдруг лицо его дрогнуло, он приподнял-

ся с испугом.

— Грета Цвинге!

Она ждала. Старик, отмахиваясь, зашептал какую-то длинную фразу, невнятно выговаривая слова, пришепетывая, помогая себе странными движениями распухших пальцев. Грета спросила грустно.

— Что с вами, Пумперпикель?

Пумперпикель, казалось, пришел в себя.

— Гробст выгнал, — нерешительно пробормотал он. — А куда деваться? Мне уже пятьдесят лет, стара стала шкура. На что я теперь годен? Туговато, что говорить…

Лицо его дрожало от холода или от плохо подавляемой боли. Он ежился и всхлипывал, стараясь засунуть руки в рукава.

— Хоть бы издохнуть, один конец. Бродишь вот так, как собака, а тебя еще пинками в спину… Отслужил свое, отслужил… Никому ты больше не нужен.

Казалось, он забыл о Грете. Опустившись на скамью и свесив на грудь голову, он повторял, шамкая, последнюю фразу, все тише, почти про себя, слезливо вздыхая, отворачиваясь и содрогаясь от кашля, потрясавшего его грудь:

— Как собака… как пес паршивый… никому,

брат, не нужен… совсем, говорю, не нужен… никому… — И вдруг спохватился. — Ну, а вы-то, Грета…

Она, не отвечая, с ужасом смотрела на него.

— Ах, знаю, знаю. Много про вас писали, — вспомнил он, жалко улыбаясь и кивая. — Врали, поди, все. Уж я-то знаю, что врали… Мне про вас Клумпэ рассказал. Он меня прикармливает, как старого пса, Клумпэ. Без него давно бы с голоду подох… Клумпэ говорил: все они негодяи, топят девушку, а почему? Мяса женского захотелось… — И, потеряв нить мыслей, беззубо засмеялся. — Отслужил свое и не нужен… никому на свете не нужен… никому.

Грета отшатнулась.

— Замолчите, Пумперпикель, — с мольбой шепнула она, поднимая руки и защищая ими лицо.

— А помнишь… кукиш в кармане, через голову — кувырк! Много я посмеялся, я, кляча, старое барахло, раздирал пасть, как дурак последний, думал, что в старости меня за это станут кормить. В зубы ногой — ха-ха-ха!.. помоями окатили. Ой, как смешно… пощечину получил — заливаешься — ха-ха-ха!..

Пумперпикель дико смеялся, перекосив лицо, хриплые, лающие звуки вырывались из

его пустой груди без удержу, вместе с кашлем. И чувствуя, как шевелятся волосы на голове под дуновением мгновенного ледяного ужаса, Грета кинулась бежать, оскользаясь, едва не падая, полумертвая от страха, оглохшая от стука собственного сердца, не понимая ничего, прижмуривая глаза, чтобы не видеть пропасти, открывшейся под ногами.

X

Прошло много времени, прежде чем на каменных плитах тротуара рядом со своей мятущейся тенью она увидела чужую тень.

Кто-то преследовал ее бесшумно и настойчиво, с очевидным упорством. Она оглянулась. Это был пожилой мужчина, аккуратно, постаромодному одетый. Конечно, он узнал ее… Грета сжалась вся, как собака, в которую бросили камнем.

— Ваше лицо мне удивительно знакомо, — заговорил мужской голос (у ней создалось впечатление округло-аккуратного баска). — Не припомню, где вас встречал.

Грета вздрогнула, охваченная припадком отвращения. Она поймала себя на том, что прислушивается к манере его речи и это еще больше озлобило ее.

— Я — Цвинге, Грета Цвинге, — сказала она в упор. — Да, да, та самая…

Мужчина сдержанно снял котелок.

— Карл Гутман, — деловито представился он. — Торговец шерстью из Ансбаха.

Ожидая насмешки, она сурово смотрела на него.

— Вчера только приехал, — пояснил он, — с родными повидаться.

— Ну и что же?

— Ну и думаю… сейчас время ужина, хорошо бы поужинать в компании с барышней.

Грета стиснула зубы. Она закрывала лицо, отворачивалась, до крови кусала губы, зажимала рукой рот, смех ее душил и готов был вырваться пополам со слезами. Прижавшись к стене, она смеялась, смеялась, смеялась, как сумасшедшая, как… как Пумперпикель. Слезы текли у ней по лицу, так она смеялась. Ее трясло, как в лихорадке. Гутман испуганно смотрел на нее, он не мог понять смеется она или плачет, а если смеется, то как можно так смеяться?

— Нет, я с вами не пойду, — сказала она, гневно притопнув ногою. — Нет, нет. Как вы смеете? — Губы ее подергивались. — Видели Пумперпикеля? Он хохочет, хохочет, как одержимый. Вы знаете,

над чем он смеется? Над собой, над тем, что он подыхает, подыхает, подыхает с голоду… Ах, бог мой! — наконец разорвала она. — Неужели вы не понимаете?

— Дева пресвятая, какой Пумперпикель? — пробормотал Гутман. — О чем вы говорите?

— Пумперпикель… с летучей мышью на животе… Его выгнали, потому что он стар. Он жрет колбасу, как голодный пес… потому что он никому… никому… никому не нужен.

Грета выговаривала слова шопотом, между приступами смеха.

— Вы бредите, — печально сказал Гутман.

Торговец шерстью решил, что девчонка пьяна. Но это его особенно не беспокоило, вот такие-то податливей. Он еще подумал, что можно будет сэкономить на ужине.

Грета вырвала руку и сделала несколько шагов. Ее шатало.

— Да поддержите же меня! — крикнула она грубо. — Я падаю… не видите?

— Куда мы пойдем? — вежливо спросил Гутман.

— Куда мы пойдем? Ты пойти хочешь? Я буду говорить тебе «ты», — прошептала она, упираясь и останавливаясь, оступаясь на краю тротуара.

— Мне очень приятно, — возбужденно хихикнул торговец шерстью, жадно оглядывая ее всю. — Это мне — как мед.

— Зачем я тебе буду приятное делать? — поймала она и ужасно удивилась. Сама не сознавая, она послушно следовала за ним. — Я, думаешь, пьяна? Это Пумперпикель пьян, а я на ногах держусь, пусти меня!.. — Она опять выхватила руку. — Вот так. Пойдем. Падаль, падаль!.. — Она начала задыхаться. — Чего глядишь? Не я и не ты. Это Пумперпикель падаль.

— Ну, конечно, же Пумперпикель, — вежливо подтвердил торговец шерстью. — И говорить о нем не стоит. — А сам думал: «Ну и странное же у любовничка имя…»

— Молчи, — перебила она, мучаясь. — Как ты смеешь? Ты не знаешь ничего, а Пумперпикель знает, когда его самого ногой, ногой… пинками… в спину…

Впервые голос у ней зазвенел слезами.

XI

Торговец шерстью выбрал кабачок «Геркулес» на углу улицы Угольщиков. Они вошли в ярко освещенную грязную комнату, синюю от табачного дыма и кухонного чада. В дальнем углу, под

красной лампой, как из преисподней, визжали две скрипки. Посетители говорили громко, все зараз, не стесняясь перебранивались через столы. Пролетела над головами и шлепнулась о стену брошенная кем-то бутылка, по камню разбрызнулась и потекла вниз темная пенистая жидкость. Гутман неодобрительно посмотрел по направлению брошенной бутылки и пожал плечами.

— Что заказать на ужин? — спросил он спутницу.

— Все равно. Ничего. Нет, вина, обязательно вина, — заторопилась Грета. — Мне холодно.

Принесли скользкие сосиски, залитые томатом, и угря под уксусом. Грета позабыла, что она голодна. От угря ее мутило. Не дожидаясь Гутмана, она налила большой стакан вина и выпила залпом.

— Браво, женщина! — насмешливо крикнул за соседним столом чей-то голос.

Она быстро оглянулась, покраснела и остановила на Гутмане беспомощный взгляд. Впрочем, все равно… Поставив локти на стол, расстегнув и сбросив пальто, разомлев от теплоты комнаты, она блаженно и бессмысленно улыбалась. Соседи с удивлением оглядывали красивую девушку, ее маленький рот и великолепные ресницы. Грета заметила это выражение беззастенчивого лю-

бопытства. На лице ее мелькнуло беспокойство, вытянув шею, она с робостью обвела глазами соседей. Рука ее задрожала от страха и вино пролилось на стол.

На минуту ее охватил такой безнадежный ужас, что дыхание остановилось и кровь отхлынула от щек. Ее узнали! Она подавляла инстинктивное желание бежать, жалко цепляясь за край стола ослабевшей рукою. Потом страх прошел. Бледная и растерянная, с тупым взглядом затравленного животного, она насильно жевала кусочки жесткого мяса. Они не шли ей в горло, не в силах проглотить, она незаметно выплюнула их в руку и зашвырнула под стол. Почему-то ей вспомнилась тощая, цирковая собака «Анжела», заболевшая водобоязнью… Потом она долго пыталась закурить папироску и, закурив, тотчас же потушила. Левая рука попала в лужицу пролитого вина, она едва не вскрикнула, с омерзением ощутив липкую жидкость, и, содрогнувшись вытерла руку о платье… Но вечер все-таки довершил Вовчек Решка, чех, парикмахер с улицы Угольщиков.

Вовчек считал себя передовым человеком. Что, что, а уж «Огненную мельницу» он читал аккуратно. Кроме того он был скор на соображение. В

один миг точно вдохновение его осеняло. В такие вдохновенные минуты он нещадно расправлялся с волосами своих клиентов, и было бесполезно ему возражать, когда он энергическим взмахом ножниц повергал свою жертву в трепет. Теперь, озаренный свыше, Вовчек Решка посмотрел на Грету и подумал: «Она».

Прежде всего парикмахер поделился новостью с хромым сапожником, хозяином мастерской «Одно изящество». Потом он пригнулся к соседу слева, булочнику из переулка, и зашептал ему на ухо. А там пошло и пошло. Новость перебегала от одного к другому, как занимаются от огня сухие листья. Даже те, кто никогда и не слыхивали об этой истории, смотрели на девушку только потому, что на нее смотрели другие. Кое-где хихикали. Кое-кто становился на стул, чтобы лучше видеть. Перешептывались, подталкивали друг друга, ухмылялись. Подвыпивший сапожник сказал вслух: «Аппетитный кусочек». Булочник добавил, облизываясь: «Мягка, как пирожное…»

Музыканты перестали играть и стояли на своих табуретах, жадно глядя, держа скрипки подмышками. Парикмахер Решка лихорадочно суетился, перебегая от одного стола к другому, разнося сплетни и чувствуя себя почти героем

вечера. Оживился даже невозмутимый хозяин «Геркулеса». Он привел из кухни жену и сказал ей: «Будет тебе шпионить за кухаркой, погляди-ка, вон сидит глэзеровская дамочка». Жена закудахтала, как курица. Держась за ее подол, прибежал восьмилетний хозяйский сынишка, он захохотал во все горло, заметив, что какая-то зрительница попала ногой в миску с капустой. Зашипели: «Тс! Тс!» Никто не решался прервать молчание.

И тогда вылезла из-за стола девица в желтом платье.

Это была перезрелая особа, нещадно подмазанная, с глазами на выкате, с наглой усмешечкой на губах. Тугая юбка ее, вздернувшись на животе, открывала до колен толстые ноги в чулках цвета сырого мяса. Бесцеремонно растолкав толпу, она подошла к Грете и остановилась, разглядывая ее в упор. Грета, бледная, тоже смотрела на нее, вздрагивая губами.

В комнате стало еще тише. Все следили за двумя женщинами, с истерическим любопытством ожидая, что будет.

Желтая девица подбоченилась, взялась руками за бока и прошлась, виляя на ходу бедрами, нагло ухмыляясь Грете в лицо. Грета продолжала

смотреть на нее, затаив дыхание и все больше бледнея. Гутман осторожно пятился, пожимал плечами и поднимал глаза к небу, как бы вопрошая: «Куда я попал?»

— Ишь, явилась наш-то хлеб отбивать, — с наглостью отчеканила желтая девица. — Надоело по Марморштрассе шляться, за нашими кавалерами гоняться начала… — И засмеялась хриплым, пьяным смехом.

Кто-то в толпе тоже засмеялся — запоздало и глупо: «Гы-гы». Тогда Грета рванулась и, прежде чем зрители успели опомниться, вцепилась желтой девице в волосы. Желтая девица пронзительно завизжала. Они покатились по полу, опрокидывая табуреты, ударяясь головой о ножки столов, разрывая друг на друге одежду, Грета молча, как каменная, со стиснутыми зубами, желтая девица — визжа и фыркая, стараясь плюнуть противнице в лицо. Мужчины наконец их разняли.

Желтая девица выла, размазывая слезы вместе с краской. Грета, растрепанная, с кровавой царапиной на щеке, с горящими, как у зверя глазами, страшная и жалкая, в лохмотьях кофточки, клочьями висевшей на голой груди, стояла неподвижно. В суматохе доблестный торговец

шерстью незаметно исчез.

Парикмахер первый побежал за полицией. Мужчины начинали посмеиваться, оглядывая Грету, женщины следили за ней глазами, яркими от любопытства. Желтая девица рыдала все громче, и хозяйка увела ее в кухню, дала полотенце вытереть лицо. Оставив ее в кухне, она убежала досмотреть занятное зрелище.

Раздвигая толпу, бодро вошел бравый шуцман, усатый, краснощекий, со свиными глазками, с округленным ртом. Бойко подвигаясь, подмигивая, он спрашивал: «Где? Кто?»

Ему указали пальцем. Шуцман приостановился, выпрямился, выпятил грудь, осанисто расправил плечи и, как в театре, на сцене, бодро шагнул вперед. Он искал глазами виновницу скандала и наконец нашел ее. Он не удивился. Перед ним в кругу расступившейся толпы сидела и смотрела исподлобья остановившимся взглядом самая обыкновенная проститутка.

В. Наседкин
Во ржи

Лицом и руками его ты берешь,
А он ускользает и на ухо шепчет.
Волнуется, прядая, спелая рожь,
Дуй, ветер, дуй, милый, покрепче!

(Погода такая и полдень такой,
Что, право, не знаю, что стало со мной.)

Где синие вихри, вдали на краю, —
Там будто не рожь, а бегущее стадо.
И я, очарованный, в поле стою
И большего сердцу, как будто, не надо.

Как будто, не надо, как будто, все есть,
Чтоб сердцу живому вовек не отцвесть.

Ах, что за минута приходит ко мне,
Я весь наполняюсь сладчайшею дрожью,
Как самый счастливый в любимой

стране,
Богатой трудами, простором и рожью.

И так говорю под журчание птах:
Прекрасно глаза бы оставить в полях!

Мне скажут: неумная, детская ложь.
Но ветер другое мне на ухо шепчет.
Волнуйся и прядай, белесая рожь,
Дуй, ветер, дуй, милый, покрепче!

(Погода такая и полдень такой,
Что, право, не знаю, что стало со мной.)

Ночная дорога

Жуть — пристяжкой.
Час глухой.
След дороги неприметен.
Леденелою трухой
Обдает шершавый ветер.

Поступь конская строга.
По оврагам волчьи взгляды.

Эти грязные снега,
Видно, им одни лишь рады.

По дороге в полутьме —
Тут ухабы, там сугробы.
Знай, что будет страшно мне,
Не поехал ни за что бы,

Я любому бы сказал:
— Милый мой,
Ты сам езжай-ка,
Если вдруг затосковал,
Или ждет тебя хозяйка.

Все же еду.
Час глухой.
Вой погоды неприветен.
Дымной, пляшущей трухой
Обдает шершавый ветер.

К чорту страхи!
Я готов
И гнуснее слушать речи.
Вон уж крики петухов
Долетают мне навстречу.

Вон уж кто-то из кремня
Высекает искры окон.
Пусть хоть сани на меня!
На возже доеду, боком!

.....

Пояс радуги с луной
Выплыл словно для потехи.
Луч оборванной струной
Задевает даль и вехи.

Избы — мимо, в стороне.
Я спешу до новых окон.
Полем, будто по луне,
Конь бежит тяжелым скоком.

Кресты

Их пять крестов на сельской колокольне,
Когда-то белой, а теперь облезлой.
Их пять крестов, и все они погнулись
От времени и ветра, и дождей,
Смиренно кланяясь всему селу.

Как памятник усопшему былому —
Убогие и нищие кресты.

Их поправлять как будто не пристало,
Хотя иным достаток бы позволил.
Но тратиться на это, что за прок.
Уже сошла былая позолота,
Что издали сияла так на солнце.
Чернеются железные бруски,
Железные согнутые бруски
На нашей сельской колокольне,
Готовые вот-вот упасть совсем.

Под колокольной тенью, за дорогу
Поповский дом, осевший, полусгнивший
С дырявою проржавленною крышей.
В нем доживает свой печальный век
Единственный ревнитель православья,
Служитель церкви — старый дряхлый поп,
Сующий руку по привычке давней
К губам старух и древних стариков.

Он целый год себя готовит к смерти.

Она не за горами. Каждый пост
Он пред причастьем кается народу
И не сегодня — завтра отойдет.
Но кто преемником? Оболтус дьякон?
Не нравится он никому в селе
За жадный норов и пустые речи.
Умрет старик — и церковь закрывай.

И, может, через год крестов не будет.
Они падут, подброшенные ветром
В траву к ограде, как железный лом,
И вот тогда под шутки молодежи,
Возможно, пригодятся кузнецу,
Чтоб наварить сработавшийся лемех.
Наверное, с крестами выйдет так.

На смену им задами за читальней,
За школой и над избами кой-где
Наставлены высокие шесты.
(Попарно их соединяет провод.)
По вечерам, когда пригонят стадо,
Они Москву приводят на село,
И слушают — толпа и одиночки —

Вначале — речи, а потом — концерт.

Их пять крестов на сельской колокольне,
Когда-то белой, а теперь облезлой.
Их пять крестов, и все они погнулись
От времени и ветра, и дождей,
Смиренно кланяясь всему селу.

Как памятник усопшему былому —
Убогие и жалкие кресты.

Ан. Пестюхин
Из мурманских стихов

I

НОРВЕЖСКАЯ ПЕСНЯ

Он был моряк — веселый человек...
На пристанях его приветливо встречали.
Но кончил он морской, недолгий век,
Как многие и до него кончали.
Он был моряк — веселый человек.

В какую ночь разбила буря бриг?
Никто вестей об этом не приносит.
И только чаек дальний резкий крик
На том заливе ветер носит.
В какую ночь разбила буря бриг?

Зимой приходят с промыслов суда,
Глаза родных давно их ожидают.
На дамбах звонко плещется вода,
И паруса под ветром закипают.

Зимой приходят с промыслов суда.

Целует сына мать. И к мужу льнет жена,
Горит румянец встреч и ожиданий...
Но вот: теперь жена его — одна,
Встают пред ней огни воспоминаний.
Целует сына мать. И к мужу льнет жена.

Ребенок на руках. Отца он не узнает.
На чахлом кладбище, где камни на земле,
Осенний ветер хмуро завывает,
И облака плывут в туманной мгле...
Ребенок на руках. Отца он не узнает.

Весною шхуны снова уплывут.
В далеком океане шквалы набегают —
Удачи иль несчастья ждут?
Но рыбаки об этом не гадают —
Весною шхуны снова уплывут.

На палубах, когда задремлет штиль,
Кричат казарки радостною стаей

И глуби волн прорезывает киль,
И облака как песня пролетают
Над палубой, когда задремлет штиль.

...Он был моряк — веселый человек...
Его на пристанях улыбками встречали,
Но кончил он морской, недолгий век,
Как многие и до него кончали.
Он был моряк — веселый человек.

II

УТРО В ГАВАНИ

Маяки уже темнели,
Волны бешено летели,
Разбивались и кипели
У гранитных берегов.

В дамбу бился резкий ветер,
Мачт качались силуэты,
И в мерцающем рассвете
Плыли клочья облаков.

Щупальцы подъемных кранов
Выходили из тумана:

Утро пологом багряным
Поднималось над водой.

С кораблей спускали лодки.
Звонко лязгнули лебедки,
И уверенной походкой
Грузчики пришли толпой.

Гавань пахла свежей рыбой
Каменноугольной штыбой…
Просмоленных бочек глыбы
Захлестнули корабли.

Шум, гудки и разговоры
Иностранцы и поморы:
Все, кого пригрело море, —
В гавань севера пришли.

Тихо плыл восход румяный
Говорил о дальних странах,
О морях и океанах,
Где другие дни цвели…

Взморье пенилось буруном,
Снасти пели, точно струны,
Уходили в море шхуны

К берегам другой земли.

Антон Пришелец
Скворцы

Вдали синеют Воробьевы горы.
Нескучный сад. Внизу Москва-река.
Над городом и над притихшим бором
В весеннем небе тают облака.

А дальше вглубь, где чащей труб и вышек
Сменился робко отступивший лес,
Встает в дыму и кроет темной крышей
Полгорода чудовищный Могэс.

Бреду — и брежу первой синевою.
А солнце плещет полымем в лицо.
И вдруг вверху, над самой головою —
Такой знакомый крик скворцов.

И — только миг. И вот — уже растаял.
И далеко за крышами домов,
В весеннем зное потонула стая
Моих бродяг, вернувшихся домой.

Но этот крик упал, как искра в порох,
И память вспыхнула и пронесла
Перед глазами прожитую пору,
Забытый март далекого села.

И в это промелькнувшее мгновенье
Я вспомнил, пережив их вновь,
И первую, печальную любовь,
И первое мое стихотворенье...

Ах, этот день, — кого он не обманет.
Такое солнце и такая ширь!
И уплывает в солнце и в тумане
Седой Ново-девичий монастырь.

Владимир Василенко
Любимому поэту

Я так не умею, как ты,
Я так никогда не сумею;
К простому бумажному змею
Приделать такие хвосты,
Чтоб их и рукой не поймать,
Чтоб эта простая мочала
Сердца наши гордо качала,
Как зыбку — влюбленная мать.

Ефим Вихрев
Верность

(ИЗ КНИГИ: «ПАЛЕХ»)

Палехский народный дом стоит обособленно, ничем не затененный, на скате холма. С холма сползают к речке кладбищенские кресты, березы, домики, бани. Лишь нардом — огромный и стройный — прочно врос кирпичным фундаментом в землю и, в сравнении с окружающим, кажется незыблемым великаном. Пятьюдесятью высокими окнами он обращен на все страны света. В амбразурах фундамента — железные люки: в просторных подвалах все еще сохнут неоплодотворенные доски; безнадежно тоскуют они о ласкающих одеяниях красок, о мертвенном золоте нимбов, чудятся им перистые крылья архангелов, смуглолицые деревенские мадонны и капельки крови под терниями на лбу спасителя.

Но в самом нардоме не осталось воспоминаний об иконописной мастерской.

Солнце — конечный виновник всех изменений — попрежнему неодинаковым светом теснится в комнатах.

Раньше оно путалось в лицах мастеров, воспламеняло тисненую медь образных облачений, переливалось по квадратам акафистов, блестело в несметных полчищах «всех святых».

Теперь оно успокаивается на сосновых скамейках зрительного зала, зайчиками ютится в листве декораций. В следующем, читальном зале солнце образует веселое озеро из длинного стола, на котором иллюстрированные журналы беспорядочно плавают по газетным комплектам. И не солнце ли притворилось стенгазетой «Красный пахарь»? Не оно ли говорит о неувязках, бичует, хвалит, звенит стихами, смеется наивными карикатурами? С высоты, из-под потолка оно багровеет безграмотными и могучими лозунгами. А в той, в соседней с читальным залом комнате солнце останавливается на корешках книг, насыщая библиотеку мудростью и значением.

И оно прожигает рубашку библиотекаря — Федора Федорыча, сидящего с книгой в руках спиной к окну.

Федор Федорыч читает, быстро и беззвучно шевеля губами. Я не хочу мешать ему и дожидаюсь, пока он сам увидит меня.

Лысина его окаймлена ровной полоской рыжевато-седых волос. Опаленное зноем морщинистое

лицо незаметно уходит в бороду. Глаз мне не видно, но морщинки, расходящиеся от них, отпечатлевают доброту и житейские тяготы. Рубашка обнажает волосатую грудь. Брюки, засаленные до блеска, слишком коротки, а босые костистые ноги — грязны.

Вот и весь облик Федора Федорыча. Впрочем, остались еще руки: они так грубы, что странно видеть в них раскрытую книгу…

Библиотекарь подносит ладонь ко рту и слегка поплевывает на указательный палец. Он хочет перевернуть страницу. Но тут он замечает меня, стоящего в тени этажерок.

— Здравствуйте, — говорит он, смущаясь. — Зачитался вот. А вы, должно быть, давно ждете. Вы бы…

Федор Федорыч приятно картавит. И картавость эта придает его речи некое благородство. И странно мне слышать почти девические слова из уст мужиковатого библиотекаря.

Он встает, хозяйским взглядом окидывает книжные полки и, прищурив глаза, подходит ко мне. Смотрит он на меня так, как мастер смотрит на вещь, которую нужно переделать. И, как бы сообразив что-то, спокойно спрашивает меня:

— Вам из современной литературки что-ни-

будь?

— Нет, — говорю я, — мне нужен Фет.

— Фет? — удивленно повторяет Федор Федорыч, и в глазах его я вижу благодарность, хотя и не понимаю причины ее.

А уходя, я услышал слова, произнесенные не то робко, не то с некоторой гордостью:

— Очень трогательный поэт…

* * *

Вскоре я сидел на бережку Палешки, в тени большой ольхи и перелистывал томики.

В мутном бочаге плескались ребятишки, чумазые от загара. Они ныряли друг другу под ноги, прыгали с берега, залезали голые на деревья и, очертя голову, бухались в воду.

А невдалеке от купалища, среди кочек, вокруг единственной бутылки водки мирно сидели человек шесть кустарей — художников с мокрыми волосами. Это их всегдашний воскресный пикник после купанья.

Глядя на этих людей, никто бы, конечно, не подумал, что есть среди них люди, чья слава, взяв своим истоком Палех, мчится, разрастаясь, через уезд, через губернию, приостанавливается в Москве, и опять мчится, разветвляясь и проникая

в салоны Парижа, в музеи Лондона, в небоскребы Нью-Йорка.

Тут, на этой лужайке — полноцветная душа Палеха, заключенная в простецких, полумужичьих фигурах[2].

Вон полулежит, облокотясь на кочку, Александр Васильевич Котухин — один из зачинателей «Артели древней живописи» и председатель ее. Он меньше других похож на сельского жителя. В глазах его светится высокая и спокойная уверенность в своих силах. Он расскажет вам о том, как туго пришлось иконописцам после революции; как мыкались они, сбитые с панталыку, неприкаянные, не зная, за что взяться; как они, навсегда распрощавшись с иконописью, поймали-таки секрет производства федоскинских лаков, как они одержали победу над подмосковными рисо-

[2] Примечания: 2

Упоминающиеся дальше имена мастеров — действительные, а не вымышленные.

вальщиками[3].

Рядом с ним, держа на коленях свою модную соломенную шляпу, сидит Иван Петрович Вакуров, человек болезненный и, должно быть, несчастный. Он худ, он кашляет, ему уж за сорок лет, но выглядит он молодо, может быть, благодаря строго подбритым усам. Как противоречива его фантазия! Вакуров умеет соединять в своих работах крестьянскую простоту с модернизированной витиеватостью. Недаром так любит он изображать — в симметрической завершенности — древо познания добра и зла. И есть в нем большие творческие начала, хоть и говорит он порой: «твори, не твори, — все равно с сантиметра получишь».

А вон и старейший из мастеров, всегда бодрый старик с мудрыми голубыми глазами и седой бородкой — Иван Михайлович Баканов. Он, конечно, не пьет, а только разделяет компанию. Да

---

[3] Примечания: 3

Кустари села Федоскина Московской губернии, издавна занимавшиеся производством коробочек из папье-маше («федоскинские лаки»), держали в строгом секрете замечательные технические особенности своего производства. Но в художественном отношении работы федоскинцев интереса не представляли и не представляют. Палешане путем долгих опытов вскрыли технические секреты федоскинских миниатюр и, соединив многовековые традиции иконописи с новым материалом и с новым содержанием, получили ту известность, какой пользуются в настоящее время и в СССР и за границей.

и присел-то он тут, наверно, на минутку, по пути с гумна или из сарая. Он лучше других знает, где начинается и где кончается искусство. Каждая вещь его безукоризненно завершена и спокойно мудра, как ее творец. Он не гонится за красочными эффектами, он не гордится изысканной линией, но зато умеет класть краски такими прозрачными слоями, в таких гармонических пропорциях, что созерцатель, всмотревшись в его работу, познает действительно новый и прекрасный мир.

А вот и мировой любимец, дерзновенный фантазер и художник-бунтарь Иван Иваныч Голиков. У него впалые щеки, редкие черные усы и глаза пронзительно-острые. По костюму он имеет вид городского пролетария: черные брюки и пиджак давно требуют себе замены. Безмерно тяжела его жизнь и единственное спасенье для него — водка. Зато как он умеет работать! Он единственный из всех отдался своему ремеслу без остатка: он бросил крестьянство и от зари до зари склоняется над миниатюрами. Пусть на его шее виснут шестеро мальцев — он знает мучительную радость творчества! Глаз его точен в любых масштабах: от микроскопических завитушек на

шароварах Стеньки Разина[4], который и сам-то величиной с комара, до грандиозных декораций в нардоме. Его миниатюры, или, как он называет их, предметы, являются красочным отражением его характера — беспокойно-могучего, нервного и трудолюбивого. Голиков умеет сталкивать множество яростных красок в одну немыслимую цветовую симфонию. Каждая сусальная линия, положенная им на папье-маше, как музыкальный аккорд, — самоценно-значительна. И он никогда не копирует, а только творит: любую сказку, любую песню он истолкует посвоему. «Милый! — хочется закричать мне ему, — сколько предметов твоих гуляет по-миру! Что дороже тебе: эта мировая слава или рюмка сорокаградусной?»

Я сижу, раздумывая об этих чудаковатых тружениках, о дипломах, полученных ими на заграничных выставках, о золотой медали «Grand prix», хранящейся в их мастерской. Их лукавый талант преобразил мужика в эстетическую условность. Каждый из них знает цену себе. В жизни они скромны, но в искусстве затейливы. Они не разговорчивы, но сколько бы могли они расска-

---

[4] Примечания: 4

«Стенька Разин» — излюбленный мотив палехских кустарей.

зать! Знают они любой монастырь страны, вдоль и поперек исколесили они страну. И, пройдя сквозь уничтожающее пламя революции, они вынесли в мир исподнюю правду своего ремесла и ремесло вознесли до искусства.

Не все, конечно, сохранили в себе любовь к ремеслу. О, далеко не все! Только немногие — всего пятнадцать-двадцать человек теперешних артельщиков — остались верны краскам и кисти. Эти немногие поняли, что в зеркально-черном папье-маше дышит искусство, освобожденное революцией из плена церковной мертвенности. И эти немногие — уже последняя, да, последняя и невозвратимая песня Палеха, последний вскрик рублевских поколений!

А большинство? Большинство иконников впряглось после революции в плуг, другие разбрелись по стране, третьи в алкогольном тумане вспоминают минувшие дни, четвертые занялись чем попало. В Палехе каждый общественный работник — и кооператор и волисполкомец — бывший иконописец…

И библиотекарь, Федор Федорыч тоже, конечно, бывший иконописец… «Странный библиотекарь, — думаю я. — Все здесь чудное, все необыкновенное, особенное, свое…»

Жаркое солнце сквозь пушистые облаки катится к западу. Бутылка у мастеров почти уж пуста, и разговор их становится оживленней. Вот уж я вижу, как Иван Иваныч Голиков привстает с кочки и, держа огурец в руке, говорит что-то громко и возбужденно…

А томики Фета лежат у моих ног, напоминая мне о том, как мало нужно места, чтобы заключить великие волны искусства…

«Тоже вот и палехские миниатюры», — думаю я.

Вдруг сзади меня раздается ласковый картавый голос, и чья-то рука дотрагивается до моего плеча:

— Вы здесь? А я вас давно ищу. Библиотеку закрыл и хочу поговорить с вами.

Это — Федор Федорыч. Опять тот же девический говор, то же загрубевшее лицо и руки, похожие на сучья ольхи.

— Насчет Фета. Трогательный поэт. Редко у нас его берут. Говоря возвышенно, не понимают, должно быть, настоящей поэзии. Из всего Палеха только один я и читаю его. Что за поэт! Какая лирика! Какие элегии! Обратите, друг мой, внимание — какие элегии!

Библиотекарь дышит на меня спиртом: он то-

же, видимо, успел уж для праздника выпить. И в глазах его проблескивает смелость, которой не было заметно в библиотеке.

— Идемте ко мне чай пить — говорит он. Дочка ягод насобирала. Варенье вчера сварил. Хочется мне насчет Фета с вами поговорить. Не с кем тут...

* * *

В доме у Федора Федорыча просторно, пусто и неуютно. Пол чисто вымыт. Лучи, дробимые окнами, ложатся на полу рябоватыми светящимися коврами.

У раскрытого окна сидит девочка лет тринадцати с кружевом в руках. Глаза у девочки грустные и умные. При нашем появлении она встает и голосом не подеревенски ласковым спрашивает:

— Что, папа, самовар что ли подогреть?

— Нет, дочка, ты иди погуляй. Сам я поставлю. Чего тебе дома-то сидеть.

Мы проходим в горницу, и Федор Федорыч начинает суетиться: раскрывает горку, вытаскивает оттуда сахар, чашки, варенье, графин, полный водки, с прозрачным синим петушком внутри, окруженным лимонными корочками. Потом он берет со стола еще теплый, должно быть, самовар

и тащит его в кухню. Я слышу, как он наливает воду, насыпает углей, не иначе как сапогом раздувает жар, гремит трубой…

Глаза мои неожиданно встречаются с глазами портрета, висящего в простенке. Портрет написан масляными красками, в классических традициях, то есть настолько тщательно и реалистично, что трудно решить: что это — высокое искусство или мастерское бессилие. Но я смотрю на это лицо и не могу оторваться от него.

«Чем это не гоголевский портрет? — думаю я. Те же азиатские скулы, та же дремучая борода. Только немного просторней, шире. Глаза… Но нет, это не глаза коломенского ростовщика». Я смотрю на них и понимаю разницу.

Портрет изображает старика в том могучем возрасте, когда еще все силы в человеке целы — они еще в последнем и самом жарком горении. Но скоро они начнут потухать.

Глаза, в которых гениальное соединилось с безумным, беспредельная доброта с величайшей жестокостью, — эти глаза смотрят не только уничтожающе, но и робко. В них нет того ровного света, по которому можно было бы заключить: добрый это человек или злой. Нет, за этими глазами чудилась вся жизнь: за ними чудился смер-

тельный разгул, тысячеверстные пространства, беспросветная нужда, ослепляющее богатство, обреченность, пропащая душа, водопады дерзновений, гордость, сила и беззащитность. Такие люди могут двигать за собой миллионы, они могут бесстрашно итти на костер, но вся судьба этого человека была, конечно, связана только с легкой иконописной кистью…

— Такого пьянства еще не знал мир, — говорит Федор Федорыч, внося шумящий самовар и заметив, что я заинтересовался портретом. — Это мой отец. Он пил трагически, он пил безумно. Он был лучшим мастером в мастерской Сафонова[5]. И он умел работать так же беззаветно, как и пить. Детство наше (у меня есть еще два брата — художники — в Москве живут) было ужасно. Отец был беспощаден. Он бил мать березовой слегой, он бросал в нас все горшки и крынки, какие были в доме. Зато трезвый отец был святым человеком: он ласкал нас, плакал, до крови расшибал свой лоб о церковный пол и работал — работал чертовски много и прилежно…

Библиотекарь нахмурился и произнес глухо:

— И он повесился, когда мне было пятнадцать

---

[5] Примечания: 5
Сафонов — иконник-предприниматель.

лет…

Мы оба молчим. Федор Федорыч устанавливает самовар на подносе, заваривает чай.

— До сорока лет был трезвенником я, капли не брал в рот. А вот теперь закладываю по праздничкам. Трудно жить без помощницы — без жены. Одно облегченье: выпьешь, умаявшись за неделю-то… Вы уж как хотите — неволить не буду, чайку попейте, а мне разрешите водочки.

Выпив первую чашку водки, Федор Федорыч сразу становится разговорчивее.

— Первым делом, — говорит он, — взгляните вот в этот угол. Вот он где — Фет-то милый заключается.

В углу — единственная икона: богоматерь с обнаженной грудью и румяным соском. Младенец ловит сосок губами. Лицо у богоматери крепкое, розовое и чуть-чуть загоревшее; глаза девически-добрые и немного строгие.

Библиотекарь видит мое недоумение и, вновь наполнив чашку свою вином, продолжает:

— Вы скажете: причем же тут Фет? А он тут именно причем. Слушайте, я расскажу вам, почему так люблю я лирику Фета.

— Отец, я вам сказал, выпить очень любил. Жестокий был человек. Боялся я его — пьяного. Как,

бывало, получка у него, так я скорее забирался куда-нибудь в овин или на чердак… Съезжусь там, и — нет меня. Целыми днями просиживал так, пока отец не протрезвится. А чтобы не было скучно, брал в свое уединение книжку какую-нибудь. К слову сказать, кончил я двухклассное и учился в иконописной мастерской. Книжки брал в школьной библиотеке.

Благодаря отцову пьянству здорово пристрастился я к чтению. После смерти отца, когда уж я хозяином дома сделался, в чтение втянулся еще сильнее. Но читал все романы, приключения, да о жизни великих людей. Попалась мне, к примеру, книжка о Ломоносове: так запомнилась, что и сейчас всю пересказать могу.

Много книг я перечитал — безмала всю библиотеку. И нечего мне стало больше читать. Учитель и говорит мне: «Ты бы, говорит, стихи почитал». И дает мне Фета. Посмотрел я — неинтересно. Ни к чему, думаю, эта поэзия. А стыдно мне возвращать книжку, не прочитавши. Читаю, надсажаюсь, а до сердца не доходит. Дай, думаю, вслух буду. И вот расхаживаю по комнате и во всю мочь декламирую. Дело было в мае. Окна, заметьте, были открыты, на улице все слыхать. Помню, первое стихотворение попалось мне:

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок.

Пред скамьей ты чертила блестящий песок.

Горланю — и тоже не доходит до сердца. Затвердил только эти две строчки, и сил моих не хватает больше. Даже раздражать стали меня стихи. Кто это, думаю, «ты» и зачем, думаю, эта самая «ты» чертила блестящий песок перед скамейкой?

А была у меня в юности привычка — по утрам, до работы, книжки читать на скамеечке. (Видали, стоит у крыльца? Вот на этой самой.) Помню я, взял однажды книжку Фета, вышел утром и сел на скамью. Читаю все те же стихи, в которых про скамью и про песок говорится. Читал, читал и раздумался: к чему человеку грусть дана? Сам я был тогда спокоен, здоров и весел, и не о чем мне было грустить. Возвращу, думаю, Фета. Скажу, что неинтересно — дайте другое что-нибудь.

Потом отложил книжку. И вдруг вижу: на песке, перед скамейкой, под самыми моими ногами, начертано: Федя. Неужто, думаю, ко мне это относится? Стер я сапогом свое имя и ушел на работу. На другое утро сажусь на скамеечку и опять вижу — Федя. Любопытство разжигает

меня. И на третий, и на четвертый день — то же, только с разными вариантами: Федя, Федюша, Федичка, Федик.

Никто мне таких нежностей не говорил. И привык я тогда каждое утро садиться на скамеечке именно с Фетом в руках. Сижу, бывало, смотрю на буквы, что на песке, книжку перед собой держу, а про себя повторяю (я уж эту элегию наизусть знал):

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок.

Пред скамьей ты чертила блестящий песок.

Я мечтам отдавался, я верил весне,

Ничего ты на все не ответила мне.

И не стираю букв с песка до тех пор, пока не пойду на работу. До того все это вошло в меня: как только проснусь, тороплюсь одеться, умыться, — боюсь не опоздать бы, сердце колотится, сам не свой выбегаю, сажусь на скамеечку, вижу… чувствую…

Значит, дошли до сердца элегии… Дошли.

И поселились во мне с тех пор тихая грусть какая-то. И радостно мне было думать, что вот я живу и умею переживать, чувствовать умею.

Другие парни лапают девок по вечерам, ржут, как жеребята. И горжусь я втайне собой, что вот я не похож на других парней. Горжусь тем, что чертит мне кто-то каждый день мое имя. Хочется мне разгадать, кто это чертит, а сам нарочно все оттягиваю разгадку — жду, когда само собой отгадается.

Стал я чаще тогда уходить один гулять в поле, в лес и меньше стал водиться с товарищами. Ни в попойках, ни в гулянках не участвую. Брожу себе, а на уме только одни элегии Фета да надпись перед скамьей.

Вскоре все обнаружилось. Возвращался я как-то поздно вечером домой. Будни, на улице ни души. Подхожу к дому. Вижу сидит кто-то на скамеечке… Ближе подхожу. Всматриваюсь. Машенька! Соседка! С детства дружили мы с ней. И каждый день разговаривали. А я и не догадывался! Машенька! Грустная сидит. Лирическая. И луна светит. Встал я в трех шагах от Машеньки и двинуться дальше не могу. Ноги подкашиваются. Сердце выговорить ничего не дает. А она сидит на скамеечке наклонившись и водит палочкой по песку, как бы не замечая меня.

Эх, давно это было! А и теперь не могу без слез вспомнить. Вот он, Фет, что наделал… Милый

мой!..

Федор Федорыч залпом выпивает полную чашку вина. И может быть от грусти, а может быть от вина — в глазах его появляются слезы. Он стирает их рукавом, крякает и закусывает. Потом ослабленным голосом, с некоторой долей таинственности, продолжает:

— Странная любовь завязалась у нас. Молчаливая. Стали мы с того дня каждую ночь встречаться с Машенькой. Сидим, не прикасаясь друг к другу, ни слова друг другу не говорим. Дышать стараемся тише. Робость такая на сердце. Самого себя не чувствуешь. Тихонечко шелестят над нами березы. И кажется мне, что это сердце мое заставляет их шелестеть. Кажется мне, что нельзя меня отличить от березы: будто и руки, и ноги, и березы, и звезды — одно существо, неразделимое — с одной кровью в жилах. А сердце этого существа в моей груди… И Машенька, наверно, то же самое чувствовала… Помногу часов мы так просиживали с ней. А днем — на улице, в поле — смотрим друг на друга так же просто, как раньше, болтаем, как все болтают, будто не мы это по ночам встречаемся.

В ту весну окончил я сафоновскую школу. Мать мне сказала тогда:

— Напиши, — говорит, Федя богородицу для

нашего кивота.

— Хорошо, — говорю, — мамынька, напишу.

Принялся я за богоматерь. А перед глазами Машенька. Примите, друг мой, во внимание: брови у Машеньки черные, а глаза голубые. Пишу я богоматерь. Хвать, гляжу — и у богоматери: брови черные, а глаза голубые. У Машеньки глаза смотрят искоса — и у богоматери тоже. У Машеньки над левой бровью родинка — родинка и на образе… Удостоверьтесь, друг мой.

Библиотекарь подводит меня к киоту и объясняет на иконе машинькины черты.

— Тут, конечно, плат, ризы и прочая гарнитура. Все это вроде как скрадывает Машеньку.

— Пишу я богоматерь, — продолжает он, — и чем ближе к концу подвигается работа, тем все роднее мне Машенька и тем все тяжелее мне это любовное молчание. День ото дня тревога какая-то в душе растет. Выйдешь вечером к Машеньке и почувствуешь в себе такую силу — весь дрожишь от этой силы и кажется, что вся окружность вместе с тобой дрожит. Хочется закричать громко-громко так, чтобы весь мир узнал о нашем счастьи. Хочется, чтобы Машенька ответила мне хорошим смехом, веселыми словами… Конечно, и Машеньку томило это молчание… И все-таки

молчали мы. И не догадывался я тогда, что молчаливая-то любовь и есть самая верная и самая хорошая любовь. Не догадывался… И вот больше невмоготу мне стало молчать…

Как-то в июне закончил я богоматерь. Сам не нарадуюсь — до чего хорошо получилось. Потому, что душу вложил. Не то, что всегдашние иконы: мажешь, а в уме подсчитываешь монету… Сработал и собираюсь в тот вечер на свидание. «Ну, — думаю, — будь, что будет: выйду сейчас, обниму Машеньку, поцелую ее и выскажу ей всю душу, потому что нельзя больше молчать».

Надумал это я, а как вышел, как увидал Машеньку, сел рядом с ней — и замер. И ни одного слова не вымолвил и ни одним пальцем не пошевельнул.

Всего дольше мы в эту ночь просидели.

Тихо, как всегда, проводил я Машеньку до ее дома. Как всегда, встали мы на минутку у крыльца. Тихо стоим — в отдалении друг от друга. И вижу я, словно как прислушивается она к чему. Прислушивается к чему-то далекому, чего никак услышать нельзя.

Эх, — думаю, — брошусь сейчас на колени перед ней, ноги буду обнимать, расплачусь от радости, от свободы, именно от свободы…

Хотел уж я шагнуть к ней…

Библиотекарь сделал длинную паузу, и во время которой комнатой завладела тишина, нарушавшаяся только шумом самовара да стрекотаньем кузнечиков за окном и продолжал:

— Ну, и ничего не вышло. И расстались мы, как всегда молчаливо… Значит, нельзя умом подгонять сердце: сердце само свои сроки знает…

Никак я не мог в ту ночь заснуть. Сижу у окна, смотрю на звездное небо и все думаю, думаю. Взглядываю на машенькин образ, Фета про себя повторяю. (В тугой узел все это у меня завязалось: и любовь, и природа, и Фет.) Сижу я так у окна и придумать не могу, как мне быть с Машенькой, что мне сделать с самим собой, куда мне девать все то, что у меня на сердце?

И вдруг захотелось мне скорее поведать кому-нибудь свою любовь, чтобы порадовался кто-нибудь вместе со мной, чтобы одобрил эту любовь. И тогда разорвется молчание, и будем мы с Машенькой навсегда близкими, навсегда родными. А кому рассказать про любовь? Братьям — стыдно как-то, товарищам — засмеют. Был бы Фет в живых, был бы он поблизости, я бы ему рассказал.

Так всю ночь я промучился и под утро понял,

что нет больше выхода.

Вот рассветало совсем, и взяла тут меня лихорадка какая-то: быстро положил я в карман, какие были у меня деньги, как ошалелый, выбежал из дому, никому не говоря ни слова, и самым скорым шагом пошел на станцию.

К вечеру пришел. Ни с того, ни с сего выправил билет до Москвы, сел на поезд. Еду, а зачем — и сам не знаю. Чувствую только, что нужно это мне, очень нужно. Еду и все смотрю в окно. Дождаться не могу Москвы: где она, милая? Скорее бы!

Вот и Москва. Выскакиваю я из вагона, выхожу на площадь. Иду по улицам. Улицы мне знакомы: в детстве отец не раз возил меня в Москву. Тороплюсь я. А куда тороплюсь?..

Дошел до Моховой. Увидал Михаила Васильевича Ломоносова. «Вот он, — думаю, — университет».

— Университет? — спрашиваю прохожего.

— Да, университет, — отвечает прохожий.

И понял я тут, вдруг, что это и есть то, зачем я приехал.

— Милый мой! — говорю я, — Михаил Васильевич! — И кланяюсь ему, и слезы у меня текут. А прохожие с недоумением смотрят на меня.

Поклонился я Ломоносову три раза: раз — за

науку, раз — за поэзию, раз — за тяжелую жизнь. Поклонился и говорю ему:

— Влюбился я, Михаил Васильевич. Любовь моя — лирическая. Хорошо мне жить, Михаил Васильевич, потому что хорошая любовь у меня.

Сказал это я, и сразу мне сделалось легко, весело. Вижу: торгует у стены букинист. Купил я у него полное собрание Фета, как залог моего и машенькиного счастья. До сих пор храню я эти книжки.

И уж не грусть, а радость одну увозил я обратно. А когда к человеку приходит радость (редким людям она приходит), тогда весь мир человеку прост и ясен: нет в нем ни страшного, ни загадочного. Возвращаюсь я обратно. Радостно смотрю на людей, сидящих в вагоне, и думаю почему это я раньше как-то не замечал людей? Смотрю я на людей и хочется мне сказать им: «Драгоценные мои! Возьмите у меня частицу моей радости, увезите ее в города и села и пусть ваша жизнь будет так же красива, как стихи Фета».

Утром вышел из поезда и — в Палех. Иду веселый и, как сейчас, помню, вслух читаю всегонавсего один маленький стих любимого своего поэта. Даже руки в ход пустил — до чего это чувствительно! И казалось мне тогда, что и облакам,

и деревьям, и жаворонкам приятны эти звуки. Вот они какие, послушайте:

Теснее и ближе сюда!
Раскрой ненаглядное око!
Ты — в сердце с румянцем стыда,
Я — луч твой, летящий далеко…

На тридцать верст хватило мне этого стишка. Вот и подумайте только: оно маленькое, — вырвать из книжки — торговке не хватит на обертку, а жизнь-то какая в нем! Значит, лирика-то не в буквах печатных заключается, а во всей природе. И нельзя ее ни сжечь, ни вычеркнуть. Она не умирает…

Пришел я в Палех к ночи.

Грустная сидит Машенька на скамеечке. Обрадовалась она мне, а ни одного слова не промолвила. И виду не показала. Только вроде как сжалась вся, вроде как зябко стало ей.

Подхожу я к ней и просто, весело, хорошо обнимаю ее и говорю ей — первые свои слова говорю за все время нашей любви:

— Теперь, — говорю, — Машенька, женимся.

Федор Федорыч глубоко, облегченно вздохнул, пристально посмотрел на икону, зачем-то прошелся по комнате, может быть, затем, чтобы

проверить: пьян или нет. Грузно опустился на стул. Стул заскрипел под ним и на мгновение накренился.

— Женились мы без всяких промедлений: Машенька сиротой была — противиться было некому. В тот самый день, как вошла она в мой дом, прикрепил я образ ее в углу. (Другие иконы после революции поснимал, а эту оставил, так с тех пор и посейчас висит).

Сделался я мастером, иконником. Фета всего наизусть выучил. Дошел Фет и до машенькиного сердца: мирно мы стали жить, ласково, хорошо.

Летом, конечно, пахота, сенокос, жнитво, — это так, между прочим.

По зимам уезжал я на приработки. Всю Россию изъездил. В Чудовом монастыре работал, в Грановитой палате (с Нестеровым там познакомился), в Костроме, в Киеве, в Одессе. Стены писал. Реставрировал. Самые высокие купола расписывал. Трудная это работа. Дотого, бывало, уработаешься под куполами: ходишь, как Микельанджело, — лицом к небу, глаза на лоб лезут, земли не видишь и все кажется, что над тобой купол.

В одну такую зиму сдружился я в Москве со слесарем — квартирку вместе снимали. Слесарь оказался есдеком. Сделался через него есдеком и

я. Подпольные собрания стал посещать. В Палех нелегальную литературу привозил. Читал ее здесь тайком с мастерами. То ли видал кто, то ли слежка за мной была, — нагрянул ко мне с обыском урядник. А литературку-то нелегальную прятал я вот за этой самой иконой, в углу. Шарил урядник избу и напал на книжку Фета — она в ларце железном лежала.

— Это, — говорит, — что такое?

— Лирика, — говорю я. — Элегии и прочее.

— Какая такая рылика? Не намекай, — говорит.

Берет он книжку:

— Там, — говорит, — разберут. Мое, — говорит, — дело маленькое.

Заупрямился было я: не отдам, дескать. А он сдуру подумал и нивесть что. Жалко мне было отдавать лирику, еще в такие руки: осквернение поэзии. Только сообразил я тут: пускай, думаю, возьмет для отвода глаз. Притворился я, конечно, будто и всерьез книжка необычная. А урядник попался малограмотный, глупенький. Обрадовался он своей добыче и шарить перестал. Взглянул только в угол:

— Что, — говорит, — за неприличная такая богородица? К чему, — говорит, — сосок?

— Фряжская, — говорю, — так полагается. Мы, — говорю, — не староверы. Не я первый, не я последний.

Поинтересовался урядник соском и ушел. А я тем временем литературку в печи запалил.

Фета мне обратно прислали, а политикой я с тех пор перестал заниматься: ячейку нашу в Москве разгромили. Стала у меня семья прибавляться, тут уж не до политики, лишь бы прокормиться.

Детей у нас было шестеро. Четверо умерли в голодные годы. Не уберег. Остались только сын Костя да Надюша — дочка. Сын — коммунист. В Ленинграде учится, в вузе. А сейчас на практике, на Волховстрое. Приезжал он тут как-то ко мне.

— Пора бы, — говорит, — папа, убрать богоматерь. Сам ты, — говорит, — человек неверующий. Ни к чему это.

По правде, не знает сын, что это мать его изображена. Так я и сказал ему:

— Брось ты! — говорю. — До самой смерти моей будет висеть, а умирать буду — сжечь велю, потому что она только одному мне нужна.

Надулся Костя на меня.

— Предрассудки, — говорит.

Какие же это предрассудки?.. Не знает он лирики житейской. Зачах на политграмоте, а, небось,

не влюблялся так, как я. И все же люблю я сына. Крепкий он, выдержанный. Не обманет, не выдаст. Посылаю я ему туда деньжат. На каникулы приезжает, гостит. Живем мы с дочкой вдвоем. Учится она в шы-кы-мы. Рукодельничает, за ягодами ходит. Только вот еще корову не научилась доить…

Но я вперед забежал. Так. Хорошо. Дети у нас пошли. Бах — война. Забрали меня ополченцем. Плакал — не хотелось с Машенькой расставаться, с детками.

Ранили меня на войне и застрял я в лазарете — в Орле. Потом в запасной полк перевели. Тут меня и Февральская застигла. Целые ночи плакаты писал, лозунги. Весь город снабдил знаменами.

Потом дезертировать стали. Скучился я о Марье, о детках, наложил в вещевой мешок гостинцев и укатил.

Приезжаю. Детишки ползают по полу грязные, худые, голодные. Маня лежит на кровати. Стонет сердешная. На деток смотрит. Бросаю я вещевой мешок, подбегаю к ней.

— Машенька, — говорю я, — что с тобой? Женка ты моя хорошая…

А Маня только охает. Еле-еле выговорила:

— Захворала, — говорит, — Федя. Пятый день

лежу.

Стою у машенькиной кровати я. Растерялся: что сказать, что сделать — не знаю. Хочется мне упасть перед Машенькой на колени, хочется проговорить ей целительные слова, от которых бы она сразу на ноги встала.

Я давно угадал, что мы сердцем родня.
Что ты счастье свое отдала за меня.

Вот что хотелось мне сказать ей.

— Федя! — простонала Машенька. — Болезнай!

И смотрит на меня хорошим взглядом, таким взглядом, каким в юности смотрела — вот как на этой иконе.

— Федя, — говорит, — уж не жить мне больше… Умру я… Женишься, Федя, деток-то забудешь…

— Полно, Машенька, — говорю я. — Не женюсь. По гроб жизни буду верен.

А сам чувствую, что не то говорю, что нужно сказать что-то важное, а что — никак сообразить не могу… Эх, тяжкая на меня выпала участь!

Федор Федорыч выпивает очередную чашку водки и наливает из графина еще. Петушок на дне графина приподнял свой гребешок над кругом влаги. Петушок голубеет, сквозит и переливается в свете уже розоватом, вечернем. Со стеклянного

петушиного носика падают капельки. И такие же капельки катятся из глаз библиотекаря. Они исчезают в его усах.

— Ну, а дальше Фет за меня сказал, он словно угадал всю мою судьбу — вся судьба моя в этих элегиях:

С опочившей я глаз бы не в силах отвесть,

Всю погасшую тайну хотел я прочесть.

Долго я не мог найти себе места. Недели три ходил вокруг Палеха. Все думали, что с ума сойду. А я ходил, обращался к соснам, к небу, к речке Палешке, ко всему миру. И во всем я видел только машенькины черты, только машенькины движения.

Я обращался к природе, и природа для меня была Машенькой.

— Машенька! — кричал я, и это отдавалось в лесу, и эхо вызывало слезы на глазах.

А в ответ голосам этим торжественно, как клятву, произносил я… знаете что произносил?

Та трава, что вдали — на могиле твоей,

Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей…

За наши страдания, за труд наш тяжелый, за тяжелую нашу жизнь природа сотворила нам песню. Тут не в личностях дело. Не Фет писал эти стихи. Он только поймал их. Они носились с ветром, шелестели во ржи, сияли в лучах. И какие еще песни носятся вокруг нас — мы не знаем. Вся природа состоит из песен. Выловить, выловить нужно эти песни!.. И кто поймет, что ничего нет в природе, кроме песен, кто постигнет это, тому радостно жить на свете и никогда он не разочаруется в жизни…

Оттого и я не разочаровался в жизни. Оттого и радостно мне жить и работать. И никакие невзгоды не сломят теперь меня…

Трудно, конечно, пришлось мне после смерти Машеньки, слов нет. Только Фет милый и выручал. Хозяйство мое в упадок пришло. Работы тоже не стало. Кому нужны иконы? Никому не нужны. А жить надо. Трепала меня жизнь в разные стороны. Вон Голиков, Баканов коробочками занялись, а у меня все навыворот получилось.

Поступил, было, на завод в Шую. Завод вскоре заморозили. Волостным милиционером сделался. Аресты. Обыски. Не по характеру это мне — жалостливый я человек — изнервничался. Ушел из милиции. А тут детский сад организовали в

селе. Поставили меня завхозом. Стало получше. Сына отправил учиться. На руках только дочка осталась.

Приехал тут новый волполитпросветорганизатор. Из красноармейцев. Хороший, чуткий парень. Присмотрелся он ко мне. Видит, человек я начитанный, литературу знаю.

— Поставь, — говорит, — на должную высоту библиотеку в нардоме.

— Отчего, — говорю, — не поставить.

Перевели меня на эту должность. Теперь волполитпросветорганизатор не нахвалится мной. И в самом деле, знаю я библиотечное дело хорошо: от Аристотеля до Бэкона и от Бэкона до Международной брюссельской конференции — все системы постиг. Только у меня есть еще и своя система. Думаю я, как довести книгу до крестьянских масс. Придумал интимную запись читателей. По глазам вижу, кто чего хочет. Одни читают так, для времяпрепровождения — лишь бы что-нибудь читать (почитаешь и уснешь). Другая интимная категория читателей — сознательные. Спрашивают: мне бы вот по такому-то вопросу. Третья — еще более сознательные: занимаются самообразованием. Те уж сами говорят: дай-ка мне вот такую-то книгу. А четвертая категория — птенцы

из шы-кы-мы. С ними самое мученье — рыться приходится в хрестоматиях…

Только вот вас я не мог подвести ни под какую категорию. Человек вы приезжий, сразу не догадаешься.

Так вот и живу теперь. Третий год уж библиотекой заведую. Тоскую по Машеньке, а духом не падаю. Знаю я Фета, храню вот эту икону, газеты читаю, с молодежью вожусь, крестьянством занимаюсь. Взгрустнется когда, — взгляну я на машенькин лик, возьму Фета и что-нибудь такое особо-сердечное вслух прочитаю. Хорошо Фет понимал грусть человеческую. Вчувствуйтесь только:

В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милый,
И в звездном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

Да-а-а… Каково?..

Прочту я стихи, взгляну еще раз на Машеньку и нутром услышу, будто Машенька скажет мне: «Работай, Федя, много счастья в работе заключается». И легко мне сделается опять, и жизнь покажется такой радостной: сощуришь глаза и всю страну увидишь — молодую, работящую. И

опять руки запросят работы, а сердце потянется к молодежи — страсть люблю я молодежь!

Утомляюсь, конечно, за неделю-то. Оттого и выпиваю по праздникам. Никак нельзя без этого. Сами подумайте. Встанешь на заре. Корову нужно доить. Потом спровадишь ее во стадо. В поле съездишь. Печку нужно топить — обед готовить. Сам готовлю и обед. А тут пора и в библиотеку итти. Вечером — то, другое: сами знаете — деревенскому жителю работы всегда много. Спать по три часа в сутки приходится. Так умаешься — ноги насилу держат. Разве можно без выпивки прожить? Нельзя. По воскресеньям всегда графинчик полагается. Выпивши я бываю мирный, не в отца… Да, по правде сказать, кто из русских людей не пил? Водка многих сгубила. Возьмите к примеру: Решетников, Помяловский, братья Успенские, Брюлов… Вот, кстати, Брюлов. Знаете, что Тургенев о нем сказал? «Брюлов, — говорит, — был вертоус…»

(Федор Федорыч громко икнул, смутился и тут же поправился: виртуоз).

Тургенев сказал: «Если бы дать Брюлову душу Иванова, вот был бы гений».

Впрочем, это к делу не относится…

Смотрят на меня сельские мужики:

— Работяга ты, — говорят, — Федорыч! Жену бы тебе хорошую. Стоящий ты мужик.

А я говорю:

— Не оскорбляйте, — говорю, — меня. Любите своих жен так, как я свою любил и никакой другой не захочете.

Бабы тоже вроде как сочувствуют мне. В пример ставят меня своим мужьям. И тоже на женитьбу намекают. Живет тут вдова одна — мужа в германскую убили. Подговаривают бабы ее насчет меня. Много раз приходила она ко мне.

— Возьми, — говорит, — Федор, меня себе в жены. Мужик ты, — говорит, — работящий. Хорошо будем жить.

Жалко мне ее: мается, бедная, с утра до ночи с детьми, с хозяйствишком. При случае помогаю я ей в тяжелой работе. А насчет того, чтобы в жены взять —

— Про это, — говорю, — забудь и думать...

* * *

...Федор Федорыч долго сидит молча, опустив голову. Потом он встает. Раскачивается из стороны в сторону. Я вижу, как дрожат его руки. Взглядом влажным и подетски непорочным окидывает он большую неуютную комнату. И, опьяневший, он

картавит еще больше:

— Сказал Машеньке: по гроб жизни буду верен, и буду верен, сдержу обещание… Взгляньте на машенькин лик! Смотрите, смотрите: ведь она верит мне, что не изменю я! Она не позволит мне изменить! Правда, родная, веришь ты мне?

При этих словах библиотекарь мгновенно шлепается на пол, и руки протягивает к портрету-иконе, и голосом, дрожащим страдальчески-гордо, восклицает:

— Милая моя! Машенька! Любовь моя лирическая!

Потом успокоенно-выспренним тоном:

— Слу-ушай, Ма-ашенька!

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей
И — была ли при этом победа? И чья?
—
У ручья ль от цветка? У цветка ль от ручья?..

Он читает всем существом своим: лысина его ходит то вверх, то вниз, руки его описывают полукруги, грудь энергично приподымается.

Ты душою младенческой все поняла,

Что мне высказать тайная сила дала.

И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить…

(«Влачить!» — тяжко повторяет библиотекарь).

Но мы вместе с тобой, — нас нельзя разлучить!

Он весь обращен туда, где висит портрет Машеньки — богоматерь. Но иконы почти не видно: только поблескивает ризное золотце. Вечерняя темнота завладела углами, простенками, мебелью. И посуда на столе тоже едва различима. Лишь голубенький петушок, по брюшко окунувшись в зеленоватую влагу, рассекает темноту острым лучиком, тоже как будто прислушиваясь к голосу библиотекаря.

Слова у библиотекаря заплетаются на языке, он повторяет их по нескольку раз, по нескольку раз возвращается к прочитанным уже стихам и, наконец, ухватывает последнюю строфу:

У любви есть слова, — те слова не умрут…

Вдруг в эту минуту врываются в комнату нестройные звуки: крики детей, щелканье кнута, мычанье, блеянье, топот.

Отворяется дверь и в комнату вбегает дочка Федора Федорыча Надюша:

— Папа! — кричит она, — стадо пригналось!

Библиотекарь обрывает стих на полуслове, вскакивает с пола. Ноги его подкашиваются, но он старается стоять твердо.

Сначала он суетливо оглядывает комнату, потом, сообразив, бросается в сени… Звенит подойником. Падает… Снова звенит. Грузно скрипят под ним половицы сеней.

Я выхожу на крыльцо. Большая жирногрудая корова тыкается мордой в ворота двора, глухо мычит, скоблит ворота рогом.

Отсюда, с крыльца, виден мне Палех — вечерний, задумавшийся, туманный.

По гумнам ползут низкие туманы, озерами собираются они по лугам, и в этом призрачном далеке островами встают коньки сараев, изб и бань. Вон по ближнему озерцу плывет человеческая голова. И невероятным кажется, что у этой головы есть туловище, руки, ноги… Но вот растворилась в тумане и голова.

Пророшенная мгла торжествует над Палехом.

Я прислушиваюсь к незатихающим звукам. Хрусткой звукописью простреливают кузнечики сладостно-дурманный воздух. Музыкально бьет

молочная струя в дно подойника. Сытной жвачкой отдаются углы.

Палех сейчас уснет.

1/XI 1927 г.

Александр Смирнов
Закон

(ДЕРЕВЕНСКАЯ БЫЛЬ)

I

Река блестела на солнце серебром. Песчаные берега с кудрявыми пучками кустов отражались в ней. Было теплое майское утро. Солнце играло лучами в серебряной ряби и кидало от нее радужные, солнечные зайчики на яркую зелень тальников и орешников, свесившихся с крутого подмытого берега.

Иногда слышались легкие всплески — это играла рыба, радуясь, должно быть, этому яркому солнечному утру. У отмелей в воде стадами бродили едва видные «малявки», которые испуганно разбегались при всяком движении на берегу. У мельничной плотины вода с шумом падала из затворов, вниз, клубясь и пенясь, на мокрые, осклизлые, прозеленевшие столбы и балки.

Недалеко от нее, на сухом песке сидели две фигуры с удочками, одна — маленькая, с большим горбом и головой, ушедшей в плечи, другая

— рослая коренастая фигура мужика, который то-и-дело нервно ежился, поправлял шапку и хватался за удочки, думая, что у него клюет, и все время улыбался. Горбатый, облокотясь на локоть, покуривал самодельную трубочку и прищурясь глядел на переливающуюся серебряную рябь.

Веселый говорил:

— И что за диво такое?.. Скажи, вот, каждая тварь по весне спаривается… На что рыба и то после весеннего спаду стаями…

— Да-а… — слабым, тонким голосом откликнулся горбатый.

— Я и сам гляжу… каждый мужик, хотя самый плохой, а при бабе живет…

— А ты чего смотришь… Ведь в годах уже…

— Убогий я, калека… За меня не пойдет ни одна…

— Это ничего, что горбатый, зато богатый. С твоим мастерством-то тебя с руками оторвут, только посватайся.

— Не смею я, засмеют…

— А ты попробуй.

Горбатый не ответил, и съежился еще более.

— Ага…

Радостно крикнул веселый, вытаскивая из воды удочку. На ней извивался большой окунь.

— Эх, здоровый какой, дьявол!.. П-стой… Шалишь, брат… Ах, ядрена каша!.. Чуть опять в воду не усигнул… Лазь-ка, лазь в ведро…

— А у меня чевой-то не клюет… — печально сказал горбатый.

Веселый закинул удочку, выпрямился, почесал волосатую грудь в раскрытом вороте рубашки и, посмотрев из-под ладони на яркое солнце, вползавшее на самую середину неба, сказал:

— Да… Дело к полудню идет. Клев кончается…

— Домой надо итти…

— Можно.

Приятели свертывают удочки и идут домой. Когда они по извилистой тропинке взбираются к деревне в гору, им встречается краснощекая баба с ведрами — солдатка Фленка.

Веселый крякает и, толкнув горбатого в бок, говорит:

— Вон — баба-то… Шикалат!.. Набаловалась только. Вдова… Детей нет. Воля слободная…

Горбатый, остановившись, долго смотрит вслед женщине с ведрами.

— А что ежели тебе на ней жениться?

— Ну что ты…

Оба опять лезут в обрывистую песчаную гору. Вот и околица. Через дорогу воротца. На них ко-

рявые буквы синей краской.

«Гражданин обратить вниманя
Сей вороты делал
Прокофей Курицын».

И сбоку:

«Очинь прошу обратить».

Рядом с околицей стояло нечто, что сначала можно было принять за стог прошлогоднего сена. При внимательном же рассмотрении это оказывалось полуразрушенной и вросшей в землю избой. Крыша ее была похожа на чью-то косматую голову — солома истлела и сползла набок.

Сверху очевидно дыры были завалены охапками свежей соломы, однако все-таки наверху, у конька, тонкими спицами намечались стропила.

У этой избы приятели расстались.

Веселый отворил калитку, висевшую боком на одной петле, и скрылся во дворе. Почти тотчас же оттуда раздались резкие визгливые женские крики.

— Ты чего ж это, жеребец эдакий, нет на тебя погибели?.. Люди пахать уехали, а он нате, словно дитя малое, с раннего утра на речке сидит, рыбку ловит, словно дело делает… Тьфу!.. Ведь ребят мал мала…

В ответ слышалось только басовое ворчание

веселого.

— Пошла-поехала… Как горох сыплет… Ну и бабы!.. Ну и бабы!.. Эх, жизнь наша…

Горбатый в это время подходил тоже к дому — у него была беленькая новая изба под новой тесовой крышей. Внутри тоже было все ново, блестело и поражало своей чистотой — на окнах белые чистые занавески, на полу аккуратно разостланные половики, в углу швейная машина.

За долгие годы холостяцкой жизни горбатый научился и стряпать и стирать.

Горб не давал крестьянствовать — принялся шить немудрящие мужичьи пиджаки и брюки.

С детства оставшись один, продолжал горбатый жить одиноким всю жизнь.

Длинными зимними вечерами, когда уже вся деревня спала, горбатый работал, работал до ноющей боли в горбу и колотья в боку, тогда откладывал в сторону наметанную пошивку, слезал с большого верстака-стола и ложился спать.

Иногда открывал кованный железом сундук и пересматривал связки книг, переплетенных и непереплетенных, пыльных, старых и новых, больших и маленьких, которые он каждый базар покупал в соседнем большом селе.

Часто, обложившись грудами книг, читал;

тогда на его худом, бледном лице, как будто без шеи вросшем в грудь, светилась тихая улыбка. Начитавшись и уже потушив огонь, подолгу стоял горбатый у окна, выходившего в поле, слушал вьюгу, гудевшую в трубе, и смотрел в белесую муть зимней ночи.

II

Вся деревня всполошилась, судила и пересуживала невероятное происшествие: горбатый посватался к Фленке…

Как это случилось, — плохо помнил даже сам горбатый. Его другу, веселому, бесшабашному Прокофию Курицыну, начертавшему свое имя у деревенской околицы, крепко запала одна мысль, мысль забавная:

«А почему в самом деле не женить горбатого?.. Что можно сказать, человек зря живет — небо коптит…» С подходцем, намеками стал говорить о женитьбе горбатому.

И дождавшись, когда тот впал в состояние глубокой задумчивости, стрелой слетал за самогоном к знахарке Лизаветихе, которая кроме врачеваний и разных приворотов знала состав такого зелья, о котором все в округе говорили примерно так:

— Что ежели его стакан неразбавленного хлебыстнуть, то поперек возьмет…

Что значило это «поперек возьмет», неизвестно, но говорили всегда об этом с гордостью и уважением. За бутылкой «зелья» оба друга быстро захмелели. Прокофий настойчиво все толковал о своем, и когда бутылка была пуста, то оба они, покачиваясь, в обнимку, пошли к Фленке свататься.

Мужа у Фленки убили еще в царскую войну. Фленка была красивой, здоровой бабой. У нее были черные глаза с поволокой, яркокрасные щеки и губы. Она была очень ленива и помногу ела.

Когда она не спала и не ела, то сидела у окна, лущила семечки и гуляла с парнями, которые каждый вечер приходили целым табуном с гармонью к ее большой заброшенной и неуютной избе.

Когда подвыпившие приятели пришли к ней свататься, она равнодушно и попросту согласилась.

Взбудораженный Прокофий отвел горбатого домой, так как ему после лизаветихиного зелья стало нехорошо, а сам побежал на улицу, с хохотом, с прибаутками рассказывал, какую он устроил занятную штуку. Все смотрели на пред-

стоящую необычайную свадьбу, как на забавное зрелище.

Через неделю была свадьба. Такой свадьбы никто в деревне еще не видал.

Играло три гармониста, которых пригласил горбатый.

Не беда, что все трое были пьяны и играли вразнобой — вся деревня была на улице и веселилась. Когда молодых повели в баню, на улице били в заслоны, чугуны и сковороды, пели непристойные песни. Били горшки, топча ногами хрустящие черепки под пьяные всхлипы гармоник.

После был пир. Много было вина. Горбатого поздравляли с законным браком и хвалили невесту.

Как-то незаметно под конец пира горбатый вышел на двор, оттуда через заднюю калитку — на огород. Была мягкая, темная ночь. От нагревшейся за день земли веяло теплом. В малиннике стрекотали ночные сверчки.

Горбатый долго стоял, чутко прислушиваясь к пьяному шуму в своем доме и рявканью гармоник, выделывавших кадриль, зачем-то ощупал себя и произнес:

— И верно… Видно закон такой…

Когда он шел обратно, в сенях его встретил вко-

нец пьяный Прокофий, который лез целоваться и клялся, что: пропади он пропадом, если ему через год не придется быть крестным.

III

Уже год прошел с тех пор, как стали жить вместе горбатый и Фленка.

Фленка — плохая хозяйка. Горбатый попрежнему сам стряпал и мыл полы…

Каждый день по вечерам Фленка, накинув на плечи пеструю шаль, молча уходила гулять к своей старой избе.

Горбатый, глядя на нее из окна, когда она шла вдоль улицы, сжимал кулаки, кусал тонкие губы, а в глазах стояли слезы.

Он был плохой муж.

Горбатому уже давно хотелось ребенка, хотелось страстно, мучительно. Хотелось так, что даже стал видеть его во сне, вскакивал и… просыпался.

Часто во время работы задумывался, и бросив шить, тихим, тонким, почти женским голосом, пел песни.

Думал, как хорошо будет, когда около него зашебаршится, ползая по полу, толстенький белоголовый мальчишка.

Но его не было…

Как-то раз зашедший Прокофий со смехом сказал:

— Не пора ли уж нам с тобой и кумовьями быть?

Горбатый сразу нахмурился и съежился.

— Что, али все порожняя ходит?

Горбатый в ответ закрыл лицо тонкими и сухими в кистях руками и заплакал.

— Ну, это уж не дело… Не дело… — заворчал Прокофий. — А тут все-таки не без чуда… Потому баба здоровая, крепкая.

Горбатый плакал весь трясясь от рыданий — издали можно было подумать даже, что он смеется.

— Хик… Хик… Хик… — хлипало у него что-то в горле.

— Да брось… Чать не баба… Обойдется все… — утешал Прокофий, похлопывая горбатого по горбу и растерянно ходя по избе. Вот те на!.. А я думал — к весне крестным буду… Вытравливает, должно… Лизаветихиных рук дело. Все девки теперь к ней ходят… По грядкам, вишь, как-то спускает, веретеном…

— Знаю я… Сколь разов у нее заводился ребеночек-то… — всхлипывал горбатый. — Я уж не говорю, мой ли, нет… Мне все равно.

— Гуляет она у тебя?..

— Гуляет…

— Ах, кобыла!..

— Хоть в душу мне плюй, — все стерплю! — почти кричит горбатый. — Ребеночка-то только бы дала… Думал, баба у меня теперь, детки будут, как у людей… В законе ведь живем…

— Дыть известно дела… Собака, скажем, и та… — говорит Прокофий.

Уже ночь.

На улице — гармонь и песни. Мычат коровы, которых пригнали с лугов.

Прокофий уходит.

Горбатый, оставшись один, сидит в темноте. Думает, сравнивает Фленку, высокую, статную, и себя — горбача-урода, у которого даже не растет борода, а какой-то белесоватый пух с редкими рыжеватыми волосами.

В душе злоба и тоска по чему-то, чего не знал всю жизнь.

Опять мысль о ребенке.

— Себя только любит… Ест… Спит… Гуляет… А закон забыла… — шепчут тонкие бескровные губы.

Ночь совсем. На улице тихо. Стук.

— Фленка… Ты?..

Входит. Медленно раздевается. Сползает с плеч пестрая шаль, потянув за собой расстегнутую на груди кофту.

У горбатого злоба растет клубком к горлу.

— Где была?

— Не знаешь разве… Гуляла…

Неразговорчива Фекла, знать, оттого, тихо и молчаливо всегда в их избе.

Скрипнула кровать. Погасла лампа.

Как всегда кажутся громкими скрипи половиц, когда хочешь ходить тихо.

Нет, не проснулась… Спит… Ножик там в укладке с лоскутками.

Дрожат руки и от уроненной шпульки прошибает пот.

Скорей одеться бы…

Все готово.

Нож как можно выше подымать надо… Удар сильнее будет…

Р-раз!..

Во что-то мягкое.

Ни звука…

Скорей, скорей на улицу… На улице дождь теплый, летний, как через сито, и унылый, унылый…

Дорога ведет в бор… В бору — тьма… От дождя

мерный шум и бульканье в лужах.

* * *

Утром Фленка нашла около себя воткнутый в подушку нож, а горбатого в деревне больше никто не видал.

Павел Дружинин
Бабья доля

(ПОЭМА)

I

Говорила до́чи мама,
Говорила:
— Не ходи ты, до́чи, замуж
За Кирила.

У Кирила завалила
На-бок хата;
У Кирила бело рыло
Худовато.

Не казиста, не речиста
Речь Кирила,
Не мясиста, не плечиста
Мать родила.

В ём ни рожи, в ём ни кожи,
В ём ни сала.

А одежи — две рогожи.
Да мочала.

У мальчины-просточины,
Вертопраха,
Две порчины по аршину
Да рубаха.

А в чулане, на рыдване —
Пыль да крохи,
А в кармане на аркане —
Вши да блохи…

Говорила до́чи мама,
Говорила:
Выходи ты, до́чи, замуж
За Гаврила.

У Гаврилы рябо рыло
Да богато;
У Гаврилы три кобылы,
Нова хата.

И казиста и речиста
Речь Гаврила,
Округлиста и плечиста

Мать родила.

В ём и рожа, в ём и кожа,
В ём и сало,
И одежа, слава, боже;
Да не мало.

И комлоты, и еноты,
И жупаны,
Без заботы носи боты,
Сарафаны.

Не ворочай дни и ночи
Да не топай,
Что захочешь, моя дочи,
То и лопай.

Всё те в пору, до упору,
До отвала,
Хлеба горы, мяса горы,
Горы сала.

По засекам — по сусекам —
Навосклёна:
Целый век за человеком
Жить, Алёна.

От любви-то кабы сыты
Люди были,
Чай, бы жито на пожито
Не садили.

Главный скус-то, чтоб не пусто
Было пузо.
Потому-с-то, в доме густо —
Не обуза.

Главно дело — бело тело
Не в рогоже,
Захотела да надела,
Что дороже.

Всякой справой да забавой
Не стесняйся.
Пышной павой в доме плавай —
Наряжайся.

Канифасов да атласов
Муж добудет.
А с прикрасов, да от мясов
То ли будет.

От ошея до филея,

Моя дочка,
Растолстеешь, разжиреешь,
Словно бочка.

Ах, ты до́чи, моя до́чи,
Недосужья.
А чего ж ты, до́чи, хочешь
От замужья?

Отвечала до́чи прямо,
Не кривила:
— Не хочу я, мама, замуж
За Гаврила.

У Гаврила вместо рыла —
Туз бубновый;
У Гаврила душа мила —
Рупь-целковый.

Шуба новая боброва
Да кубышка,
Вместо сердца ретивова —
Кочерыжка.

Мне и клады не в отраду,
Не в утеху,

Все наряды-разнаряды
На помеху.

Всё придано-некохано
Да не к телу.
Я шуганы-сарафаны
Не надену.

Не хочу я, мама мила,
Быть нарядна,
У Гаврила рябо рыло
Неприглядно…

Стану вчуже в темь да стужу
Горевати,
Еще хуже — ляжу к мужу
На полати.

А в полати да некстати
Муж упрется —
Меня пхати да толкати
Вдруг возьмется…

Ой, калина, ой, малина
Лопушиста.
Мне перина-пуховина

Не пушиста.

Буду биться, колотиться
От падучей,
Муж озлится, распалится,
Нахлобучит.

У Гаврила мотовило,
Что копыто —
Я до мыла, как кобыла,
Буду бита.

Ой, ты, мама, ой, ты, мама,
Родна-мила,
Дозволь, мама, выйти замуж
За Кирила.

А наряда-разнаряда
Мне не надо,
Без наряда с милым рядом
Буду рада.

А как станем работати
До устатка —
В старой хате на кровати
Будет сладко.

Обниму я, да прижму я
Мила друга,
Загаркует, заворкует
Нам дерюга.

II

Как привскочет, загрекочет
Мать-старуха:
— Ах, ты до́чи, моя до́чи,
Непослуха.

Да мне ты же, да поди же,
Да перечить.
Да таки же, да бесстыжи
Еще речи?..

Заморю я, говорю я,
Тебя, дуру.
Запорю я да сдеру я
С тебя шкуру.

Забранила до́чи мама,
Зажурила,
Протурила до́чи замуж

За Гаврилу.

III

У Гаврила рябо рыло —
В два охвата...
Закурилась, затопилась
Нова хата.

В хате мати, в хате сватьи,
Прихлебалы,
Катят-ладят за ухватья
Причандалы.

Всякой всячи в печи крячат
Для съедобы,
Чтобы, значит, недостачи
Не могло быть.

Чтоб уж пили да кутили
До горячки.
Не ходили, а садились
На корячки...

Пялит рыло сам Гаврила
Наряженный.

У Гаврила три кобылы
Запряжены.

Сани-сами да с усами,
С отворотом,
Катят сани полозами
Да к воротам.

Ветер дует и балует
В ярких лентах,
Блещет сбруя впропалую
В позументах.

Бьют кобылы, что есть силы,
О наклестья,
Мчат кобылы свет-Гаврилу
Да к невестье.

У невестьи на присестья,
На рушницы,
Сели честью гости вместе
Под божницей…

Как взыграли девки-крали
Над подругой,
Обступали, замыкали

Полукругом.

Заиграли горя ради
Над Алёной:
«Ой, ты садик, ты мой садик,
Сад зеленый».

Как сымали, обрывали
Ленты-бусы,
Расплетали-распускали
Косы-русы.

«Ой, вы косы, мои косы —
Сад зеленый».
Льются слезы-светлы росы
У Алёны…

Отыграла, отгуляла
С милым рядом.
Как завяла — не видала
Ясным взглядом.

Горе сбилось, покатилось
Градом стылым…
Как случилось-очутилось
Да с постылым…

IV

А как было?
Вот как было:
Обвенчались.
Муж Гаврила:
— Тпру, кобылы…
Стой.
Примчались…

В снежной пене бьются тени,
Как живые.
Входят в сени на ступени
Молодые.

На дорожке, на порожке
Их встречают.
Хмелю трошки стелют в ножки,
Величают.

— Тюти-ути, белы груди,
Лебедины.
Ходьте, ути, отдохнути
На перины.

Ходьте важко на распашку
Во гнездище,
Там и бражка, там и кашка —
Сладка пища.

Клюйте смело, ути белы,
Чтоб жирети.
Чтоб дебелым белым телом,
Не хирети.

Чтоб ни слухом, да ни духом
Бед не знати,
А что пухом, да чтоб брюхом
Распухати.

А чтоб пятки были гладки —
Не ссыхались,
А утятки толще матки
Вылуплялись…

Сел на прясло месяц ясный
Той порою.
Шел согласно, как по маслу,
Пир горою.

Гости ели да потели,

Гости пили,
Хмеля-зелья не жалели,
В глотки лили.

Чваны званы сватьи пьяны
Жировали,
Сарафаны-раздуваны
Раздували.

Чаши пили, горшки били,
Как обычай:
Так судили бить Гавриле
Стыд девичий…

V

До полночи мати до́чи
Всё учила:
— Зря ты, до́чи, сини очи
Опустила.

Будь повадна да приглядна
Муженечку:
Все неладно да нескладно
В перву ночку.

Но смолчи уж, не фырчи уж,
Не брыкайся;
Не кричи уж, потерпи уж…
Обвыкайся…

С бабьей доли без неволи
Не слюбиться.
А без боли чирей в голень
Не садится.

Только слухай, только чухай,
Дочь Алёна:
Зря не бухай, будь послухой,
Будь ластеной.

Будь повадна да приглядна
Муженечку:
Все неладно да нескладно
В перву ночку…

VI

Так-то до́чи заморочить
Мать хотела.
Только до́чи первой ночи

Не стерпела.

Не стерпела — закипело
Ретивое.
Знамо дело, что задело
За живое.

Распалились, навалились
Думы кучей,
Замутились, заклубились
Черной тучей...

Гости званы пьяным-пьяно
Напилися,
По чуланам, к тараканам
Разбрелися...

Муж Гаврила поднял рыло
Осолово,
Грюкнул силой толстожилой
Кругло слово:

— Ну-ка, жёна, свет-Алёна,
Что взгрустнула?
Аль, бабена, про милена
Вспомянула?

А и что же, дай те, боже,
Помечтати,
Да негоже с посной рожей
Мужу спати.

Ой, не дело — чтобы тело
Застывало,
Надо сделать, чтобы грело,
Чтоб пылало…

Эка, вона, свет-Алёна,
Холодище.
Дай-ка, жёна, за иконой
Кнутовище…

Взял Гаврила, снял Гаврила
Кнутовище…
Бил Гаврила, выл Гаврила
В голосище:

— Вот-те, жёна, свет-Алёна,
Незадача —
Ни солена, ни варена
Да горяча.

Вот те катки, вот те гладки,

Вот те таски
За ухватки, за повадки,
Да за ласки.

За Кирила белорыла,
Пучеглаза…
Выл Гаврила, бил Гаврила
Доотказа…

Утомился — отвалился,
Кнут закинул,
Покатился, повалился
На перину.

А перина-пуховина
Не мочала,
Словно сына мать Арина
Укачала.

Размарила-разварила
Тело сыро,
Забурлило у Гаврила
Во все дыры…

Во все норы, во все поры
Загудело…

О ту пору, к разговору,
И все дело...

VII

Так уж издавна с любовью
Повелося.
У Алёны сердце кровью
Облилося.

А от боли, от неволи
Показалось —
В чистом поле бабья доля
Затерялась.

Ошалела, обомлела
Молодица,
Захотела перво дело
Удавиться.

От бесчестья на бесчестье
Порешилась,
В темном месте под нашестью
Очутилась.

Зацепила за стропила

Бечевою,
Запустила, будто в сило,
Головою.

Только куры процедуру
Увидали
— Бабы дуры, бабы дуры, —
Заворчали —

Мы-де сами со грехами,
Как и бабы,
Мы-де сами с петухами
Тоже слабы.

Но поди-ка, помочи-ка
Нос об реку,
Поворчи-ка, покричи-ка
Кукареку!

Мало ль кочет, что захочет
С дури грубой,
И заквохчет, да не вскочет,
Коль не любый.

Поярится, построчится
Коли на-спех...

А давиться не годится,
Курам на-смех...

VIII

Не понять — не подгадать ей,
Как случилось —
Снова в хате, у кровати
Очутилась.

На Гаврила, в рябо рыло
Поглядела...
Закружила черна сила —
Завладела.

Закружила черна сила
В черной дрожи,
Да всадила в грудь Гаврила
Вострый ножик...

Ой, ты доля, бабья воля —
Поле бело.
Знать, от боли чисто поле
Побелело.

Знать, со злобы, от хворобы —

Не с удачи,
Над сугробом, как над гробом
Ветер плачет…

В поле звоны, в поле стоны,
Ветер тужит…
Свет-Алёна слез соленых
Не осушит…

Разметалися метели —
Снег, как вата…
Ах, она ли в черном деле
Виновата.

Ой, калина, ой, малина,
Бабья доля.
Не калина зла причина,
А неволя.

Ой, поруха — мать-старуха,
Пустомеля;
Мать-старуха — говоруха —
Злое зелье.

Опоила, одурила
В ночь глухую…

Разлучила, загубила
Дочь родную…

Звезды ясны в небе гаснут,
Потухают;
Звезды ясны в час ненастный
Не бывают…

Белый цветик осыпает
Бело поле.
Белым снегом заметает
Бабью долю…

ПОСЛЕБАСКА

Ой, ты доля, бабья воля,
Злом повита.
В чистом поле да в неволе
Под ракитой;

Под ракитой, под забытой,
Под зеленой
Конь копытом топчет жито
Над Алёной…

Рожь густая, золотая

Наливает,
Молодая, жизнь иная
Расцветает…

Как во поле, черной доле
Не ужиться —
Бабья доля ясной волей
Колосится…

Мир зеленый над Алёной,
Как рубаха;
В поле звоны-перезвоны
Свищет птаха…

Вскружит ворон с хищным взором
Да с когтями,
Каркнет ворон над простором,
Над костями…

Сядет ворон — покурлычит
Да потужит,
Да печально за добычей
Вновь закружит…

ПО БОЛЬШАКАМ И ПРОСЕЛКАМ

Амир Саргиджан
Сарай звезды

Очерк

I

ПОЭТЫ

Серые глинобитные стены окружают дворик. Двери, маленькие и резные, почти всегда закрыты днем, почти всегда распахнуты ночью. Ствол старого винограда прислонился к одной из стен, его длинные гибкие ветви, охватив столбики верхнего этажа, перекинулись на крышу. Из-под стены выползает и уходит в противоположную серая змейка арыка. Он всегда полон, всегда шуршит.

Моя келья наверху. Раннее утро. Двери еще закрыты, через щель дрожит солнечная коса.

Забурчали голуби. Через мгновенье тягучая и нежная молитва нарушает лирическую болтовню птиц. Ученик медрессе домло Кодырь по бедности своей служит при мечети, и его-то надорванным голосом начинается каждый мой

день. Голос его тих, он успокаивает, а внизу, во дворе, вторит ему плеск воды, стук чайников: набожные соседи мои — афганцы — омываются перед первой молитвой, а скептический служка Ботур-бой бежит за кипятком. Через минуту он уже стучит в дверь и пробегает к следующей. Там, за дверью, оставлен белый кузнецовский чайничек, благоухающий мятной теплотой зеленого чая. День начат.

Дворик за ночь вспух пылью. На него хлещут холодной тяжелой водой, и он покрывается черной слизью. Ворота распахнуты на улицу, там уже пробегают одержимые энтузиазмом продавцы винограда, лепешек и фиг. Широким халатом и белой чалмой обозначены купцы, торопящиеся к открытию лавок: в левой руке — благоуханные арабские четки, в правой — ключ на ремешке. Арбы, чуть не задевая друг друга, прокатываются мимо. Группами едут всадники — дальние крестьяне; плетутся ослы под тяжестью хозяев. Торжественной важностью, наполняя воздух дыханием мяты и жаром степных просторов, проходит караван; погромыхивает колокол последнего верблюда. День начат, пусть же будет он благополучным, как вчерашний, и благосклонным, как завтрашний.

И дома и на улице бегает Ботур-бой в своем белье из розового ситца. Широчайшими белыми тканями облечены афганцы — на одни их штаны уходит семь аршин батиста, и ткань обтекает их ноги широчайшими складками. Тяжела и велика афганская чалма, черна и скользка персидская шапочка. И здесь, в караван-сарае, прохожие жители временного крова, по необходимости совершая общие дела, клянясь над одним Кораном, они ненавидят друг друга — яростные сунниты под белой чалмой и упорные шииты под персидской шапочкой. Все разногласие их заключается в толковании двух-трех строк, неосмотрительно записанных Магометом. Но афганцы, персы, коричневые индусы, чернобородые бухарцы, дальние татары, холеные турки — мы ютимся все вместе здесь, под благословенным кровом постоялого двора. Только русских здесь никогда не бывает: для них есть зловонные гостиницы и новый город.

И всеми, откуда бы мы ни приезжали, управляют здесь освященные давностью обычаи. Молчаливо недолюбливая татар, не допуская на ночлег женщин и евреев, караван-сарай «Юлдаш-Тага» существует многие десятилетия. Юлдаш — значит звезда. Таково было имя владельца.

День начат. Все обитатели, проезжие и приезжие по делам торговым и по служебным, расходятся. Но втечение дня все они многократно встретятся — никто из них не минует базара.

Кто же минует базар! Здесь, когда европейцы и европействующие еще спят на пружинных кроватях, уже насквозь известно все, что за ночь произошло в отдаленнейших городах мира, затем и базары, чтобы торговаться, завязывать знакомства, выпытывать новости и собирать материал для потрясающих сплетен. Кто же ходит на базар лишь ради покупок! Можно ли переносить такой рационализм! Если вы не сангвиник, если сердцу вашему дано ощущать биение жизни, вы не пройдете через базар, как через московский пассаж. Слушайте: здесь хромой мулла, суля леденец, выпытывает у малыша пионерские заповеди. Черный перс, насупившись, изучает курс червонца. Купцы налету понимают общие мысли, оживленно беседуя о другом. Некоторые улицы базара перекрыты циновками, и свет просвечивается через узкие щели. Там, над шумной землей, гуркуют голуби.

Проходят европейцы. Они покупают орехи по скорлупе и поэтому часто ошибаются. Только женщины-европейки смеют еще судить о зернах,

не глядя на скорлупу, и поэтому ошибаются еще чаще. Азиаты же умеют между двумя положениями находить компромисс и чаще бывают счастливы. Но ошибки нас учат. Мудрый Восток ошибался редко, и поэтому он столь немногому научился за последние годы.

Жизнь базара кипит до вечера, до четвертой молитвы, когда закрываются лавочки, вывешиваются у дверей керосиновые фонарики, а с другими фонариками в руках купцы расходятся по домам. Там говорливые и торопливые жены, жирный горячий плов, мягкое одеяло и скользкая дыня на сон грядущий.

Пара подсохших лепешек, дынька да чайник зеленого чая — вот ужин ремесленника; пара не очень грязных, но очень обтрепанных одеял — вот его обстановка; самая некрасивая (дешевая) женщина — это его жена. Сухая лепешка да чайник чая — его обед; кисть винограда да чашка чая — его завтрак. День начат, день окончен. Все они похожи один на другой — ковать ли лопату, шить ли седла, чеканить ли нежнейшие стихи Гафиза на ноже для разрезания дынь.

Гости и посетители часты в наших сереньких кельях, куда не допускают ни жен, ни матерей. С утра заходят сюда купцы совершить сделку, мул-

лы сообщить последние новости; иногда татарки — предложить любовь.

Я сижу над книгами, в часы, когда душно в тени и горячо под солнцем. Шелестит арык и воркуют голуби. Только изредка подкованным каблуком стучат по двору туфли.

Я прилежный путник к истоку культур. Крыша мира — Памир синеет вдали своими отрогами, словно легкое облако. Я читаю его письмена. И целый день, пока зной мешает бродить среди людей, со мною в тени — глиняная чернильница и отточенная камышовая палочка, заменяющая перо.

Гости нарушают застоявшийся зной. Машед-Али получил из родной Персии красный контрабандный чай и со своим чайником перебирается ко мне угощать и играть в шахматы. Машед-Нохай — подучиться арабской грамоте. Шир-хан, владетельный князь афганский, — обменять пару английский книжек и поругать зубного врача, ради которого он переехал границу. Абду-Джалиль — шейх, ходжа и ханжа, приходит позже. Он грустен, но улыбчив и любезен, он приносит блюдо горячих пирожков, приготовленных дома.

— Желаю мира и довольства, — говорит он.

— Благодарствую, будьте благословенны!

Пьем чай. Я первым. Хозяин начинает: пережиток давних времен, когда немилого гостя угощали изысканнейшей любезностью и вернейшим ядом.

Шейх дряхл и любезен.

Мы говорим об истории, о жизни; наконец, о последних новостях. Из любезности шейх сочувствует решительно всем моим мнениям — такова обязанность гостя: пережиток давних времен, когда строптивый гость стараниями обиженного хозяина мог навсегда распрощаться с милым миром.

Лет тридцать назад шейх впервые был в Мекке; последний раз — пятнадцать лет назад и за десять лет до этого последнего паломничества родился у шейха Абду-Джалиля сын Абду (или Абу) — Саид. В ознаменование путешествия шейх повязывает чалму на особый манер; в честь сына он носит печаль на сердце.

Книжка Саади, украшенная редкостными рисунками, лежит у меня среди других, в стороне. Ее подарил мне на прощанье Абу-Саид пять месяцев назад.

Мы пьем чай и говорим о жизни, о дальних странах, о Европе. Есть на персидском языке книги — Искандар Дюма, «Торихи» Наполеона.

«Монте-Кристо» — любимейшая книжка шейха, Наполеон — героичнейший чужеземец.

— Только Тимур умнее Наполеона! Только Чингиз сильнее! — говорит шейх.

Горьким налетом печали темнеют глаза шейха, даже седая борода темнеет, даже второй халат распахнут у шейха, когда речь касается литературы. Шейх взглядывает на томик Саади, шейх вспоминает сына.

— Наши руки ковыряют землю, наши глаза иссыхают от солнца, наши хребты искривляются, когда мы растим сад; но сад распускается, и мы пожинаем сбор, круглый год тешим себя фруктами. Наши глаза истекают, наше сердце измыливается, когда растут наши дети. Мы радуемся, привязывая бубенчики к их косичкам, мы гордимся впервые одевая им чалму, но где же сбор? Где же цветы и плоды теперь, в старости?

Голос шейха с надломом, хотя и литературна его речь, а глаза вопрошают. Вежливость нарушена, бесстрастие сломано, а не говорил ли Магомет…

Но дело не в Магомете…

Он ясен, — Абу-Саид. С двенадцати лет до шестнадцати он учился в медресе Мир-Ароб в Бухаре, бухарские революционеры — младобухарцы по-

могли мальчику переехать в Стамбул, и Абу-Саид изучал литературы и историю, изучал Индию, насколько хватало книг, говорил на семи восточных языках и на трех европейских. Два года назад он вернулся обратно. В мирной тишине сарая «Юлдаш-Тага» расцвела наша приязнь.

Свои повести и стихи он писал на родном языке — фарси. Это, может быть, древнейшее из персидских наречий. Персия считает его своим литературным, но персы не владеют им так, как бухарцы.

Абу-Саид приходил по вечерам. В темноте, на балкончике, разжигали мы дрова, варили плов, грызли миндаль, слушали Гафиза — меланхоличного умника и Саади — умного меланхолика. Нередко и сам Абу-Саид читал стихи. Строфа его стихотворений, краткая, гибкая и звучная, кипела свежим языком, изумительнейшим сплетением образов и мыслей, неожиданным заключением, ласковой моралью. Он написал оэму «О нагорных странниках», о туманной жизни таджикских селений, о людях, заброшенных в удаленные горы, о их походе в поисках пути к лучшему миру, о гибели и о сумасшедшем старике, и поныне, уже среди долин, не устающем искать путей. Проезжий перс, редактор «Тавриза», услышал

эту поэму. Он предложил ее немедленно издать в Персии, звенел рупиями и переписывал к себе в тетрадь звучные строфы. Абу-Саид отказался, но неутомимо предлагал ее в Бухаре, в Самарканде, в Ташкенте. Все хвалили поэму, обнимая автора. Пять месяцев назад он возвратился ко мне:

— Наши издательства обременены большими планами. Они печатают брошюры по земельным вопросам, учебники, поэтов им некогда издавать: они сначала хотят пахать, а потом уж и петь. У меня остается один путь…

В некоторых городах Азии существуют содружества поэтов. По очереди они собираются друг у друга, обычно в зимние ночи и в черные вечера Рамазана, едят плов, читают стихи и никогда не печатаются.

Восток наверстывает упущенные столетия — в его арбу впряжен фордовский трактор, нужно скорее учиться обращению с этим трактором, изучать новые породы хлопка, устраивать новые системы орошений…

Пять месяцев назад Абу-Саид вернулся ко мне, чтобы проститься:

— У меня один путь.

Он уехал в Москву. Цель его — русский язык; вторая — русская культура. Он написал мне из

Москвы, что штудирует Даля, без устали слушает и записывает народные песни, ездит в глушь прислушиваться к говору, к новым словам; часами бродит в музеях перед картинами и иконами, перед архитектурными зданиями, изучая прошлое той страны, которой он принес свое будущее. Многие из своих вещей он переписал порусски, кое-что уже напечатал, над многим работает. Он не устает, его русская речь уже совершенна; у него русское имя; насколько возможно, русская внешность. Скоро он овладеет языком сегодняшнего дня. Но Азия потеряла его безвозвратно: он овладел языком большей аудитории — шестой части мира, и к ней-то и приноравливается его голос…

— Да, да, я слушаю, шейх, это горько, когда дети покидают своих родителей…

— Мне семьдесят лет, милый Амир, моя жизнь на закате. Есть ли у меня солнце, если около меня нет детей? Можно ли слушать мир, если ему не аккомпанирует голос ребенка?

Азия любит детей, Азия балует детей. Она чует инстинктом опасность вырождения. Об Азии только теперь стали заботиться — теперь ей посылают хину, врачей и семена культурных растений.

— Горько доживать в одиночестве, мы, родители, имеем неотъемлемое право на детей. Мы растим их и холим их для совместной жизни. Вправе ли отнимать они у нас радость своего присутствия?

В мире много родителей, покинутых единственными детьми. И, может быть, не так горько вспоминать о погибших в битвах, как о тех, которые не хотят возвратиться…

Абу-Саид изучает сердце шестой части мира. Он поэт и надеется овладеть ее языком и ее ритмом, но в мире много родителей, покинутых единственными детьми. Будьте стойки, будьте мужественны, — одни на неуклонном пути к своей цели, другие — в своем одиночестве.

Я рассказываю шейху о мире, о времени, о смене поколений. Я молчу о том, что между ним и Абу-Саидом лежат не пять тысяч верст, а пять тысяч лет. Шейха ждет на дворе вороной конь, а сын его проносится теперь в стремительном трамвае. Шейх уснет в ожидании следующего дня, а сын его — нового тысячелетия.

Шейх грустно возражает:

— Когда я был молод, язык мой не уставал напевать стихи. С детства я слышу, как купцы и крестьяне поют Саади, на все случаи жизни

помнят заветы Гафиза. Но язык поэтов лукав. И мне не по душе, что у меня только один сын, и еще грустнее, что он — поэт. Поэты никогда не могут ужиться. Властители умов, если они сами не поэты, опасаются их, не любят их: поэты думают или на тысячелетие вперед или на столетие назад. Если они не лгут, язык их не совпадает с языком современности, — иначе они не поэты. Сознаюсь, пророк наш был хитрейшим политическим деятелем и ненависть его к поэтам была безгранична. Он жжет их на протяжении целой главы Корана, он не устает говорить:

«Хотите ли вы знать, каковы те люди, на которых нисходят демоны и которым они делают внушения? Демоны вселяются во всякого лжеца, погрязшего в грехе, и тогда он начинает рассуждать о вещах, которые уловил лишь краем уха, чаще же просто измышляет ложь.

Таковы поэты, за которыми в свою очередь следуют сбившиеся с пути. Неужели ты не видишь, что они бредут по всем дорогам, как безумные, рассказывая о том, чего никогда не видели...»

Шейх умолкает, опечаленный авторитетом пророка.

Мне остается спорить и возражать:

— Разве не дорог нам Саади на протяжении

многих столетий? Разве не был поэтом сам Магомет? Разве народные восстания разгораются не под грохот песен, рожденных тут же, за минуту до битвы?..

Шейх задумчиво молчит, перебирая четки. Четки благоухают кипарисом, застывшей тишиной Аравии. Четки — это связка молитв, которых не следует позабывать правоверному шейху.

И расстаемся мы любезно, перекидываясь шутками: шейх стар, он желает быть вежливым.

День отошел. Покачиваются фонари. Утомленный голос домло Кодыра зовет к пятой, последней молитве. И чей-то осел, уставший ждать своего хозяина, орет изо всех сил у подножия минарета. В Коране по этому поводу сказано…

А, впрочем, не все ли равно, что там сказано!

На дворе расстелены коврики, пьют чай, играют в карты, пьют пиво: какое счастье, что пива не было во времена Магомета, иначе пророк запретил бы и его, подобно вину…

Ночь. Хороша игра — кончильнор, когда пьяный голос поет печальную песню о гордой розе и соловье.

II

ЛЕГЕНДЫ

День кончен. Посторонние покинули караван-сарай. В сады ускакал шейх. Возвратились к мирной тишине купцы после дневной суеты, непрерывного говора, напряжения и предприимчивости. Ремесленники отмыли копоть, освежая отупевшие глаза. Ночь.

Покачивается фонарь на дворе, а мы собираемся вместе в маленькой комнате, где ковры, одеяла, тарелка с миндалем, пиво. Человек восемь-девять давних обитателей, мы делимся прожитым днем. Молодой портной Мир-Аколь, подвыпив, подносит к уху поднос, бьет по нем ладонью и пальцами и поет печальную песню. Европейцам странными кажутся эти напевы, где голос дрожит, как струна. Они не улавливают, как ритм напева совпадает с биением сердца.

Последняя молитва окончена в мечети. Мы намерены мирно просидеть этот вечер на уютных одеялах, развалясь в тепле, в тихом свете, под мирный говор племен. Нас много — племен, пять или шесть: бухарцы, персы, турки, афганцы… Песня настраивает, как вино. Говорим об отошедшем

дне, о цене на картофельную патоку. Мир-Аколь о своей стране — Самаркандии, где прекрасны, как небо, изразцы на давних сооружениях. Перс Али прерывает его горячо:

— И все это создано персидскими руками!

— Но они были нашими пленниками, эти архитектора…

На мгновенье шипит тысячелетняя рознь.

— Стой, Машед-Али, — говорит Шир-хан, афганский принц и мечтатель, — не в чудесные ли времена мы живем. Вот давние пленники сложили эти каменные цветы, не затем ли, чтоб теперь их освободившиеся потомки угадали чудесные сновидения, которые в годы темниц и неволи преследовали их…

Мир-Аколь согласен, но он немножко пьян и теперь хочет досадить Машеду-Али. Мир-Аколь знает, как чтут персы Куссама, убитого в Самарканде двенадцать столетий назад. Аколь рассказывает непочтительную легенду об этом «живом царе».

Когда арабы завоевали Туран, они принялись насаждать культуру ислама, хочешь не хочешь, молись аллаху. Сам двоюродный брат пророка Магомета Куссам руководил делом, на него-то и обрушился гнев населения, когда представился

случай. Спасаясь и желая покончить со всем без лишних мучений, Куссам добежал до Афросиаба, увидел колодец и прыгнул туда.

Дальше идет легенда: самоубийство вещь предосудительная и можно ли брату пророка умереть такой собачьей смертью, и потому…

«Прыгнул в колодец Куссам-ибн-Аббас, святой человек, — р-раз! — и стал бессмертным. Видит себя он в саду. Самаркандцы же добежали до колодца, делать нечего, пошли назад, а арабы придумали: „Святой человек Куссам, сидит он в колодце, не пьет, не ест — богу молится за всех правоверных без отдыха…“

Ну, прошло с тех пор восемьсот лет. Едет мимо колодца хан Тимур и говорит: „Трудного я жду похода. Помоги мне, Куссам, я над тобой мавзолей выстрою“. Едет с Тимуром Рухабадский шах, Тимуру советует: „Если с купцом купец затевает дело, задаток дает. Построй мечеть, а тогда и в поход иди“. „Ну, ладно, — соглашается хан, — стройте, персы!“

И построили персы мавзолей из кирпича и покрыли такой синевой, которую выжали из неба. Франки и доныне придумывают такую краску и не могут ее понять. И поставили эту синеву, словно свод небесный, а стены покрыли изразца-

ми, изображающими цветы, будто райский сад, так что слетались отовсюду обманутые птицы чаровать своим пением каменные цветы и разбивались о купол, думая, что взлетают к небу.

А Тимур поехал в поход, едет и думает: „А что, если поставил я мавзолей над пустым местом…“ Едет, а сомнение дотого его разобрало, что поворачивает он коня вспять и возвращается к колодцу. Слезает с коня и смотрит: над каменными розами живые соловьи поют. А войско стоит за ним и молчит.

„Вот что, — кричит Тимур, — есть ли из вас человек, который спустится в этот колодец и посмотрит, действительно ли Куссам там богу молится?..“ Стоят воины и молчат. Наконец выходит один, по имени Хида, и говорит: „Что ж, ты и не в такие дела посылал, а я ходил, вяжи канат“.

Связали канат, стали опускать Хиду в колодец. День опускают, другой опускают, веревки надвязывают. На третий день веревка перестала опускаться. Стали ждать.

Вот через три дня слышат, что кто-то веревку дергает; догадались, начали поднимать. Три дня тянули назад. Наконец вылезает Хида и кланяется Тимуру. „Ну? — спрашивает эмир, — как дела, Хида?“ — „А дела вот как: запрещено мне

рассказывать, — расскажу — ослепну, и все дети мои будут слепорожденными“. — „Не беда, Хида, — торопит эмир, — рассказывай!..“

„Ну вот: опустился я вниз, вижу: пещера, а сзади как будто — свет. Иду на свет, вижу выход, а за выходом цветет зеленый сад. В саду гуляют старички, и с каждым по мальчику, очень хорошенькие мальчики, приятно с ними позабавиться. Ну ладно, думаю. Подхожу к старикам и спрашиваю: „Не видали ль вы тут Куссама-ибн-Аббаса? У меня до него дело есть“. Стали было меня расспрашивать, но видят, что я не мулла какой-нибудь и разговаривать мне с ними некогда, ведут к Куссаму. Вижу я: сидит старик, лицо его, как гнилой персик, борода, как пакля. Сидит и играет в шахматы с таким хорошеньким мальчиком, какого — прости! — и у тебя, Тимур-хан, не побывало. И перед каждым ходом попивают они по чарочке такого винца, от которого и китайцы не откажутся. Видит старик, что застал я его не вовремя и говорит: „Ты иди назад, Хида, я занят заботами о земле, да смотри не рассказывай, что тут видел, а то ослепнешь...““

Велел тогда эмир Тимур засыпать колодец доверху и место то сравнять с землей. А в замечательных тех мавзолеях похоронил своих

родственников. И стало то место называться Шахи-Зинда, что значит „живой царь“».

Машед-Али, конечно, давно знает эту легенду, но он настроен мирно, он не хочет ссориться, он только язвит:

— А слепого Хиду твой добрый эмир пустил по миру?

— Нет, — возмущается Мир-Аколь, — он выстроил в Самарканде Мадрасу-и-Хоразми, где слепцы изучали Коран и могли стать муллами. Оно и сейчас — приют слепцов…

— Ну да, за подвиги наградил богадельней…

Но Мир-Аколь, отмахнувшись, берет свой поднос, бьет ладонью и пальцами и опять поет, а Машед-Али наливает пиво.

— Я тоже расскажу, — говорит афганец из Майманы.

Он все время сидел в углу, молчал и теребил четки.

— Вот какой у нас есть рассказ. Будто бы сидел, сидел под землей Куссам-ибн-Аббас и наконец решил выйти. Обращается он к Магомету и говорит: «Помоги, пожалуйста, мне — мой колодец засыпали, не могу выбраться». Ну, взял пророк штопор, просверлил в земле дырку, через нее Шахи-Зинда и пролез.

И надумал святой человек итти в Аравию собирать войско, чтобы со всеми неверными расправиться. Выбрал день прохладней, пошел. Идет по городу, навстречу ему едут всадники без чалм. «Ну, — думает Куссам, — это паршивый народ, не мусульманский. Такой народ мозгов не имеет, а вместо сердца, у него ослиный хвост».

Ладно. Подходит Куссам-ибн-Аббас к городским воротам, раскрывается перед ним степь. Видит: сидит у ворот человек, роста небольшого, халат едва до пояса достает, коротенький, а из-под халата до пят штаны спущены. И халат черный и штаны черные, а голова белая и непокрытая. Заинтересовался Куссам и думает: «Ну у этого вместо сердца и хвоста-то нет, одна видимость, чужой человек». И спрашивает: «Далеко ли, брат, путь держишь?» — «Да вот иду в Аравию, — отвечает, — чтоб на Востоке войско набрать и со света ханжей разогнать». — «Ну и ну», — думает Куссам, и говорит: «Нам, брат, по дороге».

Пошли вместе. День идут, никого не встретили, другой идут, никого нет, а запасы-то их и кончились. «Вот, — говорит Куссам, — удивительный человек, вся наша надежда на одно: растут здесь, в пустыне, земляные груши. Кто из нас найдет, тот с другим поделится». «Ладно, — говорит уди-

вительный человек, — пойдем искать».

Так. Пошли, а посредине Куссамов посох на бархане поставили, чтобы знать, к какому месту сойтись. Идут в разные стороны — святой человек к пустыне привычен, другой — не привычен. Святой скоро много груш нашел, сел — съел. Идет назад и печальные глаза делает. Другой приходит и несет одну грушу. «Вот, — говорит, — одну нашел, трудно искать, под песком не видно». Разломал пополам, поделился с Куссамом-ибн-Абассом.

Идут еще день и еще день, нигде ни одной груши не попадается. Опять расходятся в стороны. Святой нашел, сел — съел, идет налегке обратно. А другой возвращается и приносит половинку, а у самого глаза давно погасли от голода. «Вот, — говорит, — под песком не нашел, а поднял на дороге половинку, верно, шел караван да недоеденную выбросил, давай, разделим пополам. Разделили — съели.

Пошли было дальше, а Куссам к другому присматривается: „Что, — думает, — за человек такой — одет не понашему, а такое сердце!..“

А скажи-ка ты мне, странный человек, — говорит Куссам, — как же это ты войско набирать будешь?» — «А вот приду и скажу: посмотрите

на мое сердце, если оно бьется заодно с вашим, идите за мной, а если иначе, идите против. И когда наберется нас много, мы пойдем и завоюем мир. Завоюем и прикажем, чтобы были у всех добрые сердца, щедрые руки, общие кровли и глаза смотрели вперед…»

Так прошли они еще три дня, и Куссам-ибн-Аббас взглянул вперед на долгий путь, оглянулся назад и останавливается: «Вот, — прошептал Аббас, — ты лучше, чем показался мне сначала, и твое войско будет сильнее моего, а потому мне незачем итти в Аравию, и я возвращаюсь обратно». — «Да, — сказал странный человек, — лучше тебе возвратиться: пусть возвращаются те, которых пугает пустыня и безрадостный путь».

«Ты говоришь знакомо. Как же имя твое?»

«Зовут меня Лениным, а иду я с запада…»

«И они расстались».

Это одна из многих и многих легенд о Ленине. Их рассказывают на базарах; старые нищие распевают их в харчевнях и чайных, как некогда пели о народных героях, о подвижниках.

Иногда сводят героев вместе, ставя Ленина во главе их. Иногда легенды эти наивны, иногда грубы, но всегда искренни. Откуда возникли они в нагорном Китае, в глуши Афганистана, где правит

неограниченный деспот, в молчаливой Персии? Какая сила делает их столь популярными?..

Ночь. Азия спит. Фонарь колыхается над сонным миром. Мир-Аколь поднимает к уху свой поднос, бьет по нем ладонью и пальцами и поет грустную песенку о покинутых женщинах, которые томятся под чадрой, не смея спросить о милом, не смея поджидать, не смея надеяться:

А она все ждет, красавица:
Может, милый придет.
Вот и сад цветет, красавица, —
Он придет, придет, красавица...

Ночь. Азия спит. Азия ждет...

Л. Воронцова
Двадцать пять верст по Калязинскому уезду

Очерк

Станция Калязин — как десятки других глухих станций в центральных губерниях нашего Союза. Зал ожидания, сохранивший еще дощечку «Зал для пассажиров III и IV класса», так же уныл, прокурен, заплеван, так же хранит в каждой пяди своих стен и пола тяжелый запах карболки, гнилых лаптей, немытого тела — всего того, что образует особый аромат российских вокзалов.

В мертвенном свете свечи, потрескивающей за пыльным стеклом фонаря, слова плакатов, обещающих тайну вкладов и предостерегающих против сырой воды, кажутся невеселой шуткой. Натруженными пальцами в сотый раз пересчитывает крестьянин-извозчик грошевый свой заработок, стоя под портретами красавиц фирмы «Адон», вещающих розовыми устами о «чудесном креме» — секрете молодости и красоты.

— Прикажете свезти? — говорит он с ироническим подобострастием, зная, что никуда без него

не уйти несмышленному горожанину.

«Городские — дармоеды, простаки и чудилы. И подумать только, что им за работу по часам платит казна деньги. Да какие деньги! Нет, не только не грех, а благое дело содрать с такого лишнюю рублевку». Эта мысль сквозит и из выцветших глаз, запрятанных в косматые брови, и из сального, радужными заплатами пестрящего пиджака, и из оскалившихся, как-то нарочито неправдоподобно изношенных сапог.

— Прикажите, недорого свезу, — говорит мужик и называет цену втрое, вчетверо большую обычной красной цены.

Толпа извозчиков, дымя козьими ножками, обступает пассажира и из чувства солидарности со «своим» угрюмо и угрожающе говорит о дальнем и трудном пути. Версты растут, кружась, прыгая, приближаясь к бесконечности. Растет цена и окружают вас призраки всех несчастий и препятствий, неизбежных, как рок. Но если, выдержав все испытания, будете крепко держаться своей цены, мужик махнет рукой:

— Ну, так и быть, едем, свезу. Из уважения только соглашаюсь.

А чтобы «с паршивой овцы хоть шерсти клок», он, надвинув замусоленный картуз, торчащий,

негнувшийся, заискивающе просит:

— Ты бы хоть чайком в трактире напоил, гражданин хороший, а?

Дядя Яков — самый пройдошливый из возчиков. Срядится отвести седока за пятерку в соседнее селение, а там, глядишь, пронюхает: приехал кооператор к валяльщикам за валенками, будет ездить по деревням. Дядя Яков выспрашивает у кооператора:

— Какого же цвета понадобятся валенки, на какую цену? Я знаю тут недалече есть очень даже замечательная работа. Два брата. Вот пожалуйте свезу.

Кооператор, доверчиво внимая предупредительным речам, отдает себя в руки дяди Якова.

Дядя Яков везет его и подряженного седока в ближайший трактир, настойчиво просит заказать «пару» чая и скрывается на десять-пятнадцать минут. Возвращается со сконфуженным, не знающим, как ступить, чтобы не задеть чего-нибудь, молодым парнем, радушно, как в своей избе, усаживает его за стол, просит заказать еще «пару» «погорячее», снимает пиджак, крестится на стену с плакатами и долго, со смаком прикусывая сахар, пьет черный, пахнущий банными вениками чай. Пьет шесть-семь стаканов до изне-

можения, до крупной испарины. Потом, вытерев усы тыльной стороной грязной ладони, просит у седока «рублишко на овсишко кобыле», опять исчезает минут на пять и, вернувшись, почему-то радостно потирает руки, говоря:

— Ну, гражданин, езжайте с богом с этим человеком. Ему додадите остальные. — И, уже не глядя на седока, заводит беседу с кооператором.

Конфузливый парень только за дверью вздыхает и говорит:

— Жида. Ни за что рубль заработал.

У дяди Якова кроме старухи жены нет никого (сын умер в голодные годы), но он неутомимо, как муравей, и, на первый взгляд, так же бестолково, суетится, снует между приезжими, подслушивает обрывки разговоров, прикинувшись смиренным старичком, пряча назойливые глаза, расспрашивает, как и где обстоят разные дела. У него и торговля «мелочными и колониальными товарами», у него извоз и на две души пахоты, и скотинка, и сенокос. Он может при нужде и на сапоги зарплату положить, кадку сбондарничать и, складывая выручку в банку из-под монпасье, жалуется на «трудные и последние времена».

Священнику за молебен на дому он дает полтинник самыми стертыми медяками и смиренно

целует пахнущую ладаном руку, думая: «Нет, чтобы бедному человеку безвозмездно отслужить, полтинничи все подавай. Одним словом, божий служитель».

— Все они хапалы — христовы радетели, — соглашается с дядей Яковом и хилый Илья.

Ему двадцать девять лет, был в Красной армии в годы гражданской войны по мобилизации. Но больше в госпиталях да в отпусках служба прошла: тиф сыпной, тиф брюшной, возвратный, цынга, катар кишечника, желудка, «куриная слепота» от слабости и голодовок, да и кашляет он нехорошо.

— Доктора? Ну какие же у нас доктора? В больнице молодой один — касторку от катара дает да хину. Как и ветеринар: не обращает внимания на старых, будто они и не нужны в хозяйстве.

Вернулся Илья из армии в село свое Собакино (Собакино потому, что помещик Дмитриевский не столько людей, сколько собак в деревне имел) и избу начал строить. Пять лет все доходы в нее загонял, трех детей нажил, а все до конца далеко.

Кидается Илья к разной работе, — не из стяжательства, как дядя Яков, а из нужды тяжелой.

Промышляют мужики зимой валяльным делом. У кого изба попросторнее, тот мастерскую у

себя устраивает. Берет на дом сырье и в жару, в пару три сезонных месяца отдает «чорту душу, а прибыль хозяину».

Много их, хозяев, появилось за последние годы. И «бывшие» и новой формации, нэповской, пожалуй еще лютее, чем бывшие. Они остерегаются устраивать у себя мастерские, набирать штат рабочих: невыгодно платить страховые взносы. Работу дают тайком на дом. Пробовали кооперироваться. Организовали артель, установили паевые взносы в тридцать три рубля. Илья дал четыре рубля. Сработал десять пар валенок с грехом пополам. Принес. А их возьми да и зачти в пай целиком. Что делать? Деньги каждый день нужны. Дети и хозяйство ждать красных дней не хотят. А «хозяин» каждую неделю заработок выплачивает и в счет работы вперед дает. Ну, и идешь к нему.

Вся беда Ильи в том, что он не может полные три месяца работать. Пойдет в отход, в Пензенскую или Тамбовскую губернии, поваляет месяц, а на большее — сил нет.

— Пищу бы изменить надо, да детей трое, а корова одна, куриц пара. К тому же и поп себе причину ищет, с чем бы по дворам пойти. Приехал он в голодовку молодой, тощий, в мешечном

подряснике. Теперь полное хозяйство: коровы, лошадь, свиньи, куры. Подряснички разные — из сукна да шелку. А новину идет собирать со своей меркой — объемистой… Не хватило у меня сена скотине, а денег тоже нет, — говорит Илья, — ну, пошел к попу. Он продавал как раз. «Дайте, батюшка, сенца в долг. Деньги скоро будут — отдам». А он: «Нет, — говорит, — не дам. Много вас тут таких». Отчитал я его, что не по Христу живет. Да разве у них совесть есть?

Все крестьяне обижаются на своего пастыря. А поп пугает: «уеду». Но никто из прихожан не может допустить этого. Привыкли. Голос у него, как у архиерейского протодиакона. Хор хороший подобрал. Захочется пение послушать, душой с богом побеседовать, достает мужик медяки из похоронок, несет попу — ублажи душу грешную.

— Разве мне поп надобен? — объясняла бабка Анна, годов девяносто прожившая на белом свете. — Пьяница, дармоед. Нынче на падеж скота молебен служил, да так самогону нахлестался, крест, кропило, родимые, обронил, растерял дорогой. Нет, непутевые отцы наши стали. Одно им спасенье — некуда больше пойти.

* * *

Итти некуда, а досуг есть. Не как в прошлые годы. Досуг есть потому, что перешли на четырехполье и пустоши засеяли клевером. Клевер же в этих песчано-глинистых местах родится так, будто специально к такой земле приспособлен.

Поехали крестьяне на свои полосы. Скосили траву, перевезли. Глядят: а сараи полны. Спокойны хозяева за себя и за скотину, которая не будет во вьюжные вечера терзать хозяина голодным криком и выпирающими, как валежник, ребрами. Нет нужды теперь убивать время, ломать косы среди пней, кустов в погоне за тощей охапкой сена.

Но несмотря на это новшества прививаются туго. Крестьяне будут внимательно слушать о том, что веять рожь веялкой и экономнее и скорее, что веялка стоит недорого вообще, а если приобрести ее нескольким дворам вскладчину, так и вовсе пустяки. Будут поддакивать, виновато почесывать затылки, а потом зевая заявят: «Где уж, передеремся, не поделим» и пойдут к лопатам.

А веют лопатами так: обмолотят рожь в риге, вооружаются лопатами и ждут, когда подует ветер. Есть ветер — загребают зерно лопатой, под-

брасывают вверх, зерно падает, а полову относит в стороны; нет ветра — идут веяльщики чай пить, поминутно поглядывая, не дует ли. Измаются иной год так, что зиму целую сны душные снятся, будто запретил бог ветру дуть в наказание за грехи крестьянские.

— Не верьте нашим мужикам, когда они говорят, что света за работой не видят. Все врут, — говорил Иван-портной, приехавший из города отдохнуть. Обычно был он молчалив, угрюм и с болью носил свое слабое, кособокое тело в черной франтоватой тройке. — Белка в колесе тоже работает, и медведь дуги гнет, да толк-то от этой работы какой? А я так скажу: ленивей и безобразней нашего крестьянина нет никого. Надо поглядеть только, как пашут у нас: поверху, поверху, едва-едва тронет плугом, а борозды на пол-аршина одна от другой. Как же на такой земле хлеб будет расти? И зерну прорасти трудно и дикая трава одолевает.

— А в избах видели чернота да грязь какая? Не люди будто, а самые, что ни на есть поганые свиньи живут. Или еще дворы: разгорожены, крапивой да лопухом до порога поросли. Ни цветочка, ни деревца порядочного — потому что ходить за ними нужно. А где тут времени

набраться? Нужно самогон сварить, выпить, а бабам все сплетни пересудить. Глупый, не от разума этот труд.

* * *

Вечером подоят бабы коров, справятся с мелочишкой хозяйской — и на улицу. Сидят на пнях, да в тень ночную вглядываются.

— Паша, у тебя глаза помоложе: кто это по той стороне идет? Наш, аль чужой какой. И к кому бы это он шел? — думают-гадают бабы.

А тетя Дуня уже клохчет потревоженной наседкой и щедрые слезы концом платка вытирает:

— Быть, быть войне, помяните мое слово, бабочки. И солнце темнилось и звезда хвостатая шла. Муки белой и соли не стало. Виданное дело — по два фунта только дают в грабиловке нашей!

— Вот, вот, — шумно вздыхая поддерживает тетку Дуню молодуха Глаша. — Только ягода пошла — черника, гонобобель, есть бы, да есть преснушки белые. Нет, сиди на овсяной да на аржаной мучице, словно тебе и за зиму не надоело.

Ни одного коммуниста или комсомольца нет в мелких селах вокруг Калязина. Но не любят бабы и мужики их всех оптом: «Веру нарушили и на наш хлебушко жадно глядят».

К каждому начинанию советской власти присматриваются долго, подозрительно — нет ли подвоха какого, — выгодное для себя принимая как само собой понятное и должное явление.

* * *

В понедельник побежали бабы друг к дружке:

— Сельсовет сход собирает. Итти надо с лошажьими паспортами. Переписывать, сказывал, будет.

— Не иначе, как для мобилизации. Войне быть беспременно.

Возле избы председательсовета уселись хозяева лошадей на бревна, смирненько, с белыми и красными бумажками. Тем, у кого красные — больше заботы: лошадь молодая. А белобилетники — это двенадцати-двадцати лет от роду скотина.

— Э, все равно! — говорит дед Фаддей. — Будет война — и наших кляч заберут в обоз.

Председательсовета за столом сидит на колченогом стуле, как на троне. Багровый нос и сизые с красными жилками отекшие щеки в огненной курчавой бороде прячутся. То ли картузом с зеленым кантиком лесника, то ли очками, на кончике носа подпрыгивающими, но похож чем-то он на старого волостного писаря.

Наклонив голову набок, поверх очков смотрит он затуманенными пьяными глазами на собравшихся и снисходительно цедит сквозь зеленые зубы:

— Бумага пришла из уезда — переучет.

И пока записывает он в линованную тетрадку непослушным карандашом возраст, приметы и родословную лошади, течет беседа о том, о сем, а больше о бабке да знахарке.

Болеют крестьяне трудно и долго, а к доктору ехать далеко. Лошадей и времени жалко.

— Ну, и как же он, с молитовкой заговаривает? И спичкой в болючие места тыкает? — хитро поглядывая на всех, спрашивает Иван Петрович, когда-то очень зажиточный мужик, да и теперь живет «нечего бога гневить, не бедно».

В «свое время» он почитывал «Русское слово», сочувствовал кадетской партии, в которой были «не шаромыжники-фабричные да скубенты голоштанные, а уважаемый народ, самостоятельный, господа». Прожил он жизнь без особых затруднений, верил в свою «планиду» и кривил усатый рот в презрительную усмешку, слушая нытье неудачников.

— Народ, это, брат, язва. Подлец он. Так и норовит спихнуть своего ближнего, чтобы место

его занять. Но без этого не открутишься. Жизня… А который ежели несчастный, так дурак: зачем другому место свое отдал… Тютя, ну и пеняй на свою неспособность.

— Что ж, смеялся и я, как прихватило, хоть волком вой. Не то к знахарю, к самому нечистому подашься, лишь бы облегчение дал. А ведь за пятку только треклятая гадюка схватила. Ну и заговорил: вечером повезли меня, а к утру опухоль спала.

И, подняв штанину, Николай показывает еще припухшую ногу и довольно подмигивает Ивану Петровичу.

Но Иван Петрович не унимается, выслушав в сотый раз воспоминания о том, кого и когда выпользовал знахарь.

— А вот сказал же он Алексей Федоровичу, что болезнь его неизлечимая. Значит, и для господа есть невозможное?

Бабка Маремьяна сердито плюет себе под ноги и растирает плевок босой ногой так яростно, словно это и не плевок, а Иван Петрович с богохульными речами.

Разговор, позадержавшись немного, переходит на другую, не менее острую тему. Дождь. Не дает вздохнуть.

И рожь дозревает и сено еще не свезенное лежит — гниет без ведра.

— А все потому что радио поставили. Оно на себя все тучи завлекает, — ворчит Петровна.

— Ну, вот и на, — смеется Мишка-пастух. А погоду кто, как не радио, предсказывает? Надо с ним в работе сообразоваться.

— Предсказывает?! Вот с его-то предсказыванием и сковырнулись на селе. Ведро, ведро будет, а вишь льет как?

— Да, лучше Брюса никому не пророчить. Бывало, скажет, как в глаз влепит, разве что на день какой-нибудь ошибется, — солидно замечает Иван Петрович и обводит насмешливо-пренебрежительным взглядом сокрушенно вздыхающую аудиторию.

Радиоприемник установили по весне сыновья тети Дуни, московские комсомольцы. За десять-пятнадцать верст приезжали крестьяне посмотреть эту диковину.

— Граммофон это, не иначе — граммофон, — говорили одни.

— Да как же граммофон может с людьми разговаривать, как живой? Слышишь, фабричных выкликает. «Спасибо, товарищи» говорит, — возражали другие.

— Батюшки, да он мое поминаньице вычитывает: и Дарью, и Анну, и Петра! — воскликнула умиленно баба Маремьяна, только то и разобравшая из всей информации Роста.

Но сошлись все на одном: про погоду радио врет, по его причине дождь идет, а вообще — в крестьянстве оно ни к чему. Баловство одно и деньгам перевод. «Пускай в городе с жиру бесятся, а нам хотя б как-нибудь от урожая до урожая дотянуть».

Москва — это новый свет, Америка, Эльдорадо былых времен. В нее, как из нищенских гетто, стремятся из деревни не только затянутые петлей разорения, но и наиболее увертливые, предприимчивые, желающие во что бы то ни стало «выбиться в люди».

И до революции было здесь много таких «смельчаков», которые с проклятием отрывались от неродящей земли, шли в города в лакеи, кучера и т. д. Они знакомились там с душистым мылом, галстуками, с отдельной посудой, презирали деревенских сородичей и научали этому презрению своих восприимчивых жен. Каждая губерния поставляет городу людей определенных профессий. Калязинский уезд, как и Ярославская губерния, давали почти исключительно работников столо-

вых, ресторанов, булочных.

У Анны Федоровны в красном углу под иконами и портретом царицы Александры Федоровны — тринадцать портретов умершего мужа, официанта большого московского ресторана.

Покойник любил сниматься на зависть деревне. Они в черкеске — лихим кавказцем, но с мешковатой русской талией, и с сослуживцами, в белом костюме с перекинутой через руку салфеткой, и возле кутящей компании чиновников, как монумент, держит поднос с бокалами и ведерко с шампанским. А в простом деревенском буфете хранятся такие же бокалы — широкие и узкие, низкие и высокие, бакарра и тончайшие стеклянные. В сундуке пересыпанный нафталином лежит и славный белый мундир дорогого покойничка.

Трудно живется вдове с дочкой-малолеткой, не по силам справляться с землей, но выйти замуж Анна Федоровна не хочет. «Да разве после такого мужа, как мой Миша — белый, чистый, обходительный, умывался пахучим мылом, одевался, как картинка, да разве после такого стану я смотреть на этих деревенских мурлов?! — говорит она и любовно вытирает фартуком пыль с карточек, в который раз глядя на „своего упокойничка“».

* * *

Но как ни обманывают себя девушки, именуясь «барышнями», как ни шьют себе модные платья, называя парней «кавалерами» и «господами», летом растрескавшиеся руки и загорелые лица говорят им, напоминают каждым сжатым снопом ржи, каждой охапкой скошенного сена, что они не «барышни», а крестьянки. И густо намазывая руки и лица разными кремами, помадами, спусками, эти девушки проклинают землю, крестьянство, день своего рождения и «мечтают» о городской жизни и белых руках.

У Насти превосходный голос, сильное бархатное контральто. Она первая певица и плясунья на беседах. За ней ходят только лучшие парни. Но Настя, краснея от злобной ненависти к своей участи, в долгие зимние вечера думает о том, как приедет в деревню какой-нибудь «богатый», возьмет ее с собой в город и сделает из нее певицу, оденет в шелка и золото. А что такие случаи возможны, Настя знает из растрепанных книжек «Приложения» к «Ниве» и «Родине» за 1895–1899 годы.

Поля этих книжек исписаны каракулями «мечтающих» Настей и «Надин».

«Ах, Надя! Как скучна сичас мысли бижать от мине. Ах эта война много разбила сердцев, много разбила жизней, много виселя она унесла. И вспомни Надина ту весну эта весна была загадочна а имена для тебя. Неужели это тибе не затронить раздели сичас менуты скучнаго время са мной.

Надя а твое сердце я замичаю оно и всегда кагонибудь любить но я вспротив этого я для всех холодна помоему мнению любить один раз…

Как грустно туманно кругом и не куда больше спешить больше некого любить».

«Лиза, мине снилась, что я в Париже богатая графиня. И все миня любят разные прынцы, а не такие сморчьки как наши кавалеры».

* * *

Эти «Надины» и «Полины» тоже устремляются в города, устраиваются в няньки, проходят в союз. Деревня пополняет ряды проституток, деревня дает новых иждивенцев биржам труда.

Многие девушки из бойких тем и промышляют, что получают пособие на бирже до тех пор, пока это возможно, затем идут в няньки, ссорятся с хозяйкой, иногда тащат ее в трудсессию и вновь возвращаются на биржу, получая право

на пособие.

Некоторые попадают на фабрики. Но предел всех вожделений — стать трикотажницей-чулочницей, купить машину и работать: «Сама себе барыня».

Город со своими огнями, гулом и дымной цыганщиной пивных, ласковыми и дешевыми женщинами, с опьяняющей героикой кино выманивает и «ищущих счастья» молодых парней. «Чистая» жизнь, маячащий в мечтах «собственный» ларек или даже лавка заставляют надевать новые лапти, брать ковригу свежеиспеченного хлеба и пускаться в широкий свет. Сын соседа Ивана, шалый Петька, первый в деревне дерзило и ухажер, пролежав жнитво в лесу под соснами, после Покрова тронулся в Москву, к троюродному дядьке-лотошнику.

Долго не писал родителям, молчал о том, как бегал от красной шапочки — милиционера, рассыпая яблоки и груши из большой корзины. А на Христов день, к Пасхе, приехал к старикам в новой тройке, пестром галстуке и желтых Джимми. Привез отцу десяток папирос и бутылку горькой, матери — яркого ситцу и городскую девушку — стриженую, худую, с большим животом. Отец взял подарки, насупил клочковатые седые брови

и сипло спросил:

— А это кто же будет? Невесточка? Без венца? И уже в положении?

Мать поморщилась, всхлипнула, выбежала в сарай к дремавшей корове и, уткнувшись в равнодушный ее бок, громко запричитала.

Петька подмигнул растерявшейся девушке, вывел отяжелевшего отца во двор и, хлопая его по плечу, объявил:

— Так и мамке скажи: на время жена. Живу, пока на свои ноги не встану. Она фабричная, влюбилась в меня, бегала в фабком, устроила на работу. Теперь еще в союз пройти и до свидания. Я вам такую невестку найду, что пальчики оближете: и похристиански повенчаемся и приданое в дом принесет. Так все наши в городе делают. Без баб ничего не устроить.

Вечером старухи сидели на завалинке и вздыхая говорили о непутевых фабричных девках.

— Без венца, родимые, зашла в положение и еще, бесстыжая, к отцу-матери полюбовника приехала. Персона. Жена… Если бы не союз моему Петьке нужен был, так я бы ее, патаскуху, на порог не пустила, оглоблей огрела б.

* * *

Ближе к Калязину все вязче и болотистей земля, все ниже и худосочнее хлеба. В беспорядочно сгрудившихся округ деревушках тише жизнь. Как унылые призраки холерных и тифозных годов, стоят покинутые избы, с неуклюже приколоченными к дверям и окнам трухлявыми досками. Земля не оправдала надежд и затрат. Женщины и мужчины покинули насиженные места, прижившихся тараканов и голодных собак. Город, «хозяева» — приняли оторвавшихся от земли неудачников.

— Неспособная наша земля. Только для налога соберешь зерна, а на пропитание на целехонькую зиму — хорошо, коли десяток пудов останется, — говорят мужики на базаре в Калязине, стоя возле понурых коров. — Вот продам, деньги — за налог, все лучше, чем хлеб сбывать. А иначе не образуешь. Только, истину говорю, лучше в город подаваться, если малых детей в семействе нет. Неспособно на земле сидеть, только и знай, что на Иван Иваныча работай, не ты, так баба, али дочка.

* * *

«Иван Иванычи» — мужики-богатеи. У них от «счастливых» времен осталось и скотины больше, и инвентаря, и одежды. А скотины больше — больше навоза, лучше вспашешь. И там, где бедняк тридцать пудов с десятины берет, сильный хозяин пятьдесят снимает. Расплатится с налогом и еще в выигрыше останется, ибо обработка земли стоит ему дешевле. У бедняка никогда денег нет, а зимой тем более. Пойдет какой-нибудь Степан к «Ивану Иванычу».

— Дай, пожалуйста, концы приходят.

«Иван Иваныч» рюмку «первача» поднесет, в положение войдет.

— Милай, да с нашим удовольствием. Вот тебе «красненькая», живи с богом. Только уж и ты мне любезность сделай, понадобится там вспахать, помоги, аль на жнитво баб пришли.

Степан пьет, от бога здоровья «милостивцу» просит. А в пахоту и жнитво, когда поденная плата подчас до трех рублей доходит, он клянет на чем свет стоит «благодетеля» и отрабатывает «красненькую» со всем семейством в самые горячие дни. Земля его мокнет, хлеб осыпается, а ссориться с «Иван Иванычем» нельзя: зимой

опять пригодится.

* * *

В вагоне поезда шмелиный гул, крепкий, тошнотворный запах махорки, распаренных тел и непереваренной пищи. Люди лежат, стоят, наступают на ноги, не протиснуться ни вперед, ни назад. Жесткий бесплацкартный вагон, «со всеми вытекающими отсюда последствиями». В крайнем купэ, на нижней скамье, наискось, через всю скамью полулежит деревенский франт. Без пиджака, в ярких подтяжках поверх «кинареечной» рубахи «фантазия», в зеленом с цветочками галстуке, коротких серых брюках и сиреневых носках в клетку.

На другой скамье, свисая с досок тяжелым, упитанным телом, маркизетом платья и бесчисленным шитьем нижних юбок, спит, похрапывая, его жена.

— Гражданка, дайте место пассажирам, гражданин, подвиньтесь, — торопясь говорит проводник и подталкивает «беспризорных» путешественников.

— Как подвиньтесь? — вдруг просыпается франт и грозно таращит маленькие бегающие глазки цвета российской скуки. — Да за что кровь

проливали? Чтоб тебе и места в поезде не было?

Оглушенные пассажиры нерешительно поглядывали на дверь, на франта, не зная, как быть.

— Деньги за билет я платил? — бил себя в грудь франт. — Так как же это мне места нет?

Он кричал до хрипоты, а пассажиры стояли, слушали, сочувствовали «проливавшему кровь» и ругали железную дорогу.

На ближайшей станции франт вышел, а с самой верхней полки кто-то невидимый от дыма сказал:

— Ну и ну! Кровь проливал! Чью только, спрашивается? Он из нашей деревни, в Кимрах артель имеет. Так жмет, что только кряхтят. А он — кровь проливал, сякой-такой! Управы на сволочей нет!

Борис Губер
Бабы придумали

(Деревенские очерки)

1. ЛОСКУТНЫЙ ШТАНДАРТ

Бабушка, мать нашей акушерки Анны Михайловны, полная высокая старуха, выходящая гулять со сковородником вместо посошка, так и говорит:

— Ну и времена подошли! До чего много жениться и рожать стали, просто невозможно.

Действительно, свадеб в нынешний мясоед не оберешься.

Небо чистое, как вода. Половина улицы вызолочена солнцем, гремит каплями, а другая половина, голубая, морозная, в тени. Визжат полозья, конь дымится паром. Подъезжают к Вику — одна упряжка, другая, третья и вот уже несколько санок стоят в ряд. Санки новые, лакированные, расписные; по высокому задку санок узорным треугольником свисает угол *одеяла*.

В наших местах много сохранилось всяческих старинных обрядов, обычаев, и *одеяло* — чуть ли

не самый нерушимый из них. Молодые, сбирая свадьбу, прежде всего запасают этот квадратный кусок холста, величиной с небольшую скатерку, на котором густо нашиты или затканы длинные разноцветные лоскутья шелка, сатина, ситца. С ним выезжают кататься на масленицу и в заговенье, с ним едут в гости или на отводины. Его расстилают по сидению санок, кладут на первую ночь в постель новобрачным, им же вместо попоны покрывают вспотевшую лошадь…

Как некий лоскутный штандарт, одеяло повсюду сопутствует молодым, отличая их в первые месяцы совместной жизни от остальных, обыкновенных людей — от тех сопливых, что еще не успели пожениться, и от иных, женившихся так давно, что собственными их, некогда прекрасными одеялами теперь таскают из печки сальные, закоптелые чугуны.

2. КОРОТКИЙ ПОСТЕЛЬНИК

Свадебные обряды сложны, запутаны, и водятся еще такие крепкие, обидчивые семьи, что до самой смерти не простят, если сделать что-нибудь не так или упустить какую-нибудь самую малую пустяковину.

Впрочем, все это уже отмирает. Как тут оби-

жаться, если молодые частенько и в церковь-то заехать… забудут? И попрежнему рьяно относятся только к приданому да к свадебному гулянью.

Кто не знает свадьбишных этих деревенских пиров!.. В избе душно и жарко. Зеленый махорочный дым слоями колышется под низким потолком. Потные зрители толпой напирают к столу, а за столом, тоже потные, сидят молодые и гости. Самогон, хлебная, горы пирогов и вареного мяса сплошь покрывают стол. «Горько, го-орько, го-о-орько!» — хриплыми голосами ревут бородатые сватья, дядья и братья. Молодые встают. Он, точно перед фотографом, деревянно, вымученно улыбается и целует жену, размазывающую по лицу отсыревшие румяна… И уж обязательно найдутся ветхие, сухие старушонки, из тех, что обмывают покойников, — они захмелеют после первой же рюмки и пустятся в пляс, помахивая платочками и такие отсыпая прибаутки, что, выпучив глаза, столбенеют самые лютые матершинники…

Приданое привозят накануне гулянья. На нескольких санях (чтобы добра казалось больше) навалены сундуки, кровать, постельник и подушки в пестрых наволочках. Сердитые старухи сидят на всем этом богатстве — не отдают приданого,

пока не выкупят его, пока не поднесут им вина. Бородатый свекор с непокрытой причесанной головой и сам молодой, в рубахе какого-нибудь канареечного цвета, выносят им крынку пива и по стакану самогонки… Старухи пьют, кряхтя взбираются по ступенькам крыльца, подбирая платья и показывая белые нижние юбки, а свекор, захватив в объятия сундук или подушку, торжественно едет следом за ними в избу.

Вокруг саней, глядя на всю эту картину, собираются бабы, девки, судят-пересуживают:

— Кровать какая, ржавелая вся…

— Подушки легкие…

— Постельник короткий…

— Разве на таком уместишься?

Я как-то сунулся к ним:

— И сундуков, тетки, — говорю, — мало, всего три. Много ли в них платьев взойдет?

А злая старуха в лисьей шубе, что сидела на самом большом сундуке, обернулась, красная стала вся, и говорит:

— Ты, может, думаешь — здесь ситцевые только? Небойсь, и тканевые есть.

3. ОТВОДИНЫ

На свадьбах обычно бывают все родственники, да приятели, да подружки — множество народа. Корову последнюю продадут, но уж справят гулянье на славу!.. Одной самогонки ведер по пять выгоняют.

Однако не так-то уж весело бывать гостем: каждому, или почти каждому, предстоит горькая расплата — отводины.

Отводинами называют у нас вечеринку, тоже с водкой, плясом и, бывает, мордобоем, на которую участник свадьбишных пиров зовет молодых и всех остальных участников. За это он сам становится гостем на остальных отводинах.

— Ну и погуляли! — жаловался мне дядя Миша, наш квартирохозяин, на другой день после свадьбы. — Ну и погуляли, — говорил он, насилу ворочая мутными похмельными глазами, — завтра все ко мне привалят, человек двадцать… Нет ли червонца взаймы? Ей-богу отдам.

4. ПУТИ НОВОГО БЫТА

В самые последние годы, уже после революции и гражданской войны, в наших местах возродил-

ся пра-пра-прадедовский, давно было позабытый обычай — умыкать, похищать невесту.

Бывает всяко.

Случается, конечно, что невесту действительно *увозят* силой, против ее воли, и родители, братья, соседи наскоро организуют погоню, с дикой, слепой скачкой по ночным сугробам, с револьверной стрельбой и женским визгом. Но чаще всего бывает иначе: девушка не только загодя знает, что ее хотят увезти, но и сама этому помогает — запасает, собирает нужные вещи и прячет их где-нибудь у подруги… Когда же на беседу вваливается ватага парней, о предстоящей забаве знают уже чуть ли не все, и девки, склоняясь над пряжей, лукаво переглядываются. Гремит и охает гармонь, парни и девушки поочередно пляшут «волчка» — барыню, на свободном местечке, таком маленьком, что выходит действительно похоже на волчок или на юлу… Потом вдруг переполох. Кто-то тушит лампу, подружки визжат деланно-испуганными голосами, а парни волокут хохочущую невесту на улицу, сажают ее в сани — и только вешки побегут навстречу, да ветер обожжет лицо морозом…

Иногда похищение превращается и вовсе в анекдот. Например, щуплый, низкорослый паре-

нек, прячет от всех свою грыжу, ему и семнадцать лет не дашь, а увозит он девку лет тридцати, здоровенную, толстую бабищу с рябым лицом, похожим на коровье вымя… Да она его пальцем пришибет! Луна и то — поглядит на них, поглядит, как без толку дергает возжами паренек, как лениво трусит пузатая лошаденка, и станет ей совестно, спрячется за тучу, словно ее и не было…

Есть один случай и того хуже: согласилась девка ехать, сама навалила в передок саней здоровенный узел всякого барахла, а как отъехала от села — раздумала или поломаться захотела:

— Куда ты, — скулит, — меня везешь от родной матушки-и-и…

Обидно стало парню. Послушал, послушал он ее и плюнул:

— Ну тебя к фигу! Не хочешь, не нужно. Вылазь!

Отправился дальше один… А каково было незадачливой беглянке тащиться назад, версты три, пешком, с тяжелым узлом за плечами?..

С умыканием невест борются через стенгазеты, через комсомол, иногда не без помощи милиции, но нужно прямо сказать — до сих пор неудачно. Да и стоит ли бороться? Ибо не хулиганство и даже не желание «романтизировать» свою, скуч-

ную яко бы, жизнь — причина. Причина в другом: путем похищения, увоза девушки молодежь обходит другой путь, конечно, более любезный родителям, но и не в пример более унизительный — путь сватовства и торга, когда из-за лишнего полотенца или меры ржи может разладиться все дело. А тут — проспят молодые ночь, что с них возьмешь?

В борьбе с действительно тягостными, унизительными формами старины молодежь использовала старину еще более глубокую и в ней преломилось новое. Поистине — пути нового быта неисповедимы.

5. ДВА МУЖА

Старые семейные отношения с каждым годом уступают в деревне все больше и больше места отношениям иным, новым.

Однако сплошь да рядом новое принимает те нездоровые, уродливые формы, от каких немало страдает и город. Особенно множатся сейчас разводы по малейшему поводу, а то и вовсе без повода. Не редкость встретить ухаря, женатого уже в третий, четвертый раз за год.

Недавно, например, произошел в нашей волости вот какой случай: девушка из зажиточной

семьи вышла замуж, с богатым приданым перебралась в дом свекора, а через день пропала. Скандал!.. Теща плачет, свекор ругается, муж туда, сюда — нет жены. Заезжает бедняга случайно в вик, и там рассказывают ему, что сбежавшая жена подсылала тетку какую-то узнавать, не могут ли мол «росписать» ее с другим без всякого развода?

Через неделю удивительную можно было увидеть картину: пунцовая, счастливая жена разводилась с вчерашним мужем, а сзади, в затылок, стоял второй муж и терпеливо дожидался своей очереди.

6. С ТОЧИЛОМ ЗА АЛИМЕНТАМИ

Этот рассказ я услышал в вагоне от своего спутника, высоченного и, должно быть, необычайно сильного человека, красавца, с огромным лбом, детскими губами и глазами чудесного синего цвета. Он, вместе с добрым десятком товарищей, ввалился в вагон и, словно игрушку, без всякого труда, нес в руках разобранный точильный станок.

Тогда я еще не знал, что в соседнем уезде Череповецкой губернии, мимо которого шел поезд, целые деревни промышляют точильным ре-

меслом, и не без удивления глядел на такое большое количество точильщиков, собранных вместе.

— Куда это, вы товарищ, едете? — спросил я синеглазого великана, севшего напротив.

Тот ответил не сразу, насупился и исподлобья посмотрел на меня.

— На заработки едем, — сказал он наконец.

И тут его точно прорвало, он закатил такое искусное и сложное ругательство, что трудно было понять, как это он сумел его придумать.

— Эх мать-перемать, — говорил он, уже не в силах остановиться, — ну где это видано?.. Девка-то ведь какая хорошая попалась, Танюшкой звать, сына родила мне, два года вместе жили, а вот — поди…

— А что я тебе говорил? — послышалось сверху, и с третьей полки, на которой полагалось бы лежать багажу, свесилась белобрысая голова, похожая на яйцо, обросшее волосами. — Ой, говорю, Илюха, смотри-и…

— Ты, ты… ты, брат, помалкивай, — заикнулся от внезапной ярости Илюха, — каркай больше, ворона проклятая! — Он повернулся ко мне, в потемневших глазах его медленно остывала обида. — Вот, понимаешь, до чего хорошо все

шло, — продолжал он, — я рад и она рада. И поди ты: приходит письмо от сестры от ее — зовет Таньку в город, на красноармейские фабрики работать, шинели шить. Ей и ехать охота, и ребенка бросить нельзя... А тут, понимаешь, матка танькина и давай ее научать, чтобы ехала она, Никитку ей оставила, а с меня — алименты. Ах, мать-перемать!.. Плакала Танька моя, ей-богу, плакала, а поехала все-таки... Дали мы друг дружке разводную и назначили мне шесть рублей платить в месяц. Шесть!.. Да разве хозяйство крестьянское выдержит столько? Отец так прямо и сказал — вали, говорит, откуда хочешь доставай, я теще твоей не работник. Ну и приходится ехать, на алимент зарабатывать...

— А я тебе что говорю? Не плати! — снова послышалось сверху.

Я ждал, что Илюха снова грянет отборнейшей бранью. Но он, понуро опустив свою красивую голову, уставился потемневшими детскими глазами своими на худые головки сапог и ответил чуть слышно:

— Не плати... Никитку-то жалко небось.

7. ДУДОЧКА

Аборты, еще недавно почти не встречавшиеся в деревнях, сейчас врастают в быт, становятся простым, заурядным явлением. Вопрос об этом даже специально дебатировался на нашем волостном съезде советов, причем в учащении абортов обвиняли врача. Между тем аборт в больничной обстановке — несказанное счастье по сравнению с теми ужасными операциями, что проделывают бабки или просто досужие приятельницы. Скольких женщин привозят ежемесячно в больницу уже с заражениями, с кровотечениями, изуродованных на всю жизнь. А на какие только, самые дикие и нелепые, ухищрения не пускаются они, чтобы оборвать беременность!..

Вот рассказ нашей акушерки, почти дословный.

«Приходит ко мне женщина одна, молоденькая, жена хуторянина.

— Здравствуй, — говорит, — Анна Михайловна. Поди-ка сюда на минутку.

Было это утром, перед приемом, я дрова колола.

— Зачем? — спрашиваю.

— Нужно.

— Зачем?

Не говорит.

— Ну, коли так, ступай в амбулаторию, доктору скажешь.

— Не могу я к доктору итти, — отвечает она, — дудочка у меня.

Я подумала, что ей клизму поставили, и повторяю еще раз:

— Ступай, ступай, в больнице все скажешь.

Ушла она. Минут через двадцать иду и я… И что же? Она уже на столе в операционной лежит, а кровь из нее так и хлещет… Оказывается, ее портниха какая-то ленинградская научила ввести в матку резиновую кишку, чтобы кровотечение вызвать. Чуть было кровью не изошла, у ней все белье, вся юбка насквозь промокли от крови».

8. ЧЕГО КОБЫЛА ПРОСИТ?

Молодые, совсем недавно поженившиеся, едут в заговенье кататься.

Она — сирота, робкая и покорная, с нежным, бледным лицом и испуганными глазами; ее выдали без приданого, почти насильно. Он — гладко обритый с шершавым, малиновым, обветренным лицом, под хмельком, посолдатски пропахший махоркой и ваксой. С ними едет свекровь, добрая

старушка в салопе, сшитом еще при царе Александре III.

По дороге, среди поля, норовистая рыженькая кобыленка начинает дурить — делает вид, что испугалась и, упираясь, садясь на задние ноги, отказывается двигаться вперед.

Муж сначала долго, сосредоточенно стегает лошадь кнутом, а когда это не помогает — переводит свои пьяные белесые глаза на жену:

— Машка! — кричит он, — чего кобыла просит?

Жена испуганно молчит. Свекровь тихо, умоляюще шепчет ей:

— Машенька, он всегда эдак… Машенька, доченька, ступай, поклонись кобыле в ноги.

И Машенька молча вылезает из саней. Она, неумело протаскивая по целику ноги в новеньких полусапожках, обходит упряжку, снова выбирается на дорогу и опускается на колени… В покорных глазах ее безнадежные слезы.

9. СЕМЬ РУБЛЕЙ

Это было в читальне. Два парня (оба женились нынешней зимой) заспорили, у кого послушней жена. Один говорит:

— У меня!

— Нет у меня, — отвечает второй.

— Моя послушней.

— Нет моя!

— Я, — говорит первый, — со своей женой при всех чего хошь сделаю.

— И я, — отвечает второй, — тоже.

Слово за слово — поспорили на семь рублей, отдали деньги кому-то из присутствовавших и послали мальченку за женами. Жены послушались, пришли. Библиотекарь протестует, шумит, а всем остальным просто любопытно, что же из всего этого выйдет?

— Ложись, раздевайся, — говорит первый.

— Что?

— Ложись.

Жена сначала не поняла, а потом, как сообразила, только ахнула, багровая, едва сдерживая слезы, побежала прочь.

— Что, брат, попался? — хохочут все над неудачником.

А второй, как ни в чем не бывало, подзывает свою жену.

— Ложись, — говорит, — ты. Я, — говорит, — на семь рублей заспорил, что ты послушней. Все равно пропадать.

Жена подумала, подумала и стало ей жалко

денег. Семь рублей ведь!.. Послушалась она своего мужа, только зажмурилась покрепче, чтоб не видеть тех, что с любопытством смотрели на нее... А потом взяла заработанные рубли — и пошла себе.

Всю эту компанию, и спорщиков и любопытных, привлекли к суду. Суд будет показательный, с разбором дела на месте преступления, в той же самой читальне.

10. БАБЫ ПРИДУМАЛИ

Как-то уже постом проходил я по площади нашего села.

Таяло, веял слабый, теплый и влажный ветер. Воробьи крикливыми стайками перелетали с места на место по бурой, обнавозившейся дороге, точно усыпанной мокрыми опилками. Жалкий серый снег осел на крышах, коньки их обнажились и просыхая курились струйками пара.

На крыше двухэтажного дома, в котором помещается правление кредитного товарищества, телефонист из почтового агентства устанавливал антенну и второй конец ее протягивал на высокую церковную колокольню.

— Вот, — остановил меня один из наших сельских парней, коротким кивком головы показывая

на антенну, — будет теперь занятие против скуки — концерты слушать… А то пост, девки на беседы не ходят…

— Разве они боятся поста?

— Как же, конечно, боятся. Да и матерья все равно не пустят — кросна ткать нужно.

Он подумал немного и продолжал:

— Ради того и пост. Его бабы придумали, чтобы ткать да чтоб яиц и сметаны к Пасхе накопить.

…Заканчивая свои очерки, я невольно вспоминаю эти слова. Много в деревне ненужного, косного, страшного. И в сущности — *не бабы ли придумали* все эти обряды, обычаи, весь этот дряхлый, замшелый быт?

Однако не в старом быте дело.

Старое отмирает, и антенна прочно укрепляется на колокольне, вместо позеленевшего медного креста, точно так же, как перестает постепенно поститься деревня, быть может, потому, что мяса и яиц в ней стало больше. Внимание советской общественности необходимо сосредоточить на искажениях *нового*, ибо от искажений этих так и несет бабьими выдумками.

КРИТИКА

А. Воронский
Марсель Пруст

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

(Марсель Пруст. В поисках за утраченным временем, т.т. I и II, изд. «Academia». Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету, изд. «Недр», перевод с французского.)

Марсель Пруст — писатель почти неизвестный русскому читателю. И надо думать, что и впредь он едва ли сможет рассчитывать на широкую популярность. Пруста трудно читать; его нужно преодолевать упорно и терпеливо, страницу за страницей; он требует большого напряжения и подготовленности. Произведения Пруста лишены того, что принято называть беллетристикой: в них отсутствует занимательная фабула, почти нет действия, фраза изящна, но тяжеловесна. Пруст постоянно прибегает к длиннейшим периодам, к вводным предложениям, к отступлениям и пояснениям, следить за ним не легко. Он не из тех авторов, которых читают для отдыха в часы

досуга. Однако его нужно знать всякому, кому дорого художественное слово. Марсель Пруст — огромное событие в литературной жизни последней четверти века. По мощности своего таланта он должен быть поставлен наряду с признанными мастерами, и он от начала до конца своеобразен.

Несмотря на всю трудность усвоения произведений Марселя Пруста нельзя освободиться от того очарования, в каком оставляют они внимательного читателя. Как будто впервые становятся доступными обонянию тонкие ароматы, совершенно неуловимые в обычном состоянии, и человеческий глаз начинает различать и видеть то, что лежит за пределами нормального зрения. Марсель Пруст поражает тонкостью и глубиной своего восприятия мира и вместе с тем умением сложное сводить к простому и понятному. Его стиль, как и его отношение к миру, благородны в высшей мере, черта, которая теперь почти не встречается среди писателей последних десятилетий. В его романах нет ничего грубого, рассчитанного на дешевый эффект, ничего фривольного, никакого угождения читателю; в художественном здании, воздвигнутом им, все строго, все проникнуто с высочайшим вкусом

и величайшим чувством изящного и все значительно.

На первый взгляд, правда, может создаться впечатление, что Пруст слишком увлекается деталями: десятки страниц он посвящает какой-нибудь встрече у моря с группой девушек, причем ничего внешне примечательного в этой встрече нет, какой-нибудь прогулке; ему ничего не стоит столь же расточительно описать колокольню Сент-Илер, вечер у моря, вокзал, сад, скалы, лепестки липового настоя. Это утомляет, но это утомление от эстетической насыщенности каждой главы, каждой части романа, и так как писатель не бросает бесцельно пригоршнями свои дары, а тщательно подбирает их согласно своей основной художественной цели, то в результате от прочитанного испытывается целостное, полное и гармоничное чувство. Острота и сила впечатлительности у Пруста необычайны. Он сам говорит о своих нервах, что они «не только не задерживают на пути к сознанию, а напротив легко допускают к нему во всей отчетливости постоянные мучительные, изнурительные жалобы самомалейших элементов нашего „я“». Несомненно такая острота граничит с явной болезненностью и, действительно, находит свое

объяснение в том, что Марсель Пруст страдал жесточайшими припадками нервной астмы, так что последние десять лет своей жизни почти не выходил из комнаты, обитой пробкой. У писателя с меньшей одаренностью такая впечатлительность могла бы легко выродиться в скрупулезную и ненужную мелочность, он не сумел бы овладеть материалом. Пруста спасает эта гениальная одаренность и культурность; благодаря своему чудесному дару он господствует над материалом, побеждает его, писатель не растворяется в нем, а растворяет его в себе; поэтому-то, что у другого явилось бы источником непоправимых недостатков, ошибок и погрешностей, у Пруста становится большим и безусловным художественным достижением. Мир у Пруста не дробится, не расщепляется на разрозненную сумму мельчайших явлений, как, например, у Андрея Белого, — он един в своей первооснове, в своем первоначальном естестве; и если Андрею Белому — писателю тоже с редкой и болезненной впечатлительностью — за частностями, за мелочами, которые он тоже превосходно видит, нужно поместить некий сверхчувственный мир, дабы скрепить эти части, то Марсель Пруст в отличие от него не имеет в том никакой нужды. Он — реа-

лист в искусстве: несравненное художественное чутье прочно держит его на земле, у земных вещей, около человека. Пруст прекрасно чувствует прелесть этого земного, благородно воспринимает и передает его другим. Оттого так упоительна его эпопея, из которой, кстати сказать, пока нам известна только незначительная часть. Пруст еще и еще раз подтверждает, что сила гения часто спасает человека от распада и гибели. Так было с Гоголем, с Достоевским. Другой вопрос — легко ли это далось Прусту и каким именно творческим путем он достигал господства над своим крайне болезненным состоянием. На последнем вопросе следует остановиться с особой тщательностью: разрешение его поможет нам понять сущность художественной личности Марселя Пруста.

Я хотел бы обратить внимание читателя на одно место в романе Пруста «Под сенью девушек в цвету». Рассказывая о своих впечатлениях от картин художника Эльстира, Пруст пишет:

«Мне удалось подметить, что главная прелесть каждой из них состояла как бы в метаморфозе, совершаемой им над всем, что он изображал, — метаморфозе, подобной той, которая в поэзии именуется метафорой, и что если бог-отец, создавая вещи, давал им наименование, то Эльстир

воссоздавал их, лишая их данного им наименования или же переименовывая их. *Имена, которыми мы обозначаем вещи, всегда отвечают известному рассудочному понятию, которое чуждо нашим подлинным живым впечатлениям и которые заставляют нас как бы устранять из них все то, что не входит в это понятие.*

Бывало, что у моего окна в бальбекском отеле, по утрам, когда Франсуаза раздергивала занавески, скрывавшие свет, или по вечерам, когда я поджидал Сен-Лу, чтобы отправиться с ним куда-нибудь, вследствие особой игры освещения я принимал темнеющую часть моря в глубине за отдаленный берег или радостно всматривался в зыбкую голубоватую полоску на горизонте, не зная, относится ли она к морю или к небу. *Вскоре разум мой восстанавливал то разграничение между стихиями, которое уничтожалось в моем непосредственном впечатлении.* Точно так же мне случалось в Париже, в своей комнате, слышать какие-то бурные пререкания, переходившие в негодующие крики, пока наконец я не обращался мысленно к источнику этих восприятий, каковыми являлся, например, грохот приближающегося экипажа, и не устранял сознанием из этого грохота тех пронзительных

разноголосых воплей, которые отчетливо слышались моему уху, но которых, как сознавал мой разум, не могли издавать колеса. Но те редкие моменты, когда мы видим природу такою, какова она есть, поэтически, — они-то и улавливались в творчестве Эльстира. Одна из метафор, всего чаще встречающаяся в его маринах, подле которых он теперь стоял, заключалась именно в том, что, уподобляя землю морю, он стирал всякое разграничение между ними. Это-то уподобление… и придавало ему то богатое оттенками и мощное единство, которое было причиной того восторга, с каким относились к живописи Эльстира некоторые почитатели его».

Это во всех отношениях замечательное место. Оно ценно для характеристики психологии художественного творчества и еще более ценно оно для раскрытия художественного облика французского романиста. Основная художественная манера Марселя Пруста заключается в том, что он подобно Эльстиру стремится в своих произведениях «отрешиться перед лицом реальности от всех понятий своего разума» в пользу непосредственного, наиболее «чистого», ничем не осложненного восприятия этой реальности. Здесь — ключ к художественному методу Пруста,

к его своеобразию. Пруст никогда не изменяет этому своему методу; он верен себе и тогда, когда изображает вещи, и тогда, когда дает портреты людей, и тогда, когда описывает различные внутренние состояния человека. Пруст неизменно пытается как бы очистить первоначальное восприятие, возвратить ему утраченную свежесть, освободить его от позднейших рассудочных наслоений, изменений и поправок. Найти и воспроизвести непосредственное восприятие — в этом главная задача художника. Пусть в этих видениях есть много иллюзорного, неверного, такого, что потом исправляет наша рассудочная деятельность, но подобное, восстановленное во всей своей девственности восприятие как бы приобщает нас к реальному миру во всей его яркости, свежести, силе и красоте. Между миром и человеком словно уничтожаются незримые, но прочные преграды, и мир предстает пред ними в его обнаженном виде. Он воскресает в

своей первозданной обновленной основе[6]. Это непосредственное восприятие целостно, едино, оно соединяет разрозненные части в одну общую картину, оно питает и своеобразие художника и делает мир радостным для нас. Роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» лучше было бы назвать «В поисках непосредственных восприятий». Тут невольно вспоминается то, что в свое время писал Лев Николаевич Толстой о снятии покровов как о главной задаче для художника.

Вполне понятно, почему Марсель Пруст с такой готовностью отдается припоминанию прошлого; в его романе этому припоминанию уделяется чрезвычайно много места.

В анализе припоминания, пожалуй, Пруст не знает себе равных. В прошлом хранятся наиболее непосредственные картины мира, особенно в нашем детстве и в юности. Восстанавливая в

---

[6] Примечания: 6

О действии музыки Вентейля на Свана Пруст пишет: «Великим покоем таинственным обновлением было для Свана… чувствовать себя превращенным в существо, непохожее на человека, слепое, лишенное логических способностей, в какого-то мифологического единорога, химеру, воспринимающего мир одними только ушами. И так как в фразе Вентейля он все же искал какого-то смысла, в который рассудок его неспособен был проникнуть, то какое же странное опьянение должен был он испытывать, обнажая самую сердцевину души своей от рассудочного аппарата и процеживая ее сквозь темный фильтр звуков».

своей памяти это прошлое, мы возвращаем себе в позднейшем возрасте редкие и восхитительные дары жизни — самые могучие, самые яркие впечатления. И надо удивляться тому упорству, мастерству, с каким Марсель Пруст извлекает из темной кладовой прошлого то, что, казалось бы, давным-давно и безвозвратно там погребено для нас. По этой причине писатель ценит такие моменты, как пробуждение ото сна, первые встречи и знакомства с людьми, когда контролирующая сила рассудка не успевает еще наложить своего отпечатка на непосредственные восприятия.

Это умение воспроизводить первоначальные впечатления и спасает болезненную натуру художника. Пруст неоднократно признается, что его *терзали* шкафы с книгами, зеркало, потолок, слишком резкий свет — они являлись как бы принадлежностью, продолжением, частью органов художника. Пытаясь избавиться от этих беспокойных, утомительных, острых впечатлений, Пруст стремится воссоздать наивно-реалистическое представление о мире; это и есть, по его мнению, *поэтическое* отношение к окружающей нас действительности. И это ему удается. Сквозь сложный, болезненно утонченный, противоречивый и хаотический внутренний мир художника

просвечивает другой — целостный, единый, простой, сочный мир вещей и людей.

«Я всегда, — пишет Пруст, — старался, глядя на море, устранить из поля моего зрения не только купающихся на переднем плане людей, но и яхты с их яркобелыми парусами, похожие издали на белые курортные костюмы, и вообще все, мешавшее мне верить, что передо мною — те самые вековечные волны, которые катились здесь друг за другом, полные таинственной жизни, еще до появления человеческого рода».

Пруст как художник устраняет из поля своего зрения все, что заслоняет мир в его непосредственном, стихийном виде. Поэтому сложность, утонченность, крайняя впечатлительность Пруста не путает читателя, не отрывает от реальности, наоборот, читатель все время чувствует под собою твердую, прочную почву, и магия прустовской мечты не уносит его «в царство безгрешных духов». В итоге его произведения реалистичны и жизнерадостны. Пруст любит материю, плоть мира.

Как известно, наше послеоктябрьское советское искусство тоже носит наивно-реалистический характер. Оно тоже преклоняется прежде всего пред миром вещей, но это преклонение у нас

часто бывает грубовато, в нем есть своеобразная сила и свежесть, но ему нехватает культурности. В этом смысле нашему молодому искусству есть чему поучиться и позаимствовать у Пруста: и прежде всего позаимствовать нам следует у него чувство меры и уменье показать природу, человека, вещь с облагороженной стороны. То, что изображает Марсель Пруст, лишено буйства плоти, слишком щедрой роскоши, непомерного здоровья, раздражающей пестроты при всей его любви к детали; все выглядит отчетливо, но смягченно, есть напряженность, но мягкая, естественность лишена вульгарности, очертания тверды и ясны, но тонки и безупречны в своей законченной строгости.

Марсель Пруст — глубокий психолог. Недаром его сравнивают с Достоевским. Пруст сам говорит о радости извлекать из себя и выводить на свет что-то скрытое в сумраке души, свойственной ему. Произведения Пруста едва ли можно назвать романами, скорее — это психологические мемуары, но с планом, внимательно обдуманным и последовательно проведенным. Аналитический дар писателя изумителен. Ему удается вскрывать самые сложные, запутанные, еле уловимые движения человеческого духа. Психология при-

поминания, одиноких ожиданий ребенка ночью матери, анализ ревности, влюбленности, многообразия «я», вдохновения, привязанности, дружбы и т. д., отличаются у Пруста истинным проникновением и наглядной убедительностью. В частности в вещах Пруста читатель найдет драгоценный материал, относящийся к психологии творческого художественного процесса. Психологизм Пруста во многом напоминает психологизм Достоевского. «Человеческое существо, — утверждает Пруст, — никогда не бывает похоже на прямую дорогу, но изумляет нас своими неожиданными и в то же время неизбежными для него изворотами, которых другие не замечают и по которым нам трудно бывает пробиваться». В этом утверждении — исходный пункт психологизма Марселя Пруста. Также, как и Достоевский, он полагает, что душевные состояния человека и его поведение неожиданны, противоречивы, причудливы, сложны; в них много таинственного, скрытого и бессознательного. Человеческие характеры — глухие проселочные дороги, непроходимая чаща, сплошь и рядом сумрачная и темная. В человеческом существе заключена не одна, а много личностей, и они ведут между собой неустанную борьбу. Возраст, новая обстановка,

новая социальная среда в корне разрушают наше прежнее бренное «я», и оно сформировывается совсем поновому. Нет ничего окончательного, застывшего, человеческая психика зыбка, подвергнута всяким превратностям. Но в отличие от Достоевского Пруст не терзает читателя. Сквозь сложнейшую психологическую ткань и здесь у него просвечивает нечто относительно устойчивое. Извилистые тропы в конце концов приводят у Пруста всегда к широкой, торной дороге. В его психологизме нет ничего преувеличенного, ничего противоестественного. Восстанавливая хотя и с огромным трудом мир первоначальных ощущений и впечатлений, писатель как бы преодолевает психологические надрывы, дисгармоничность, растерзанность и разрозненность душевных человеческих состояний. Смысл и основная цель психоанализа Пруста находится в неразрывном соответствии с этим его стремлением. Психологизм его произведений обусловлен его основным художественным методом.

С равным мастерством Марсель Пруст изображает и человеческие типы, характеры и социальную среду, которая его окружала. Блестяще очерчена Прустом тетя Леония, Франсуаза, Евлалия, Сван, кружок Вердюренов, Одетта, ма-

дам де-Вильпаризи, Блох-отец, Блох-сын, Сен-Лу, Альбертина, мосье де-Шарлю. Творчество Пруста и в этой области вполне самостоятельно и своеобразно. Он не повторяет никого из прежних мастеров. Созданные им типы и образы людей вполне индивидуальны, новы и зарисованы Прустом тщательно, выпукло и тонко. Это тем более удивительно, что изображаемые писателем люди взяты в самом обыкновенном, сером быту. Пруст не ставит их в необычайные, острые, исключительные положения. Он — не экспериментатор, а наблюдатель. Его герои ничего не совершают, они прогуливаются, беседуют, отдыхают на курорте, находятся в обычном домашнем, семейном кругу, очень тесном и замкнутом. Пруст создает свои типы, пользуясь житейскими бытовыми мелочами. Он с явной неприязнью и с тонкой насмешкой относится к буржуазному укладу и к буржуазной интеллигенции. Достаточно напомнить, с какой иронией изображен кружок Вердюренов, семья Блоха или буржуа на курорте. Пруста отталкивает от них плоскость и пошлость вкусов и суждений, тупая ограниченность, самодовольство и самоуверенность, грубость и чванливость, отсутствие настоящей культурности наряду с нагловатой претенциозностью, бестактность

и бесцеремонность, безвкусица, неистребимая склонность к сплетням и ехидству, зависть и заскорузлое себялюбие. Все эти черты и свойства добрых, уравновешенных французских буржуа последних десятилетий Пруст показывает, нимало их не скрывая и не подкрашивая. С этой точки зрения его произведения — превосходный документ эпохи, и нет преувеличения в том, что его имя ставят рядом с Бальзаком, Толстым и Золя.

Характеристики и портреты французской буржуазной интеллигенции у Пруста беспощадны, отнюдь не двусмысленны и правдивы. Но отношение писателя к его героям изменяется, как только он начинает касаться другой социальной среды. Вот, например, каким образом Пруст пишет о своей тете:

«Тетя искренно любила нас, и ей доставило бы удовольствие оплакивать нашу гибель; перспектива получения в моменты, когда она чувствовала себя хорошо и не была в поту, известия о вспыхнувшем вдруг в нашем доме пожаре, во время которого все мы погибли и который уничтожит дом дотла, но так, что сама она успеет спастись, не торопясь, если немедленно поднимется с постели, — эта перспектива, должно быть, не раз посещала ее воображение, ибо заключа-

ла в себе, наряду с второстепенными выгодами — возможностью досыта насладиться втечение долгих лет скорби нежными чувствами, питаемыми ею к нам, и вызвать удивление всего города своим удрученным и изнеможенным, но мужественным и стойким видом на наших похоронах, — выгоду гораздо более драгоценную: она заставила бы тетю в надлежащий момент… отправиться на лето в свою очаровательную ферму Миругрэн…»

Это звучит довольно убедительно и не оставляет никаких сомнений: тетя художника — старуха, выжившая из ума, существо эгоистичное, сварливое и отвратительное. Пруст не скрывает этих ее качеств, но относится к ним в высшей степени мягко, с добродушной и снисходительной иронией; тут перо его лишено твердости и мужественности. Почему это случилось с Прустом? Потому, что Пруст относит старуху к другой социальной среде. Пруст очень хорошо видит пороки, недостатки и «добродетели» «добрых» буржуа своего времени, но *он смотрит на них глазами французского аристократа*. Кружку Вердюренов, семье Блоха, Одетте, нотариусам, председателям суда и детям промышленников он противопоставляет общество французской родовитой

аристократии — маркизу де-Вильпаризи, Сен-Лу, де-Шарлю, Свана, жителей Сен-Жерменского предместья. Этот узкий круг людей писателю понятен, близок и дорог. Поэтому он изображает его с наиболее благоприятной и положительной стороны. Жизнь и быт этих людей для Пруста пропитаны тонким ароматом старины и, хотя он знает, что этот аромат искусственный, но для него эти люди лучшее, что есть в мире. Это люди хорошего тона, манер, изысканных вкусов. В них нет пошлости и грубости Вердюренов. Мадам де-Вильпаризи подтрунивает даже над Бальзаком, Виктором Гюго, Шатобрианом за отсутствие скромности; их произведения кажутся ей лишенными, как сообщает Пруст, «того сдержанного искусства, довольствующегося одним метким штрихом и пуще всего избегающего безвкусицы витийственного красноречия, той умеренности в суждениях и той простоты, которые, как внушили ей с детства, являются высшими достижениями подлинного благородства».

Очарованный этими чертами обломков французской аристократии Марсель Пруст не видит, не отмечает с достаточной яркостью ни высокомерия, ни кастовой замкнутости, ни черствого эгоизма этой среды, а если и замечает, то отно-

сится к этим свойствам вполне снисходительно. Нечего и говорить, что Пруст далек от того, чтобы посмотреть на это общество глазами писателя, близкого к трудовому народу. Образ служанки Франсуазы только подтверждает это. К Франсуазе он относится в сущности полупрезрительно: «мягкость, благодушие и вообще добродетели Франсуазы таят за собой множество кухонных трагедий», «люди возбуждали у нее своими страданиями тем большую жалость, чем большее расстояние отделяло ее от них». Но художник все же готов ей это простить за преданность и за услуги, которые она оказывала, и он смягчает свою блестящую характеристику Франсуазы.

Пруст — очень большой писатель. Но на его произведения сильный отпечаток наложила среда, привычки и вкусы французской аристократии. Этого никогда не следует забывать. В тех предисловиях к его вещам, которые написаны у нас, к сожалению, это чрезвычайно важное обстоятельство не отмечено. Манера, стиль Марселя Пруста тоже отразили на себе влияние той общественной среды, в которой воспитывался и жил этот писатель. В его тяжеловесной фразе, в отступлениях, в длинных периодах есть нечто старомодное, как будто он возвращает нас к XVII

веку.

О чем свидетельствует появление и расцвет такого утонченно-дворянского писателя, как Марсель Пруст? На это ответить не так легко. Возможно, что его появление свидетельствует о том, что французское буржуазное общество самостоятельно *уже* не в силах дать крупного художника, в то время как французский пролетарий еще бессилен противопоставить этому старому обществу свою культурную среду. «Природа не терпит пустоты». В такие моменты нередко случается, что выдвигаются писатели, принадлежащие к классу, уже отошедшему в прошлое, но еще окончательно не сброшенному с общественной сцены, особенно, если в прошлом этого класса была своя тонкая художественная культура, а она у французской аристократии, несомненно, была. Такое предположение тем более вероятно, что во Франции давно уже произошла и продолжает усиленно происходить диффузия остатков аристократии с верхушками буржуазии.

Из всего сказанного о дворянском облике Марселя Пруста, однако, совсем не следует делать тех наивных выводов, которые сплошь и рядом у нас делают — нам де нечего учиться у каких-то там аристократических выродков. Его произведе-

ния таят в себе целые россыпи художественных сокровищ, его эстетический мир прекрасен, глубок и благороден, его психоанализ приводит к подлинным и редким открытиям из жизни человеческого духа, характеристики изображаемых им людей метки и новы; он культурный и умный писатель, он много знает; его метафора всегда неожиданна и отличается выразительностью: словом, он крайне поучителен и содержателен. Художественный метод Марселя Пруста — поиски за утраченными, первичными ощущениями, очищенными от рассудочной деятельности, — заслуживает полного внимания. Значение этого метода в художестве огромно, но требует известных ограничений; не при всех условиях и не всегда этот метод равноценен. Для писателя преклонных лет он имеет несравненно большую ценность, чем для писателя молодого, и для художников поднимающегося класса он требуется гораздо в меньшей степени, чем для художников классов обреченных историей и идущих ко дну.

А. Лежнев
Две поэмы

В. Маяковский, Хорошо. Н. Асеев, Семен Проскаков.

Десятилетие Октября вызвало к жизни целую литературу. Поэты, конечно, приняли в ней посильное участие. Но их положение было несколько затруднительно. Публицист, историк, экономист могли, подводя итоги, использовать новый материал, результаты новых исследований, могли вносить в наше представление о революции нечто новое, дополнительное, не ограничиваясь повторением хорошо известных вещей. У поэта этого нового материала не было. Революция в том общем разрезе, в котором брал ее обычно лирик, была уже «использована» до отказа. Для того, чтобы найти новое — новый материал, новый угол зрения — надо было бы от общего перейти к конкретному, от абстрактной одописи к реализму, к изучению действительности. Но на это отваживаются у нас лишь немногие. Поэтому заранее можно было опасаться, что поэзия об Октябре будет по большей части повторять

то, что уже много раз говорилось и всем известно, что она примет характер обычной юбилейной литературы.

Поэмы Маяковского и Асеева подтверждают эти опасения. В «Хорошо» нет ничего нового по сравнению с тем, что Маяковский писал в ряде своих крупных вещей и бесчисленном количестве стихотворений последних лет. Правда, уже в начальных строках дается поэтом такая установка:

Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопеи.
Телеграммой
лети
строфа!
Воспаленной губой
приходи
и попей
из реки,
по имени — «Факт».

Что ж, установка на факт — это очень «хорошо». Но приведенным словам Маяковского не

следует слишком доверять. Они очень мало отвечают действительному характеру поэмы. Их смысл по существу сводится только к тому, что поэт говорит не о «выдуманных», созданных его «фантазией», а о подлинных, исторических событиях и людях. Но ведь это делала и старая эпопея. То, что берутся подлинные события, еще само по себе доказывает немного. Вопрос в том, *как* они берутся — с «фактической» ли стороны, во всей их сложности и жизненной конкретности, или в каком-нибудь таком «общем разрезе». В последнем случае произведение, основанное на «факте», может оказаться гораздо более абстрактным и выдуманным, чем «вымысел», созданный поэтом с зорким глазом и острым чувством реальности. Именно этот случай мы имеем в поэме Маяковского. «Фактичность» ее не больше, чем «фактичность» ломоносовских од. Историческая действительность взята здесь в самых общих чертах, так суммарно, как она сохранилась в памяти рядового современника, мало озабоченного тем, чтобы восстановить ее точные контуры. Она служит поэту только трамплином для рифмованных рассуждений и лирической риторики. Из реки «по имени Факт» Маяковский ухитряется пить лишь воду общих мест.

В сущности, единственным «фактом» в книге является взятие Зимнего дворца. Все остальное — разговоры «по поводу», остроты, лозунги. На десятом году революции Маяковский считает возможным угощать читателя таким агитриф-моплетством:

Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости...

или —

Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь.

или —

Дрожи, капиталова дворня!
Тряситесь, короны на лбах!
Жир
ежь
Страх
плах!
Трах!
тах!

Такое повторение агитзадов, такая подстановка на место искусства углубленного, требуемого эпохой культурной революции, лозунгового версификаторства, нас не должно удивлять. Это не случайность, а естественное следствие лефовской теории мастерства, понимаемого как чистый техницизм, лефовского отрицания художественного реализма, презрительно трактуемого как «изображательство». Поэтому остается только словесное оформление уже готового идеологического материала, т. е. «агитка» в самой элементарной, упрощенной форме.

Не многим лучше поэма в своих «пафосных» местах. По всему видно, что напряженности этого пафоса поэт придавал особое значение, что свою

книгу он хотел сделать особенно волнующей и заразительной. Она должна, по его замыслу, вырвать читателя из обывательской обыденщины и влить в него волю к борьбе и созиданию:

Я хочу,
чтобы с этою
книгой побыв,
из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы.
как штыком,
строкой просверкав.
Чтоб из книги
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы
усталые
лилась
строящая

и бунтующая сила.

Но дело в том, что всего этого сейчас уже нельзя достигнуть при помощи традиционных лефовских средств. Пафос общих положений и голых лозунгов уже недостаточен. Он начинает звучать фальшиво. Искусство требует теперь конкретности и глубины. Пафос Маяковского превращается в риторику, его ораторская установка — в адвокатскую.

Но к этому декламационно-риторическому пафосу примешивается еще и изрядная доза мещанства. Его не надо особенно искать. Оно вылезает наружу в подчеркнуто-одописных местах поэмы. Голос Маяковского становится тогда явственно приторным и фальшивым. Вот «мои депутаты» едут в «моем (!) автомобиле» в «мой (!) Моссовет». Вот дымятся текстильные фабрики:

*побольше **ситчика** (!)*
моим комсомолкам.

Вот враги грозят Советскому союзу:

Лезут? Хорошо.
Сотрем в порошок (!)
(закидаем шапками?)

Вот крестьяне. Они только и знают, что

сеют, пекут
мне хлеба —

как будто у них нет другой заботы, как думать о меню российского интеллигента. Они и вообще замечательны, эти маяковские крестьяне:

Бороды — веники,
Сидят папаши.
Каждый хитр.
Землю попашет,
попишут стихи.

Какая прелестная идиллия! Какая грациозная пастораль! О, трижды благословенная оперетка, где Маяковский впервые увидел своих пейзан! Как это возвышает душу, когда вместо подлинной «грубой» деревни, отсталой, бедной, перестраивающейся на ходу, видишь этаких стиль-рюссных любителей словесности!

«Оперяется» кооперация. Как доказательство —

в окнах продукты;
вина, фрукты —

т. е., как видите, все предметы широкого потребления (на случай именин или вечеринки).

Наша действительность упорно берется поэтом под гастрономическим углом зрения (старая закваска футуристов еще со времен Игоря Северянина).

Обнаружив такое основательное знакомство с задачами и характером советской кооперации, Маяковский переходит к другим сторонам нашего быта, пока взор его не упирается в «желтый револьвер». Тут фарфорово-блюдная живопись его поэмы находит свое увенчание:

Моя милиция
меня бережет.

Ничто не приводит Маяковского в такой восторг, как вид бдительного милиционера. При упоминании о нем стих его начинает резвиться и играть, как молодой барашек, украшенный ленточками:

Надо мною небо —
синий шелк.
Никогда не было
так хорошо.

Сюсюканье по поводу «ситчика» комсомолкам; опереточно-идиллические крестьяне; развязное хвастовство: «сотрем в порошок»; кооперация,

повернутая к трудящимся винно-гастрономическими витринами; и этот удовлетворенный — из глубины души — вздох насчет оберегающей «мое» благополучие милиции — разве во всем этом не чувствуется явственный налет успокоенного сов-интеллигентского мещанства?

Нет, наша страна и хуже и лучше. Она не так розова и приглажена, в ней еще много противоречий, недостатков, борьбы старого с новым. Но она строится, она вся в трезвом и правдивом ритме труда, она делает большое дело, которое вовсе не требует лести и прикрашивания. И эта реальная, медленно и с усилием поднимающаяся из нищеты вчерашнего рабства и разорения к небывалому будущему страна куда привлекательнее, чем блестящая свежей краской картинка суздальской одописи.

Сатирическая часть поэмы получилась, пожалуй, удачнее, чем одописная. Но отдельные «счастливые» выражения не могут скрыть дешевки ее юмора. В ее остроумии есть нечто гимназическое. Это чувствуется и в таких «выигрышных» местах, как сцена Кускова-Милюков, где пародия проведена крайне примитивно, а тон колеблется между развязностью гимназических острот и убогой политдидактикой куплетов про-

винциальной газеты. («При Николае и при Саше мы сохраним доходы наши».)

Та же дешевка сказывается и в интимно-лирических «уводах» в сторону.

Если я чего написал,
если чего сказал,
тому виной глаза-небеса,
любимой моей глаза.

Порой это переходит почти в пародийность:

Зелень и ласки
выходили глазки.

Трудно у Маяковского воспринять это иначе, как намеренную имитацию давно опошленных поэтических интонаций. Но там, где поэт говорит о самом своем задушевном, подобная имитация оказывается совершенно неуместной.

Вообще, имитация — сознательная или невольная — часто попадается в поэме Маяковского. Когда автор пользуется частушкой или «Яблочком», то это целесообразно и оправдано требованиями места и эпохи. Но когда мы в торжественных стихах:

Спите, товарищи, тише…

Кто ваш покой отберет?

явственно различаем мелодию пресловутого —

Спите, орлы боевые,
Спите с спокойной душой, —

то это получается как-то неудобно и даже конфузно.

Еще более странно, когда мы у такого давно и окончательно сложившегося поэта открываем вдруг следы влияния не только Пастернака, но и младших современников, как Светлов:

Солдату упал огонь на глаза,
на клок волос лег.
Я узнал, удивился, сказал:
«Здравствуйте, Александр Блок»[7].

Эпизод с Блоком, требует, впрочем, того, чтобы на нем подробнее остановились. Когда Маяковский вставляет в крестьянскую частушку такое нехарактерное для деревни имя, как Нина, звуча-

---

[7] Примечания: 7

Ср., например, у Светлова в «Ночных встречах»:

Поздно, почти на самой заре
Пришел, разделся, лег.
Вдруг у самых моих дверей
Раздался стук ног.

щее в контексте, как ляпсус:

Чем хуже моя Нина?!
Барыня сама.

когда его красноармейцы поют, беря Крым:

готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эс Эр —

хотя в то время СССР еще не было (Союз советских социалистических республик образовался только в 1922 году) и в песне могло говориться лишь об РСФСР, когда поэт с серьезным видом уверяет, что «другим странам» (кроме нашей) —

История пастью гроба (?!),

т. е., иными словами, что они обречены на гибель (страны, а не их буржуазия), то все это еще можно понять, как неудачную формулировку, случайную ошибку, недосмотр. Но то, что Маяковский сделал с Блоком, уже не случайность и не недосмотр, а действие с очень точно обдуманным намерением. Вот как автор «Двенадцати» встречает у него Октябрь:

…сразу
лицо
скупее менял,

мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут…
из деревни…
сожгли…
у меня…
библиотеку в усадьбе».

У Блока

тоска в глазах и т. д.

То, что мы знаем о настроениях Блока этого времени по «Двенадцати» и дневнику, делает интерпретацию Маяковского чрезвычайно мало вероятной. Да и вообще сводить счеты с умершим поэтом, который не может уже ни защитить-ся, ни опровергнуть обвинений, вряд ли очень красиво и добросовестно. Тем более, что мотивы обличения довольно прозрачно указаны тут же рядом: это желание доказать, что одни футуристы приветствовали революцию[8].

---

[8] Примечания: 8

Торжествующий Маяковский обращается к тоскующему Блоку:

Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом.

Разумеется, в огромной поэме Маяковского можно найти несколько десятков хороших стихов. Да и трудно было бы ожидать иного. Но существенно не это, а полный провал поэмы в целом. Упрощенно-лозунговая, поверхностно-агитационная, абстрактно-одописная, она, вопреки обещанию поэта, построена не на фактах, документах, живом материале, а на общих словах и общих положениях. Но если истина конкретна, то художественная истина конкретна вдвойне. Кто преступает этот закон, неизбежно впадает в фальшь. Ходульность книги Маяковского и даже мещанство, явственно пробивающееся в отдельных ее местах, — естественное следствие ложности ее общей — одописной — установки. Что это не случайно, а вполне закономерно — нас убеждает поэма другого лефовца, Асеева.

Установка «Семена Проскакова» выражена стихами, аналогичными стихам Маяковского.

Мы же хотим —
без выдумок
что жизнь нам
дала
рассказать
о видимых

людях и делах.
Чтобы,
к правде лицом,
пути не терял
сух
и весом
наш материал.

Упор на факт, на документальность еще более подчеркнут подзаголовком поэмы: «стихотворные примечания к материалам по истории гражданской войны» и компановкой книги, где чередуются документы (отрывки из показаний, выписки из архивов, приказы) со стихами. Но на деле — это одно баловство, стилистическая причуда, щеголянье «чужеродным», внелитературным материалом, превращенным в эстетический привесок. Нигде игрушечный, эстетический характер лефовского утилитаризма не проявляется с такой наглядностью, как в этой вещи Асеева. Можно — и даже следует — спорить против того, будто «факт» и документ окажутся в состоянии уничтожить необходимость в художественной «выдумке», но, во всяком случае, искусство, основанное на них, имеет свой ralson d'etre в точном и верном воспроизведении действительности,

взятой в разрезе частного случая. «Правдивость» же поэмы Асеева заключается в том, что в ней нет ни фактов, ни «выдумки». Связь документов со стихотворной тканью здесь крайне слаба. Если бы выкинуть все материалы, поэма ничего бы не потеряла. В лучшем случае кое-что из них могло бы послужить в качестве примечаний, разъясняющих какое-нибудь «темное» место текста. Чисто эстетский, бесцельный характер ввода документов особенно подчеркивается тем, что последние говорят иногда о фактах, настолько хорошо всем известных, что они уже стали трюизмами и не требуют никаких доказательств (например, «Приказ Колчака, свидетельствующий о зависимости его от союзников»).

Герой Асеева, Семен Проскаков, хотя он и не выдуман, а существовал, — вовсе не реальный партизан, а некое отвлечение, почти символ, лишенный плоти, переносчик авторского пафоса, и вся его история — не рассказ о подлинной жизни и борьбе подлинного человека, а отвлеченная ода революции. Но документальность имеет смысл тогда, когда речь идет о конкретном, о «частном». Она и жива только связью с ним. Тогда же, когда художественное произведение развертывается в «общем», в абстрактном плане, она лишается

всякой необходимости, делается ненужным придатком. Пословица: «Иная правда хуже всякой выдумки» — получает здесь своеобразное подтверждение.

Но еще хуже то, что Асеев то и дело проваливается в лубочнейшую агитку. Поэма начинается довольно сильно и торжественно:

В тысячах
повторений
имен,
из-под глухого
земного покрова
я, партизан
Проскаков Семен,
жить начинаю
снова и снова… и т. д.

Но уже в первом «примечании» мы находим такие строки (об Анненкове):

С ним — его вояки,
страшные приспешники:
люди или раки?
руки или клешни?

Это почти с лубочной картинки, изображающей чертей.

Дальше еще лучше:

Так не зовут
простого врага:
«гад»!
Тот,
кто потом чужим
богат, —
гад,
тот,
кто мученью
чужому рад, —
гад,
тот,
чье веселье —
зарево хат, —
гад.

Кому нужно это пустое и банальное рифмачество? Кого это убедит? Я говорю не только про провалы в агитпримитив. Я говорю о всей безукоризненно зарифмованной, корректной и затянутой поэме Асеева. На кого она рассчитана

— со своим ритмическим богатством и идейной бедностью, с выветрившимся пафосом общих мест и расчетливой имитацией лирического волнения? Наконец, с мнимой своей документальностью, прикрывающей лишь отсутствие реалистического упора, лишь неуменье отталкиваться непосредственно от жизни, а не от газетного, полученного из вторых рук, материала?

Самое худшее здесь то, что это не халтура, а добросовестная работа (хотя и построенная на привычных шаблонах асеевской рецептуры). Асеев и Маяковский потерпели в своих последних вещах неудачу не из-за недостаточно серьезного отношения к делу[9] или каких-нибудь случайных причин. Их неудача вполне закономерна. Она — следствие неверности их общей установки, о которой я уже говорил (поэзия как словесное оформление, как чистая техника), и вытекающего именно отсюда признания «агитки» единственно нужным и законным видом искусства (обработка идеологически уже «готового» материала). То, что еще могло быть оправдано 8–10 лет назад, теряет теперь всякий смысл. Общих фраз и лозунгов уже

[9] Примечания: 9

Впрочем, многочисленные ляпсусы у Маяковского говорят как будто о чрезмерной поспешности и небрежности работы.

недостаточно. Революции не нужны рифмованные прошлогодние передовицы. Она не терпит пустых славословий и лести — даже выраженной стихами. Отправим оды туда, где они уместны — на два столетия вглубь истории. Таща литературу к давно пройденному ею этапу, лефы являются в искусстве, по существу, Задопятовыми, несмотря на все свои громкие фразы. Сельвинские, Светловы, Багрицкие отвоевывают у Маяковских и Асеевых аудиторию не потому, что они талантливее, а потому, что они лучше поняли и живее чувствуют потребности современности. Для них революционность поэзии — нечто более глубокое, чем простое соответствие ревкалендарю. «Хорошо» и «Семен Проскаков» лишний раз доказывают, что Леф очутился в тупике, куда его загнали ложная теория и долголетние шаблоны практики.

М. Горький
Кнут Гамсун

Есть люди, для которых писание книг — ремесло, «средство к жизни»; когда они не лгут на человека, не показывают его хуже, чем он есть, — это уже хорошо. Еще лучше, если они несколько, хотя бы и грубо, подкрашивают ближнего, пусть они делают это лишь потому, что желают заслужить благоволение читателей, я нахожу, что читателям полезно видеть себя менее тусклыми; красивенькое оперение придает человеку сходство с петухом, а ведь эта птица, разучившись летать, все-таки ходит по земле гордо и почтенно не только тем, что одаряет мир миллионами яиц, но и потому также, что ею хорошо понято культурное значение соперничества.

Есть писатели, обреченные недугом «таланта» работать «в поте лица», побуждаемые сочинять книги беспокойным стремлением к «славе», вполне законной и биологически оправданной жаждой выдвинуть, «выявить» свою личность из хаотической массы «просто людей», создать в среде этих людей атмосферу внимания и со-

чувствия сочинителю, утешителю, забавнику. Для таких писателей совершенно необходимы лестные отзывы критиков, почтительные поклоны читателей, многообещающее любопытство женщины, все прочее в этом духе, что, охмеляя, возбуждает к дальнейшему труду. Писатели этого ряда недолговечны и не глубоко врезают имена свои в «память веков», но это именно они создают «литературу» в широком смысле понятия и они подобны безыменным каменщикам, которые создавали удивительные храмы Средневековья.

Затем идут художники исключительной духовной силы, сосредоточенности и почти чудесного духовного зрения; они обладают способностью видеть никому не видимое, понимать никем не понятое, открывать в обычном — необыкновенное. На их книгах лежит отпечаток внушительной и чарующей интимности, и всегда чувствуешь что они говорят не «людям вообще», а какому-то одному, излюбленному человеку, он один только и важен для них, он только и может понять всю глубину и значительность их «священного писания».

Вероятно, человек этот физически не существует, художники выдумывают его. Воображаемый собеседник исключительно понятлив и умен,

ибо он — ты сам. Не могу представить Анатоля Франса беседующего с живым человеком-другом совершенно открыто, без пауз, требующих умолчаний и многоточий.

Это — монументальные люди искусства, творцы «вечных книг», деспоты в области литературы, создатели школ, течений, стилей.

Кнут Гамсун принадлежит именно к этой группе художников слова. Но и среди них он для меня является исключением. В современной литературе я не вижу никого, равного ему по оригинальности творчества.

Я думаю, что для него совершенно не важны, не интересны «школа», «стиль» и вообще все то, что влачится тенью вслед за истинным искусством, которое, точно так же, как наука, создает «вторую природу», с тем различием, что наука заботливо окружает человека «второю природой» извне, а искусство создает эту природу внутри нас.

Творчество Гамсуна поистине «священное писание» о людях, писание совершенно лишенное каких-либо внешних украшений, — его красота в неумолимой и ослепительно простой правде, которая каким-то чудом делает написанные им фигуры людей норвежцев так же убедительно прекрасными, как статуи античной Греции.

Он пишет не для читателей и не для единственного «излюбленного», нет. У меня такое впечатление: о том, что Гамсун знает и чувствует, он рассказывает кому-то и куда-то, через головы всех людей.

Рассказывая, он размышляет, но, на мой взгляд, было бы бесполезно искать, что именно хочет утвердить Кнут Гамсун.

Его размышления совершенно лишены «педагогических» намерений, его мысль не подчинена никаким моральным догматам и социальным гипотезам, мне она кажется идеально свободной.

«Да, — говорит он, — все мы бродяги по земле». Говорит, но не утверждает это. Он — не пессимист. Его «бродяги» — хозяева земли; люди маленькой и суровой страны, которых он создает, все — герои. — Исаак «Соков земли» — человек эпоса. Если б Эдда не была уже создана до него, он, конечно, создал бы Эдду, соткав из ткани воображения своего Тора, Бальдура, Фрейю и Локи. И — Локи, потому что зло тоже необходимо привести в систему, нужно нарастить ему голову для того, чтобы оторвать ее. Я думаю, что голову Локи оторвет кто-нибудь подобный Исааку и затем, устроившись на земле беззлобно, как давно уже пора и достойно человека устроиться, он обновит

небо, заселив его более человечными и добрыми богами. Ибо — наверное этот будущий хороший, умный человек не потерпит пустоты в небе из опасения, чтоб она не проникла в душу его.

Фрекен Д'Эспар «была такая упорная в хорошем и дурном, так ушла во все земное. *Мы так называем это».*

В четыре подчеркнутых слова Гамсун вложил снисходительную и мягкую иронию мудреца: что еще есть кроме земного, что значительнее страданий ничтожных человеческих единиц, осужденных жить в пустоте, на земле, которая дрожит, разламывается под их ногами и в одну минуту уничтожает их десятками тысяч, как это было в Лиссабоне, на Мартинике, в Мессине и Японии?

Именно в этом, земном, весь наш смысл бытия и ведь не человек виноват в том, что для него нет ничего больше. Ничего, кроме бога, созданного им для утешения своего и в котором я, лично, вижу столько же мистики, сколько ее в механике. Разве бог не создан для того, чтобы гармонизировать, отточить идею всемогущества, всеведения, разве он не дитя мысли, единственного орудия самозащиты человека.

Можно думать, что в последних книгах — «Соки

земли», «Женщина у колодца», «Санатория Горахус», — Гамсун беседует с каким-то существом, которое видимо и знакомо только ему. Может быть, это так называемый «мировой разум», может быть, — бог Кнута Гамсуна, созданный Гамсуном же для беседы с ним. Ему-то удивительный норвежский художник и рассказывает страшные своей эпической простотой истории о жизни таких людей, какова Ингер «Соков земли». «Она была почти ничем среди людей, ничтожная единица», — такой написал он эту героиню будничной жизни.

Никто до Гамсуна не умел так поражающе рассказывать о людях, якобы безличных и ничтожных, и никто не умел так убедительно показать, что безличных людей не существует.

На земле живут миллионы героев-муравьев, невинно осужденных на смерть, они строят каменные кучи городов, выдумывают и создают мудрые, прекрасные вещи, всячески пытаясь украсить свою трудную жизнь, создают сами для себя мучительные, невыносимые условия социального бытия.

Об этом, об этой неразумной и страшной жизни и рассказывает Гамсун своему собеседнику, рассказывает как бы с чувством некоторого

недоумения и, между слов скрывая свой гнев, спрашивает собеседника:

«Ты знаешь, зачем все это нужно? Тебе известно, почему все мы, герои и великомученики, кажемся друг другу ничтожными, безличными? Ты можешь понять, отчего жизнь людей так бессчастна?»

Собеседник лукаво, а может быть, тоже недоуменно безмолвствует.

«Да, — настаивает Кнут Гамсун, — прекраснейший художник, — вот какова жизнь. А почему это? Можешь ты ответить?»

Ему не отвечают.

Тогда Гамсун с простотою еще более изумительной рассказывает новую историю о невинных людях, обреченных за что-то на муки, которым нет числа.

«Да, — говорит он, — все мы бродяги на земле. Почему — бродяги и за что? Мы так много работаем на ней и уже хорошо украсили ее. Нам, по правде, есть за что и любить и уважать друг друга, мы хорошие работники. Ты знаешь, почему мы так истязаем друг друга? Ты можешь понять, зачем все это нужно?»

Не отвечают ему.

Это невероятно трудный подвиг — жить на

земле в образе Кнута Гамсуна и беседовать всю жизнь с кем-то глухим, немым, а может быть, неизлечимо глупым или же безумно злым. И как хорошо, что это чудовище не существует и что люди, подобные Гамсуну, размышляя о жизни, только наращивают голову Локи, дабы оторвать ее.

ЗЛЫЕ РИФМЫ

Н. Дементьев
Суд божий над профессором

(БАЛЛАДА-ЗАГАДКА)

Лекции были отменно тоскливы:
Высечен был всенародно крапивой
Чехов за то, что идей не имел,
Пушкин, который о туфельках пел,
Горький за то, что он не был марксистом,
Все было сделано крепко и чисто,
И у писателей обнажены
Только те части, что в порке нужны.
Было добавлено в этом же духе,
Как целовался с женою Правдухин.
И, чтобы в терминах не ошибались,
Все называлось… м-марксистский анализ.

Вот, как епископ, окончивший мессу,
Тихо покинул студентов профессор,
Дома поел, покурил, почитал,

Спал, как невинный, и снов не видал.
Утром же входит в покой, где висели
Предков портреты. И видит, что съели
Мыши его живописный портрет
Так, что марксизма и признака нет.

Он обомлел, он от страха чуть дышит.
Вдруг он чудесную ведомость слышит:
«Слушай! Студентами местность полна —
Ими прочитан Плеханов сполна».
В ужасе ноги привел он в движенье,
Быстро спешит через Рейн в учрежденье
(Дать имя которого автор не мог
Ради спокойствия этих строк.)

Вынув часы он считает моменты:
Ближе, все ближе, все ближе студенты,
Вот уже в дверь без доклада вошли,
Двери раскрыли, цитаты зачли.
Зубы о Маркса они наточили,
Грешнику в кости их жадно вонзили,

И по суставам он был разнесен.
Так был наказан профессор. Кто он?

Баллада об олимпийце Иосифе Незабудкине

За синим морем — корабли,
За синим морем — мало хлеба.
Там на Олимпе короли
Пристроились поближе к небу.

У нас особая земля.
Играть с огнем — плохие шутки.
У нас заместо короля
Поэт Иосиф Незабудкин.
Пускай валяются в пыли
Поэты рангами попроще —
Он, как свою жилую площадь,
Стихами заселил Олимп.

И словно сторожа у врат
(Чтоб маловерные дрожали).
Два падших ангела стоят:
Один — раскосый «азиат»,

Другой — «воитель с этажами».

Привет!
Мы рады научить
Как «знаменитость» надо чтить...

Мих. Голодный
Почему я не пролет?

Почему я не пролет?
У меня железа нет!
Доменную печь в кровать
Не кладу с собою спать.
Я не ел фабричных труб,
Я люблю с горошком суп.
Коллективно не грубил,
Коммунально не любил.
Проживая без патента,
Не просил за ложь процента,
Шапку рваную долой,
Не снимал перед ханжой.
Из меня такой пролет,
Как из Жарова поэт.

Поэт Иван

Живет такой поэт у нас,

Зовут его Иван,
Немного из рабочих он,
Немного из крестьян.

Услышав речи про деньгу,
Дрожит, как в буре лист,
Он руки моет каждый день,
Чтоб был он сердцем чист.

Но вот случился с Ваней грех,
Донос, донос, донос!
Повестку на дом принесли:
Пожалте на допрос!

Он к Ярославскому идет,
Садится на диван.
И слышит голос над собой:
— Ага! Так ты… Иван?

Слыхал, ты плохо, братец, жил,
Теперь держи ответ.
Происхождение твое?
Откуда? Сколько лет?

Но бедный Ваня задрожал
И говорит он так:

— Хоть стих мой в двести десятин.
Я не совсем кулак.

Я двадцать восемь лет прожил,
Ни разу не был пьян.
Немного из рабочих я,
Немного из крестьян.

— Суров наш пролетарский суд
Особенно к врагам:
Стихи на двести десятин —
Удар по беднякам.

Не для того ли мужиков
Глушил буржуй дубьем
Чтоб ты его, поэт Иван,
Добил своим стихом.

Ступай! И вот тебе наказ:
«Заслушав дребедень,
Ивану разрешить писать
Четыре строчки в день!»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

* * *

«ПЕРЕВАЛ»

СБОРНИК
КНИГА ВТОРАЯ
Стр. 307. Ц. 2 р. 50 к.

* * *

КНИГА ТРЕТЬЯ Стр. 281. Ц. 2 р. 75 к.

* * *

«СОДРУЖЕСТВО»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
Стр. 298. Ц. 2 р. 50 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

* * *

САТИРИЧЕСКИЙ ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР

Составил И. И. АБРАМСКИЙ
Под редакцией Л. С. СОСНОВСКОГО
Стр. 450. Ц. в пер. 2 р.

* * *

С. Д. ДРЕЙДЕН

1917 ГОД В САТИРЕ

Обложка работы Л. С. ХИЖИНСКОГО
Стр. 206. Ц. 2 р. 25 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

* * *

«КАДРЫ»

СБОРНИК
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ «СМЕНА» (Ленинградская ассоциация пролетарских писателей)
Стр. 199. Ц. 1 р. 75 к.

* * *

1905 ГОД В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

СБОРНИК ПОЭЗИИ и ПРОЗЫ

Составил Ал. БОГДАНОВ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГОРОД
Стр. 342. Ц. 80 к.

* * *

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДЕРЕВНЯ
Стр. 283. Ц. 80 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

* * *

«СТРОЙКА»

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ
КНИГА ВТОРАЯ
Стр. 297. Ц. 1 р. 50 к.

* * *

КНИГА ТРЕТЬЯ
Стр. 233. Ц. 2 р. 50 к.

* * *

В. СЕРЕЖНИКОВ

ЧТЕЦ

СБОРНИК
Стр. 535. Ц 2 р. 75 к.